Н·М·ЯЗЫКОВ

Свободомыслящая лира

Н·М·ЯЗЫКОВ

Московский никогда не умолкал Парнас,
Повсюду муз его был слышен лирный глас.

А. А. Палицын
«ПОСЛАНИЕ К ПРИВЕТЕ»

Свободомыслящая лира

Стихотворения

•

Поэмы

•

Жизнь Николая Языкова по документам, воспоминаниям

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1988

Р1
Я41

Рецензент:
кандидат филологических наук *С. Н. НОСОВ*

Художник *А. В. ЛЕПЯТСКИЙ*

На фронтисписе использована
гравюра *Н. И. КАЛИТЫ*

Языков Н. М.

Я41 Свободомыслящая лира: Стихотворения; поэмы; жизнь Николая Языкова по документам, воспоминаниям / Сост. и автор вступит. статьи и примечаний В. В. Афанасьев.— М.: Моск. рабочий, 1988.— 350 с.— (Московский Парнас).

В сборник Н. М. Языкова, одного из выдающихся поэтов пушкинской плеяды, поклонника и пропагандиста древней столицы — Москвы, вошли наиболее известные стихотворения и поэмы, а также материалы о его жизни, творчестве и общественно-политической деятельности.

Я $\frac{4702010102—049}{М172(03)—88}$ 197—88 **Р1**

ISBN 5—239—00025—5

«Я ВЫРОС НА СВЕТЛЫХ ХОЛМАХ И РАВНИНАХ...»

(НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯЗЫКОВ. 1803—1846)

Едва Языков начал писать — его голос был услышан. Он еще учился в университете, а его поэтическая слава прочно встала на ноги. Издатели приглашали его сотрудничать в журналах и альманахах. Он учился в Дерпте, городе, в котором процветал тогда немецкий дух. Небольшая кучка русских студентов теснилась вокруг Языкова. Его стихи становились песнями, и часто жители Дерпта собирались на берегах Эмбаха послушать, как поет удалой хор русских студентов, плывущих на лодке:

«Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради сладкого труда,
Ради вольности высокой
Собралися мы сюда...»

«Избыток чувств и сил», «буйство молодое» нашел в стихах Языкова Пушкин. О том же говорил Баратынский: «Языков, буйства молодого певец роскошный и лихой!» Стремительно летящий, упругий, полный жизни стих Языкова быстро завоевал себе место в русской поэзии.

Языков вырос на Волге, волжская песенная стихия пробудила в нем поэта. Очень скоро он осознал ее как самоценный художественный мир. Он стал записывать былины, песни и баллады о «добрых молодцах», Ермаке и Стеньке Разине, о «солдатах беглых, беспачпортных», о «лодочке не ловецкой, молодецкой, воровской...». Недаром же не где-нибудь, а здесь, на Волге, в Симбирске, во время одной из страшных волжских бурь, возник незабываемый «Пловец»:

«Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено...»

* * *

Языков родился в Симбирске 4 марта 1803 года. Отец, Михаил Петрович Языков, был весьма состоятельным помещиком. Мать, Екатерина Александровна, урожденная Ермолова, была в близком родстве со знаменитым генералом Ермоловым.

В октябре 1814 года Николай Михайлович был определен в петербургский Горный кадетский корпус, где уже учились его братья. Здесь готовили горных инженеров. Языков прошел «нижние» и «средние» классы, но, когда близкие и понятные ему предметы — история, языки, рисование, география, риторика — стали вытесняться сложными и чуждыми его литературным наклонностям высшей математикой, горным делом, геологией, химией, он решил покинуть корпус. С 28 августа 1819 года он учится в Институте корпуса путей сообщения, но весной следующего года оттуда был исключен «за нехождение в классы», а осенью уехал в Языково, где собирался подготовиться в университет.

Сочинять стихи Языков начал лет в 10—11. Учась в кадетском корпусе, он с увлечением читал Ломоносова и Державина. Один из учителей — Алексей Дмитриевич Марков — давал ему частные уроки словесности. В корпусе Языков близко сошелся с сыном известного механика-самоучки Ивана Кулибина — Александром, который уже заканчивал учение. Кулибин писал стихи и в 1819—1820 годах напечатал некоторые в «Соревнователе просвещения и благотворения» и «Невском зрителе». В том же «Соревнователе...» (этот журнал был органом Вольного общества любителей российской словесности), в № 4 за 1819 год, Языков поместил свое стихотворное послание к Кулибину, где вспоминал, как приходил к нему «вверять восторги» и принимать «дружеский совет нельстивый». Они вместе читали Жуковского и Батюшкова, увлекались Оссианом в переводе Кострова. В сезон 1819/20 года они усердно посещали театр, восторгаясь игрой Семеновой и Каратыгина.

В Петербурге Языков бывал в книжной лавке Слёнина и там познакомился с некоторыми молодыми литераторами — Дельвигом, Илличевским, Рылеевым, Баратынским, Очкиным (вероятно, в это же время познакомился он с Грибоедовым и Ал. Одоевским). А. Ф. Воейков начал печатать стихи Языкова в своем журнале «Новости литературы», а А. Е. Измайлов — в «Благонамеренном». Все они — и литераторы и издатели — почувствовали в Языкове быстро созревающий поэтический талант.

Осенью 1822 года один из петербургских приятелей Языкова Николай Киселев собрался ехать в Дерпт для поступления в университет. Языков решил отправиться вместе с ним. Братья одобрили это решение. Воейков дал ему несколько рекомендательных

писем, одно из них — к И. Ф. Мойеру, профессору медицины, женатому на племяннице В. А. Жуковского, Марии Андреевне Протасовой (Воейков был женат на сестре Марии Андреевны). В начале ноября 1822 года Языков прибыл в Дерпт.

Дерпт — город, полный исторических воспоминаний о древних временах, когда он был русским Юрьевом, о ливонских рыцарях, захвативших его, о войсках Ивана Грозного, разрушивших его укрепления и великолепный собор, о шведах, Петре Великом... Юрьев — Дерпт — Дорпат — Тарту — город эстонский, но в нем звучит немецкая речь и все подчинено немецкому образу жизни. Университет в нем открыт был в 1802 году. Лекции читались на немецком языке.

С этой поры письма Языкова полны рассказов о литературных планах и просьб о присылке книг. Он нанимает себе учителей для занятий латинским и греческим языками. «Большую часть дня я занят,— сообщает он брату,— и потому начинаю чувствовать драгоценность времени; чуть мне увернется свободный вечер, и я тотчас обращаюсь к моему любимому предмету, к поэзии».

Языков живет очень скромно — в маленькой комнате на чердаке, куда ведет «лестница совершенно пиитическая: узка и крючковата, как дорога к Парнасу». Маленькое бюро, книги, на стене — портреты Семеновой и Державина... Языков избегает развлечений, которых в Дерпте много,— балы, гулянья, маскарады. «Танцуя, вытряхаешь ум из головы»,— шутливо пишет он. Он весь захвачен идеей самообразования, воспитания в себе поэта-творца. «Я решился быть трагическим поэтом»,— говорит он, прочитав трагедию Шиллера «Дон Карлос» на немецком языке. Чтение на греческом Софокла укрепляет это решение. Романы Вальтера Скотта наталкивают его на мысль написать нечто подобное из русской истории.

Тем временем в петербургских журналах все чаще появляются его стихи. Они все отмечены высоким мастерством: «Песня короля Регнера», «Моя родина», «Языкову А. М., при посвящении ему тетради стихов моих», «Чужбина», «Мое уединение», «Прошу стихи мои простить!..», «Чувствительное путешествие в Ревель», «Песнь барда во время владычества татар в России», «Баян к русскому воину при Дмитрии Донском, прежде знаменитого сражения при Непрядве», «Песнь Баяна», «Услад», «Евпатий», несколько элегий. Он пишет студенческие песни, которые имеют огромную популярность, но их, хотя они и написаны с языковской виртуозностью, с блеском и живостью, сам поэт не принимает всерьез.

Так же естественно, как патриотизм, возникает в стихах Языкова свободомыслие. Уже в 1823 году пишет он стихи, в которых ясно проступают типичнейшие черты декабризма:

«Пускай пугливого тиранства приговор
Готовит мне в удел изгнания позор
За смелые стихи, внушенные поэту
Делами низкими и вредными полсвету,—
Я не унижуся нерабскою душой
Перед могущею — но глупою рукой.
Служитель алтарей богини вдохновенья
Умеет презирать неправые гоненья...»

Понятие свободы было для Языкова очень широким, это был один из принципов его натуры. Это было не только стремление к политической свободе со всеми вытекающими из нее свободами,— это был весь образ его жизни. Трудно сказать, мог ли бы он стать декабристом, живи он в Петербурге, а не в Дерпте. Но он явно сочувствовал «рылеевскому» направлению в поэзии, о чем говорит ряд его стихотворений дерптского периода, в том числе посвященное и прямо Рылееву, вернее — его памяти:

«О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!»

* * *

Языков как поэт избегал всяческих подражаний: только несколько ранних стихотворений напоминают Батюшкова или Пушкина. Уже в 1823—1824 годах выработался его особенный — языковский — стих, где привычные в русской поэзии ритмы неузнаваемо меняются путем пропуска ударений в строках, а также особенным строением фразы — целого стихотворного периода (часто очень длинного), как бы влекущего читателя вперед. Он отказывается от переводов, о которых мечтал, изучая языки. Не писал романтических поэм (хотя делал наброски), где после Байрона, Пушкина и Рылеева было трудно добиться оригинальности (в конце концов он отделался от романтической поэмы очень своеобразной пародией «Валдайский узник» в 1824 году, когда был расцвет жанра). Элегии его также выпадают из общей тональности русских элегий его эпохи — они не печальны, не меланхоличны, а стремительны, коротки и из области чувства охотно уходят в быт, как и его дружеские послания. Он не ждет и не ищет тем — в его поэзию, как в водоворот, вовлекается вся его собственная жизнь во всех внутренних и внешних проявлениях. Недаром в его поэзии больше всего посланий, ведь именно послание с его установкой на

разговор о чем угодно и в каком угодно порядке отвечало поэтическим устремлениям Языкова.

Творчеством и личностью Языкова заинтересовался Пушкин. 20 сентября 1824 года он пишет А. Н. Вульфу, учившемуся в Дерптском университете:

«Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой...»

Они увиделись только летом 1826 года, когда Языков решился, наконец, вместе с Вульфом ехать в Тригорское. Владелица этого села, мать Вульфа, Прасковья Александровна Осипова, уже не раз — по дружескому наущению Пушкина — приглашала его.

Вернувшись в Дерпт, Языков пишет послание к Пушкину, где утверждает — с полной верой в это — свое равенство с ним. Там, в Тригорском, пишет он, «ты да я» —

«Два сына Руси православной,
Два первенца полночных муз —
Постановили своенравно
Наш поэтический союз».

За семь лет пребывания в Дерпте Языков приобрел солидное образование, так что, явившись в Москву, он вошел равным в среду образованнейших людей древней русской столицы.

* * *

В мае 1829 года Языков выехал из Дерпта вместе с Александром Петерсоном, тоже не кончившим курса. Они оба решили сдать экзамены за Дерптский университет — в Московском. Петерсон — сводный брат Авдотьи Петровны Елагиной (по первому мужу — Киреевской), племянницы Жуковского. Так Языков оказался в московском доме Елагиной у Красных ворот, в большой и радушной семье, в которую входили сыновья Авдотьи Петровны Иван и Петр Киреевские, дочь Мария Киреевская, а также молодая поросль Елагиных — мал мала меньше. И Елагина, и ее муж, Алексей Андреевич, и оба брата Киреевские были широко образованы, литературные и философские вопросы были содержанием их жизни. Елагин изучал Канта, переводил труды Шеллинга. Иван Киреевский мечтал «содействовать просвещению народа» и поэтому неустанно просвещался сам.

Иван Киреевский познакомил Языкова с издателем «Московского вестника», литератором и историком Михаилом Петровичем Погодиным. «Добрый малый и без всяких претензий»,— таково пер-

вое впечатление Погодина от поэта. Среди новых знакомых Языкова — две поэтессы: Каролина Павлова (тогда еще Яниш) и Анна Готовцева, Василий Львович Пушкин, молодые литераторы Михаил Максимо́вич и Николай Маркевич. Ему хотелось познакомиться со Степаном Шевыревым, которого как поэта уже в то время высоко ставили Баратынский и Пушкин, но Шевырев незадолго до приезда Языкова в Москву отправился в Италию — воспитателем сына княгини Зинаиды Волконской. На лето Языков уехал в Симбирск, куда, как пишет о нем Погодин, «повез много планов». Оттуда он прислал Елагиным новые стихи и в их числе — «Пловца», который привел всех в восторг. «Поздравляю тебя с «Пловцом»! — писал Языкову Иван Киреевский.— Славно, брат! Он не утонет. В нем всё, чего недоставало тебе прежде: глубокое чувство, обнявшееся с мыслью. О силе твоих стихов и говорить нечего. Давно известно, что их куют черти в аду на бриллиантовой наковальне, при всем адском пламени, из чертовского булата, и делают на них насечку из звезд, украденных на небе, чтобы они так и горели, не сгорая».

«Пловец» был помещен в альманахе Максимовича «Денница на 1830 год», там же было напечатано «Обозрение русской словесности 1829 года» Ивана Киреевского, где он очертил тот круг литературы, в самом последнем ее проявлении, в который и вошел Языков своим классическим «Пловцом». В 1829 году вышел последний, 12-й том «Истории государства Российского» Карамзина, труда, на котором рос и укреплялся пылкий патриотизм Языкова. Вышла «Полтава» Пушкина. Вышли так называемая «Малая Илиада» Жуковского, «Стихотворения» Веневитинова (посмертное издание), «Стихотворения» барона Дельвига. Киреевский писал в своем обзоре также о Вяземском, Баратынском, Тумаиском, В. Л. Пушкине, Грибоедове, Козлове.

Языков вернулся из Симбирска весной 1830 года. Ивана Киреевского он не застал — тот уехал в Мюнхен, в университет, где уже учился его брат Петр. Языков живет у Елагиных, все более и более привыкает к Москве, а Москва привыкает к нему. Он бывает у Вяземского. Часто навещает Погодина, беседует с ним о Ломоносове, Петре Первом, о делах «Московского вестника».

Осенью 1830 года к Москве приблизилась холера. Был закрыт университет. Жители разъезжались, кто куда мог. Языков остался в Москве. «Принимайте же решительные меры против холеры. Главное: не робейте,— надобно умирать геройски, как на войне»,— писал Языков Погодину. Погодин с 23 сентября начал выпускать «Ведомость о состоянии города Москвы» — с утра до вечера он находится в Медицинском совете, собирая нужные сведения. Языков отправляет родным в Симбирск запасы хлора, но не забывает и о

книгах: в сентябре он выслал брату «Письма и дневники лорда Байрона с замечаниями о его жизни» (на английском языке) Томаса Мура. Нужно отметить, что ввоз этого издания в Россию был запрещен. Однако оно было у многих — в том числе у молодого Лермонтова.

С наступлением морозов холера прекратилась. В декабре 1830 года из Болдина, дождавшись снятия карантинов, приехал Пушкин. Снова начались дружеские сходки. Пушкин читает у Елагиных, у Погодина, у Свербеевых многое из написанного в деревне.

* * *

В апреле 1831 года Языков поселился неподалеку от Елагиных у Красных ворот. В мае он выехал вместе с Елагиными на дачу — в село Ильинское, близ Архангельского.

В Ильинском оказалось очень людно — каждый дом занят был «дамами, девами, чадами и домочадцами». Негде было уединиться. Языков и Петр Киреевский начали ходить по окрестным деревням. И вот тут-то нашли они себе не просто занятие, а большое, огромное дело. Они начали записывать от крестьян русские песни. «Главное и единственное занятие и удовольствие составляют мне теперь русские песни,— пишет Языков брату.— П. Киреевский и я, мы возымели почтенное желание собирать их и нашли довольно много еще не напечатанных и прекрасных».

Лето было счастливым и для Ивана Киреевского. Он решился издавать журнал и, заручившись поддержкой Языкова, принялся за хлопоты. В октябре того же года Киреевский получил разрешение и стал готовить материалы. «Поздравляю всю братию с рождением «Европейца»,— писал Языкову Пушкин.— Готов с моей стороны служить вам чем угодно, прозой и стихами».

1 января 1832 года вышел из печати первый номер «Европейца», который открывался обширной статьей Ивана Киреевского «Девятнадцатый век» («философическая», по словам Жуковского, проза). Вскоре вышел и второй номер. В обеих книжках были помещены стихи Языкова — числом пять, среди них «Ау!» — один из его шедевров.

А между тем над «Европейцем» собралась гроза. Пока Киреевский готовил третий номер, император прочел первые два. Языков пишет братьям: «Европейца» запретили вот почему: государь император, читая первый номер сего журнала, заметил, что в нем говорится о политике, что в статье «XIX век» автор под словом «просвещение» разумеет «свободу», под выражением «искусно отысканная середина» — конституцию».

Восторженными письмами откликнулись на выход сборника Иван Киреевский и Денис Давыдов. А в 1834 году в журнале «Те-

лескоп» появилась статья Ивана Киреевского «О стихотворениях г. Языкова», где он метко охарактеризовал основное «чувство» поэзии Языкова как «стремление к душевному простору».

Но уже подбирались к Языкову недуги. Энергия его ослабевала.

* * *

Медики предписали Языкову путешествие на воды, в Мариенбад. Сопровождать его вызвался Петр Киреевский. 28 июня 1838 года выехали. Полюбовались видом на Москву с Поклонной горы и двинулись не спеша, с остановками.

Киреевский вез с собой собрание русских песен и в Мариенбаде, где они пробыли два месяца, работал с ним.

В конце сентября они переехали в Ганау, где Языкова взялся лечить знаменитый доктор Копп, к которому — уже по традиции — обращались за советами все русские, путешествовавшие за границей. «Он знает многих русских литераторов,— пишет Языков,— Жуковского, Вяземского, Гоголя, Шевырева. Он чрезвычайно внимателен к своим больным». В декабре на смену Киреевскому приехал брат поэта Петр Михайлович Языков. В июле 1839 года Языков познакомился с Гоголем. Гоголь ехал в Мариенбад для встречи с Погодиным, Шевыревым и Шафакиром.

В Ганау братья Языковы занимались и переводами с русского на немецкий. Они перевели очерк Дениса Давыдова «Тильзит», письмо Жуковского о «Мадонне» Рафаэля, его же письмо о смерти Карамзина, «К морю», «Узника» и другие стихи Пушкина, а также несколько стихотворений Языкова. Летом 1839 года Языков начал писать и свои стихи. Подбадривая себя, он обращается к стихам своим:

«Ну-те, братцы, вольно, смело,
Собирайся, рать моя!
Нам давно пора за дело!
Ну, проворнее, друзья!»

Тем же летом явились две «Элегии», «Пловец» («Еще разыгрывались воды...») и целый ряд набросков, которые он потом разовьет. Приняться за поэтический труд ему больше мешали переезды, чем даже болезнь.

Осенью 1839 года братья из Ганау перебрались в Гаштейн (через Дармштадт, Гейдельберг, Штутгарт, Ульм, Аугсбург, Мюнхен и Зальцбург), высокогорный австрийский курорт, оттуда — через Альпы — в северную Италию, на озеро Комо, где прожили некоторое время в городке с тем же названием. Потом побывали в Милане, Турине и в декабре прибыли в Ниццу, где наняли дом и остались зимовать.

* * *

Языков приехал в Москву в последних числах июля. Были Погодин, Елагина, Каролина Павлова, Константин Аксаков, с которым Языков познакомился только теперь (он называет Аксакова в письме к братьям «пылким рыцарем Москвы и Руси»).

«В здешних так называемых литературных обществах теперь в большом ходу разговоры о нашей народности»,— пишет Языков брату Александру в Симбирск 22 января 1844 года. Шумные разговоры происходят по большей части у Елагиных (по воскресеньям), Свербеевых (по пятницам), Чаадаева (по понедельникам), по средам у Ивана Киреевского и у Языкова по вторникам.

Самарин предупреждал товарищей: «Власть убеждена, что в Москве образуется политическая партия, решительно враждебная правительству, что клич, здесь хорошо известный: «Да здравствует Москва и да погибнет Петербург»,— значит: «Да здравствует анархия и да погибнет всякая власть». Поверьте, что это так».

Не обнаружив никаких партий, власти все же поставили «московских» под подозрение.

Между тем в Москве вышла книга «56 стихотворений Н. М. Языкова», составленная Валуевым из старых и новых стихотворений. Кроме того, Языков готовит сборник «Новые стихотворения» (написанные в 1834—1844 годах). Пересмотрев все написанное, Языков с удивлением отмечает: «На поверку выходит, что, несмотря на мое болезненное состояние... я написал стихов больше, нежели все мои парнасские товарищи!» Гоголь, время от времени как бы подталкивавший Языкова на «серьезное» дело («Я совершенно согласен с тобою, что в моих стихах о сю пору повторяется прежняя мысль: «пора приниматься за дело»,— а самого дела все нет»,— пишет Языков Гоголю), наконец, как он счел, этого дела дождался.

В январе 1845 года вышел первый номер «Москвитянина», редактирование которого Погодин уступил Ивану Киреевскому. Языков напечатал здесь два стихотворения и поэму «Сержант Сурмин». Берг, Михаил Дмитриев, А. Попов, Жуковский, Иван Киреевский были авторами этой книжки «Москвитянина». Но дело это вскоре заглохло — Иван Киреевский так усердно трудился для журнала, что занемог и отказался от него. Кроме того, будучи блестящим критиком и умелым редактором, он не имел деловых качеств. Поэтому постепенно запутывалась денежная сторона дела. По поводу отказа Киреевского от «Москвитянина» Сергей Тимофеевич Аксаков пишет Гоголю: «Какое торжество для всех врагов наших!»

Языков решил дать средства на издание журнала в Москве. Он начал убеждать Ф. В. Чижова стать его редактором. «Был в Москве Чижов,— пишет он Гоголю.— Наш журнал, кажется, со-

стоится... Но начало ему не прежде 1848 года. Чижову необходимо заготовить, по крайней мере, на год статей для журнала, своих собственных: на московских писателей и сотрудников он мало надеется — и справедливо!» Но Языков не забывал о своей болезни, ведь он мог умереть в любое мгновение. И он составил завещание, по которому на журнал отпускалось 30 тысяч рублей.

Здоровье ухудшается. Он проходит курс водолечения в Москве. Но силы его уходят и уходят.

26 декабря 1846 года поэт скончался.

«Как это известие поразит Гоголя и Жуковского! — писал о смерти Языкова Плетнев.— Они, после Пушкина, на нем только и отдыхали мыслию». Вяземский писал в «Санкт-Петербургских ведомостях», что в Языкове «угасла последняя звезда Пушкинского созвездия».

В последние годы своей жизни поэт резко изменил свою общественно-политическую ориентацию. Появившиеся в самый невыгодный момент для демократического лагеря произведения «Землетрясенье», «К ненашим», «Константину Аксакову», «К Чаадаеву» вызвали широкий, но невыгодный для автора этих «полемических посланий» резонанс и сразу поставили Языкова в оппозицию русскому революционному движению. «Во мне нет чувства, кроме горя, // Когда знакомый глас певца, // Слепым страстям безбожно вторя, // Вливает ненависть в сердца»,— писала Каролина Павлова в послании «Н. М. Я[зыков]у».

Однако лучшее, что прозвучало со струн «свободомыслящей лиры» Языкова, навсегда осталось в сокровищницах отечественной культуры, в том числе две его песни, ставшие поистине народными,— «Из страны, страны далекой...» и любимый Лениным «Пловец». И теперь нет ни одной антологии, составленной из стихов поэтов первой половины XIX века, где бы не было стихотворений Языкова. Не редкость в советское время и издание как избранных, так и по́лных собраний его сочинений. Горячо любивший Москву, посвятивший ей немало искренних и глубоких стихотворений, Н. М. Языков занимает достойное место в кругу поэтов «московского Парнаса».

Виктор АФАНАСЬЕВ

Стихотворения

ПЕСНЯ КОРОЛЯ РЕГНЕРА

Мы бились мечами на чуждых полях,
Когда, горделивый и смелый как деды,
С дружиной героев искал я победы
И чести жить славой в грядущих веках.
Мы бились жестоко: враги перед нами,
Как нива пред бурей, ложилися в прах;
Мы грады и села губили огнями,
И скальды нас пели на чуждых полях.

Мы бились мечами в тот день роковой,
Когда, победивши морские пучины,
Мы вышли на берег Гензинской долины,
И, встречены грозной, нежданной войной,
Мы бились жестоко: как мы, удалые,
Враги к нам летели толпа за толпой;
Их кровью намокли поля боевые,
И мы победили в тот день роковой.

Мы бились мечами, полночи сыны,
Когда я, отважный потомок Одина,
Принес ему в жертву врага-исполина
При громе оружий, при свете луны.
Мы бились жестоко: секирой стальною
Разил меня дикий питомец войны;
Но я разрубил ему шлем с головою,—
И мы победили, полночи сыны!

Мы бились мечами. На память сынам
Оставил я бро́ню и щит мой широкий,

И бранное знамя, и шлем мой высокий,
И меч мой, ужасный далеким странам.
Мы бились жестоко — и гордые нами
Потомки, отвагой подобные нам,
Развесят кольчуги с щитами, с мечами
В чертогах отцовских на память сынам.

1822

ЯЗЫКОВУ А. М., ПРИ ПОСВЯЩЕНИИ ЕМУ ТЕТРАДИ СТИХОВ МОИХ

Faciam ut mei memineris [1].

Тебе, который с юных дней
Меня хранил от бури света,
Тебе усердный дар беспечного поэта —
Певца забавы и друзей;
Тобою жизни научённый,
Питомец сладкой тишины,
Я пел на лире вдохновенной
Мои прелестнейшие сны, —
И дружба кроткая с улыбкою внимала
Струнам, настроенным свободною мечтой;
Умом разборчивым их звуки поверяла
И просвещала гений мой.
Она мне мир очарованья
В живых восторгах создала,
К свободе вечный огнь в душе моей зажгла,
Облагородила желанья,
Учила презирать завистный суд невежд
И лести суд несправедливый;
Смиряла пылкий жар надежд
И сердца ранние порывы.
И я душой не изменил
Ее спасительным стараньям:
Мой гений чести верен был
И цену знал благодеяньям!

Быть может, некогда твой счастливый поэт,
Беседуя мечтой с протекшими веками,

[1] Сделаю так, чтобы ты обо мне помнил *(лат.)*.

Расскажет стройными стихами
Златые были давних лет;
И, вольный друг воспоминаний,
Он станет петь дела отцов:
Неутомимые их брани
И гибель греческих полков;
Святые битвы за свободу,
И первый родины удар
Ее громившему народу,
И казнь ужасную татар.
И оживит он — в песнях славы —
Славян пленительные нравы:
Их доблесть на полях войны,
Их добродушные забавы,
И гений русской старины,
Торжественный и величавый!

А ныне — песни юных лет
Богини скромной и веселой
Тебе дарит рукой несмелой
Тобой воспитанный поэт.
Пускай сии листы, в часы уединенья,
Представят памяти твоей
Живую радость прежних дней,
Неверной жизни обольщенья
И страсти ветреных друзей.
Здесь все, чем занят был счастливый дар поэта,
Когда он тишину боготворил душой,
Не рабствовал молве обманчивого света
И пел для дружбы молодой!

1822

РОК

Смотрите: он летит над бедною вселенной.
Во прах, невинные, во прах!
Смотрите, вон кинжал в руке окровавленной
И пламень Тартара в очах!
Увы! сия рука не знает сострраданья,
Не знает промаха удар!
Кто он, сей враг людей, сей ангел злодеянья,
Посол неправых неба кар?

Всего прекрасного безжалостный губитель,
Любимый сын владыки тьмы,
Всемощный, вековой — и наш мироправитель!
Он — рок; его добыча — мы.
Злодейству он дает торжественные силы
И гений творческий для бед,
И медленно его по крови до могилы
Проводит в лаврах через свет.

Но ты, минутное творца изображенье,
Невинность, век твой не цветет:
Полюбишь ты добро, и рок в остервененье
С земли небесное сорвет
Иль бросит бледную в бунтующее море,
Закроет небо с края в край,
На парусе твоем напишет: горе! горе!
И ты при молниях читай!

1823

ЧУЖБИНА

Там, где в блеске горделивом
Меж зеленых берегов
Волга вторит их отзывом
Песни радостных пловцов
И, как Нил-благотворитель,
На поля богатство льет,—
Там отцов моих обитель,
Там любовь моя живет!

Я давно простился с вами,
Незабвенные края!

Под чужими небесами
Отцветет весна моя;
Но ни в громком шуме света,
Ни под бурей роковой
Не слетит со струн поэта
Голос родине чужой.

Радость жизни, друг свободы,
Муза любит мой приют.
Здесь, когда брега и воды
Под туманами заснут,
И, как щит перед сраженьем,
Светел месяц золотой,—
С благотворным вдохновеньем,
Легкокрылою толпой,

Из страны очарованья,
В их эфирной тишине,
Утешители-мечтанья
Ниспускаются ко мне;
Пред очами оживает
Красота минувших дней,
Сладко грудь моя вздыхает,
Сердце бьется, взор ясней!

Это ты, страна родная,
Где весенние цветы
Мне дарила жизнь младая!
Край прелестный — это ты,
Где видением игривым
Каждый день мой пролетал,
Каждый день меня счастливым
Находил и оставлял!

Вы, холмы, леса, поляны,
Скаты злачных берегов
И старинные курганы —
Память смелых праотцов,—
Сохраненные веками
Как свидетели побед,
Непритворными струнами
Вас приветствует поэт!

Ваш певец в чужбине дышит
И один, во цвете дней,
Долго, долго не услышит
Песен волжских рыбарей.
Долго грустный проблуждает
Он по дальным сторонам;
Долго арфа не сыграет
Песни радостным друзьям.

Ты, которая вливаешь
Огнь божественный в сердца
И цветами убираешь
Кудри юного певца,
Радость жизни, друг свободы,
Муза лиры! прилетай
И утраченные годы
Мне в мечтах напоминай!

Муза лиры! ты прекрасна,
Ты мила душе моей;
Мне с тобою не ужасна
Буря света и страстей.
Я горжусь твоим участьем;
Ты чаруешь жизнь мою,—
И, забытый рано счастьем,
Я утешен: я пою!

1823

МОЕ УЕДИНЕНИЕ

От света вдалеке
Я моему пенату
Нашел простую хату
В пустынном чердаке;
Здесь лестница крутая,
Со всхода по стене
Улиткой завитая,
Впотьмах ведет ко мне;
Годов угрюмый гений
С нее перилы снял
И тяжкие ступени
Избил и раскачал;

Но, зная путь парнасской
От колыбельных лет,
С ее вершины тряской
Не падает поэт;
Под ним дрожат ступени,
И тьма со всех сторон,
Но верно ходит он
К своей любимой сени.

Благодарю богов!
В моем уединенье
Свобода — рай певцов,
Живое размышленье
И тишина трудов.
Умеренность благая
Приют мой убрала,
Здесь роскошь выписная
Приема не нашла;
Завесою богатой
Не занавешен свет;
Пол шаткий и покатый
Коврами не одет;
Ни бронзы драгоценной,
Ни зе́ркал, ни картин:
Все бедно и смиренно,
Как сирый Фебов сын.
У стенки некрасивой
Стоит мой стол простой,
Хранитель молчаливый
Всего, что гений мой,
Мечтатель говорливый,
Досужною порой
Певцу-анахорету
Наедине внушил
И строго запретил
Казать слепому свету;
Пред ним моя рука
Широкими рядами,
Из полок, меж стенами
И вверх до потолка,
Приют уединенный
Соорудила вам,
О русские камены,
Священные векам!

Ты здесь, во славе зримый,
Снегов полярных сын,
Певец непобедимый
И гений-исполин,
Отважный, как свобода,
И быстрый, как перун,
Ты строен, как природа,
Как небо, вечно юн!

И ты, кумир поэта!
С высокою душой,
Как яркая комета,
Горящей полосой
На русском небосклоне
Возникший в дни побед
И мудрую на троне
Прославивший поэт!
Твой голос величавый
Гремит из рода в род
И вечно не замрет
В устах полночной славы.

И ты, любимый сын
Фантазии чудесной,
Певец любви небесной
И северных дружин,
То нежный и прекрасный,
Как сердца первый жар,
То смелый и ужасный,
Как мщения удар!
Твой глас душе унылой,
Как ангела привет,
Внушает тайной силой
Надежду в море бед;
В страдальце оживляет
Покорность небесам,—
И, грустный, забывает,
Что он еще не там!

Питомцы вдохновенья!
Вы здесь,— и гений мой
Мирские наслажденья
С мирскою суетой
Презрительно бросает

Пред музою во прах,
И зря, как вас венчает
Бессмертие в веках,
Приподнимает крылы
И чувствует в крылах
Торжественные силы.

Счастлив, кто жребий свой
Из урны роковой
Сам избирал и вынул
И шумный свет покинул
Для неизменных благ!
Умеренным богатый,
В тиши укромной хаты
В спасительных трудах
Он дни свои проводит
С волшебницей-мечтой;
За славою не ходит
И не знаком с молвой.
Безвестность золотая
Хранит его от бед,
И ласковая стая
Докучливых сует
Ненужного для света
Не вызовет на свет.
О боги! кров поэта
Да будет вечно тих!
Я не ищу фортуны,
Ни почестей мирских:
Труды, безвестность, струны —
Блаженство дней моих!

А ты, моя свобода,
Храни души покой!
Мне музы и природа
Прекраснее с тобой;
С тобой мечты живее,
Отважней дум полет,
И песнь моя звучнее;
С тобою — я поэт!

1823

ПЕСНЬ БАРДА ВО ВРЕМЯ ВЛАДЫЧЕСТВА ТАТАР В РОССИИ

О! стонати русской земле,
помянувше пръвую годину и пръвых князей.
Слово о полку Игореве

Где вы, краса минувших лет,
Баянов струны золотые,
Певицы вольности, и славы, и побед,
Народу русскому родные?
Бывало: ратники лежат вокруг огней
По брегу светлого Дуная,
Когда тревога боевая
Молчит до утренних лучей.
Вдали — туманом покровенный
Стан греков, и над ним, грозна,
Как щит, в бою окровавленный,
Восходит полная луна!

И тихий сон во вражьем стане;
Но там, где вы, сыны снегов,
Там вдохновенный на кургане
Поет деянья праотцов —
И пе́рсты ве́щие летают
По звонким пламенным струнам,
И взоры воинов сверкают,
И рвутся длани их к мечам!

Наутро солнце лишь восстало —
Проснулся дерзостный булат:
Валятся греки — ряд на ряд,
И их полков — как не бывало!
И вы сокрылися, века полночной славы,
Побед и вольности века!
Так сокрывается лик солнца величавый
За громовые облака.
Но завтра солнце вновь восстанет...
А мы... нам долго цепи влечь;
Столетья протекут — и русский меч не грянет
Тиранства гордого о меч.
Неутомимые страданья
Погубят память об отцах,

И гений рабского молчанья
Воссядет, вечный, на гробах.
Теперь вотще младый баян
На голос предков запевает:
Жестоких бедствий ураган
Рабов полмертвых оглушает;
И он, дрожащею рукой
Подняв холодные железы,
Молчит, смотря на них сквозь слезы,
С неисцелимою тоской!

1823

БАЯН К РУССКОМУ ВОИНУ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ, ПРЕЖДЕ ЗНАМЕНИТОГО СРАЖЕНИЯ НА НЕПРЯДВЕ

Посвящено А. А. Воейковой

Стоит — за олтари святые,
За богом венчанных царей,
За гробы праотцев родные,
За жен, отцов и за детей.
Лобанов

О бранный витязь! ты печален,
Один, с поникшею главой,
Ты бродишь, мрачный и немой,
Среди могил, среди развалин;
Ты видишь в родине своей
Следы пожаров и мечей.

И неужель трава забвенья
Успеет вырость на гробах,
Пока не вспыхнет в сих полях
Война решительного мщенья?
Или замолкла навсегда
Твоя за родину вражда?

Твои отцы славяне были,
Железом страшные врагам;

Чужие руки их рукам
Не цепи — злато приносили.
И не свобода ль им дала
Их знаменитые дела?

Когда с толпой отважных братий
Ты грозно кинешься на бой,—
Кто сильный сдержит пред тобой
Врагов тьмочисленные рати?
Кто сгонит бледность с их лица
При виде гневного бойца?

Рука свободного сильнее
Руки, измученной ярмом,—
Так с неба падающий гром
Подземных грохотов звучнее,
Так песнь победная громчей
Глухого скрежета цепей!

Не гордый дух завоеваний
Зовет булат твой из ножон:
За честь, за веру грянет он
В твоей опомнившейся длани —
И перед челами татар
Не промахнется твой удар!

На бой, на бой! — И жар баянов
С народной славой оживет,
И арфа смелых пропоет:
«Конец владычеству тиранов:
Ужасен хан татарский был,
Но русский меч его убил!»

1823

Н. Д. КИСЕЛЕВУ

В стране, где я забыл мирские наслажденья,
Где улыбается мне дева песнопенья,
Где немец поселил свой просвещенный вкус,
Где поп и государь не оковали муз;
Где вовсе не видать позора чести русской,
Где доктор и студент обедают закуской,
Желудок приучив за книгами говеть;
Где часто, не любя всегда благоговеть
Перед законами железа и державы,
Младый воспитанник науки и забавы,
Бродя в ночной тиши, торжественно поет
И вольность и покой, которыми живет,—
Ты первый подал мне приятельскую руку,
Внимал моих стихов студенческому звуку,
Делил со мной мечты надежды золотой
И в просвещении мне был пример живой.
Ты удивил меня: ты и богат и знатен,
А вовсе не дурак, не подл и не развратен!
Порода — первый чин в отечестве твоем —
Тебе позволила б остаться и глупцом:
Она дала тебе вельможеское право
По-царски век прожить, не занимаясь славой,
На лоне роскоши для одного себя;
Или, занятия державных полюбя,
Стеснивши юный стан ливреею тирана,
Ходить и действовать по звуку барабана
И мыслить, как велит, рассудка не спросясь,
Иль невеликий царь или великий князь,
Которым у людей отеческого края
По сердцу лишь ружье да голова пустая.
Ты мог бы, с двадцать лет помучивши солдат,
Блистать и мишурой воинственных наград
И, даже азбуки не зная просвещенья,
Потом принять бразды верховного правленья,
Которых на Руси, как почтовых коней,
Скорее тем дают, кто чаще бьет людей.
Но ты, не веруя неправедному праву,
Очами не раба взираешь на державу,
Ты мыслишь, что одни б достоинства должны
Давать не только скиптр, но самые чины,
Что некогда паук животворящий гений —
Отец народных благ и царских огорчений —

Поставит, разумом обезоружив трон,
Под наши небеса свой истинный закон...

Мы вместе, милый мой, о родине судили,
Царя и русское правительство бранили,—
И дни веселые мелькали предо мной.
Но вот — судьба зовет на путь иной,
И скоро будут мне, в тиши уединенья,
Отрадою одни былые наслажденья.
Дай руку! Да тебе на поприще сует
Не встретится удар обыкновенных бед!

А я — останусь здесь, и в тишине свободной
Научится летать мой гений благородный,
Научится богов высоким языком
Презрительно шутить над знатью и царем:
Не уважающий дурачеств и в короне,
Он, верно, их найдет близ трона и на троне!

Пускай пугливого тиранства приговор
Готовит мне в удел изгнания позор
За смелые стихи, внушенные поэту
Делами низкими и вредными полсвету,—
Я не унижуся нерабскою душой
Перед могущею — но глупою рукой.
Служитель алтарей богини вдохновенья
Умеет презирать неправые гоненья,—
И все усилия цензуры и попов
Не сильны истребить возвышенных стихов.
Прошли те времена, как верила Россия,
Что головы царей не могут быть пустые
И будто создала благая длань творца
Народа тысячи — для одного глупца;
У нас свободный ум, у нас другие нравы:
Поэзия не льстит правительству без славы;
Для нас закон царя — не есть закон судьбы.
Прошли те времена — и мы уж не рабы!

1823

К ХАЛАТУ

Как я люблю тебя, халат!
Одежда праздности и лени,
Товарищ тайных наслаждений
И поэтических отрад!
Пускай служителям Арея
Мила их тесная ливрея;
Я волен телом, как душой.
От века нашего заразы,
От жизни бранной и пустой
Я исцелен — и мир со мной!
Царей проказы и приказы
Не портят юности моей —
И дни мои, как я в халате,
Стократ пленительнее дней
Царя, живущего некстате.

Ночного неба президент,
Луна сияет золотая;
Уснула суетность мирская —
Не дремлет мыслящий студент:
Окутан авторским халатом,
Презрев слепого света шум,
Смеется он, в восторге дум,
Над современным Геростратом;
Ему не видятся в мечтах
Кинжалы Занда и Лувеля,
И наша слава-пустомеля
Душе возвышенной — не страх.
Простой чубук в его устах,
Пред ним, уныло догорая,
Стоит свеча невосковая;
Небрежно, гордо он сидит
С мечтами гения живого —
И терпеливого портного
За свой халат благодарит!

1823

ЭЛЕГИЯ

Свободы гордой вдохновенье!
Тебя не слушает народ:
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает.

Пред адской силой самовластья,
Покорны вечному ярму,
Сердца не чувствуют несчастья
И ум не верует уму.

Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за царя.

1824

МУЗА

Богиня струн пережила
Богов и грома и булата;
Она прекрасных рук в оковы не дала
Векам тиранства и разврата.
Они пришли; повсюду смерть и брань,
В венце раскованная сила,
Ее бессовестная длань
Алтарь изящного разбила;
Но с праха рушенных громад,
Из тишины опустошенья,
Восстал — величествен и млад —
Бессмертный ангел вдохновенья.

1824

ЕВПАТИЙ

«Ты знаешь ли, витязь, ужасную весть? —
В рязанские стены вломились татары!
Там сильные долго сшибались удары,
Там долго сражалась с насилием честь,
Но всё победили Батыевы рати:
Наш град — пепелище, и князь наш убит!» —
Евпатию бледный гонец говорит,
И, страшно беднея, внимает Евпатий.

«О витязь! я видел сей день роковой:
Багровое пламя весь град обхватило,
Как башня, спрямилось, как буря, завыло;
На стогнах смертельный свирепствовал бой,
И крики последних молитв и проклятий
В дыму заглушали звенящий булат —
Все пало... и небо стерпело сей ад!»
Ужасно бледнея, внимает Евпатий.

Где-где по широкой долине огонь
Сверкает во мраке ночного тумана,—
То грозная рать победителя хана
Покоится; тихи воитель и конь;
Лишь изредка, черной тревожимый грезой,
Татарин впросонках с собой говорит,
То, вздрогнув, безмолвный, поднимет свой щит,
То схватит свое боевое железо.

Вдруг... что там за топот в ночной тишине?
«На битву, на битву!» — взывают татары.
Откуда ж свершитель отчаянной кары?
Не все ли погибло в крови и в огне?
Отчизна, отчизна! под латами чести
Есть сильное чувство, живое, одно...
Полмертвую руку подъемлет оно
С последним ударом решительной мести.

Не синее море кипит и шумит,
Почуя незапный набег урагана,—
Шумят и волнуются ратники хана;
Оружие блещет, труба дребезжит,
Толпы за толпами, как тучи густые,
Дружину отважных стесняют кругом;

Сто копий сражаются с русским копьем...
И пало геройство под силой Батыя.

Редеет ночного тумана покров,
Утихла долина убийства и славы.
Кто сей на долине убийства и славы
Лежит, окруженный телами врагов?
Уста уж не кличут бестрепетных братий,
Уж кровь запеклася в отверстиях лат,
А длань еще держит кровавый булат:
Сей падший воитель свободы — Евпатий!

1824

ЭЛЕГИЯ

Еще молчит гроза народа,
Еще окован русский ум,
И угнетенная свобода
Таит порывы смелых дум.
О! долго цепи вековые
С рамен отчизны не спадут,
Столетья грозно протекут,—
И не пробудится Россия!

1824

КАТЕНЬКЕ МОЙЕР

Как очаровывает взоры
Востока чистая краса,
Сияя розами Авроры!
Быть может, эти небеса
Не целый день проторжествуют;
Быть может, мрак застигнет их,
И ураганы добушуют
До сводов, вечно голубых!
Но любит тихое мечтанье
В цветы надежду убирать
И неба в утреннем сиянье
Прекрасный день предузнавать.

Твои младенческие годы
Полетом ангела летят:
Твои мечты — мечты свободы,
Твоя свобода — мир отрад;
В твоих понятиях нет рока...
Несильной жертвы не губя,
Еще завистливого ока
Не обратил он на тебя;
Но будет час, он неизбежен,
Твоим очам откроет он
Сей мир, где разум безнадежен,
Где счастье — сон, беда — не сон.

Пусть веры кроткое сиянье
Тебе осветит жизни путь;
Ее даров очарованье
Покоит страждущую грудь;
Она с надеждою отрадной
Велит без ропота сносить
Удары силы непощадной,
Терпеть, смиряться и любить.

1824

МОЛИТВА

Молю святое провиденье:
Оставь мне тягостные дни,
Но дай железное терпенье,
Но сердце мне окамени.
Пусть, неизменен, жизни новой
Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам.

1825

ГЕНИЙ

Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал —
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея:
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась,
И вдохновеньем озарялась,
И бога слышала она!

Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет;
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес...
И миру новые светила —
Дела избранника небес!

1825

ДВЕ КАРТИНЫ

Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих вод, как шар огня,
Встает в торжественном покое:
Его красой озарена,
Цветами радуги играя,
Лежит равнина водяная,
Необозрима и пышна;
Прохлада утренняя веет,
Едва колышутся леса;
Как блестки золота, светлеет
Их переливная роса;
У пробудившегося брега
Стоят, готовые для бега,
И тихо плещут паруса;
На лодку мрежи собирая,
Рыбак взывает и поет,
И песня русская, живая
Разносится по глади вод.

Прекрасно озеро Чудское,
Когда блистательным столбом
Светило искрится ночное
В его кристалле голубом:
Как тень, отброшенная тучей,
Вдоль искривленных берегов
Чернеют образы лесов,
И кое-где огонь плавучий
Горит на челнах рыбаков;
Безмолвна синяя пучина,
В дубровах мрак и тишина,
Небес далекая равнина
Сиянья мирного полна;
Лишь изредка, с богатым ловом
Подъемля сети из воды,
Рыбак живит веселым словом
Своих товарищей труды;
Или путем дугообразным
С небесных падая высот,
Звезда над озером блеснет,
Огнем рассыплется алмазным
И в отдаленье пропадет.

1825

К А. А. ВОЕЙКОВОЙ

Забуду ль вас когда-нибудь
Я, вами созданный? Не вы ли
Мне песни первые внушили,
Мне светлый указали путь
И сердце биться научили?
Я берегу в душе моей
Неизъяснимые, живые
Воспоминанья прошлых дней,
Воспоминанья золотые.
Тогда для вас я призывал,
Для вас любил богиню пенья,
Для вас делами вдохновенья
Я возвеличиться желал;
И ярко — вами пробужденный,
Прекрасный, сильный и священный —
Во мне огонь его пылал.

Как волны, высились, мешались,
Играли быстрые мечты;
Как образ волн, их красоты́,
Их рост и силы изменялись —
И был я полон божества,
Могуч восстать до идеала,
И сладкозвучные слова,
Как перлы, память набирала.
Тогда я ждал... но где ж они,
Мои пленительные дни,
Восторгов пламенная сила
И жажда славного труда?
Исчезло все,— меня забыла
Моя высокая звезда.
Взываю к вам: без вдохновений
Мне скучно в поле бытия;
Пускай пробудится мой гений,
Пускай почувствую, кто я!

1825

* * *

Не вы ль убранство наших дней,
Свободы искры огневые,—
Рылеев умер, как злодей! —
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

1826

К П. А. ОСИПОВОЙ

Аминь, аминь! Глаголю вам:
Те дни мне милы и священны,
Когда по Сороти брегам,
То своенравный, то смиренный,
Бродил я вольно там и там;
Когда вся живость наслаждений
Во славу граций и вина,
Свежа, роскошна, как весна,
Чиста, как звуки вдохновений,

Как лента радуги ясна,
Во мне, могучая, кипела,—
И я, счастливец, забывал:
Реку, где Разин воевал.
Поля родимого предела,
Симбирск, и кровных, и друзей,
И все, что нравилось когда-то
Моей фантазии крылатой,
Душе неопытной моей.
И та, кого моим светилом
И божеством я называл,
Кому в восторге нежно-милом
Стихи и сердце отдавал;
Та красота, едва земная,
Та знаменитая жена,
Многоученая, святая,
Которой наши времена
Сияют радостнее рая;
Та, для кого не раз, не два
Моя порочилась молва:
Та красота, которой много
Российский жертвовал Парнас,
Когда туманною дорогой
Брела поэзия у нас,
Та благосклонная... вот чудо!
Под вашим небом и во сне
Она не грезилася мне,
И вообще я помнил худо
О достопамятной весне...
Так луч денницы прогоняет
Пары с проснувшихся полян;
Так возмутительный стакан
Мечты и мысли возвышает.
Благословенная пора!
Она жива мне, как вчера.
Бывало, звезды тихой ночи
Глядятся в зеркале пруда...
Как чаровались мне тогда
Душа и сердце, слух и очи!
Самодовольные, во мне
Надежды пылкие вставали,
Играли весело оне,
И в даль ни разу не летали
Надежды лучшие мои!

А дом, а сад густозеленый,
Пруды и Сороти студеной
Гостеприимные струи!
А вид на долы и на горы
И сень прибережной горы!
А мост, а пышные дары
Помоны, Бахуса и Флоры!
А вольномыслящий поэт,
Наследник мудрости Вольтера!
Ни тени скуки, ни сует,
И с полным жаром юных лет
В свободу сладостная вера!
Все это радует меня,
Все мне пленительно доныне,
Здесь, где на жизненной пучине
Нет ни ветрила, ни огня.
О! я молюсь, мой добрый гений!
Да вновь увижу те края,
Где все достойно песнопений,
Где вечный праздник бытия!

1826

ТРИГОРСКОЕ

Посвящается П. А. Осиповой

В стране, где вольные живали
Сыны воинственных славян,
Где сладким именем граждан
Они друг друга называли;
Куда великая Ганза
Добро возила издалеча,
Пока московская гроза
Не пересиливала веча;
В стране, которую война
Кровопролитно пустошила,
Когда ливонски знамена
Душа геройская водила;
Где побеждающий Стефан
В один могущественный стан
Уже сдвигал толпы густыя,
Да уничтожит псковитян,

Да ниспровергнется Россия!
Но ты, к отечеству любовь,
Ты, чем гордились наши деды,
Ты ополчилась... Кровь за кровь...
И он не праздновал победы!
В стране, где славной старины
Не все следы истреблены,
Где сердцу русскому доныне
Красноречиво говорят:
То стен полуразбитых ряд
И вал на каменной вершине,
То одинокий древний храм
Среди беспажитной поляны,
То благородные курганы
По зеленеющим брегам.
В стране, где Сороть голубая,
Подруга зе́ркальных озер,
Разнообразно между гор
Свои изгибы расстилая,
Водами ясными поит
Поля, украшенные нивой,—
Там, у раздолья, горделиво
Гора трихолмная стоит;
На той горе, среди лощины,
Перед лазоревым прудом,
Белеется веселый дом
И сада темные картины,
Село и пажити кругом.

Приют свободного поэта,
Не побежденного судьбой!
Благоговею пред тобой,—
И дар божественного света,
Краса и радость лучших лет,
Моя надежда и забава,
Моя любовь, и честь, и слава —
Мои стихи — тебе привет!

Как сна отрадные виденья,
Как утро пышное весны,
Волшебны, свежи наслажденья
На верном лоне тишины,
Когда душе, не утомленной
Житейских бременем трудов,

Доступен жертвенник священный
Богинь кастальских берегов;
Когда родимая природа
Ее лелеет и хранит
И ей, роскошная, дарит
Все, чем возвышена свобода.

Душе пленительна моей
Такая райская година:
Камены пламенного сына
Она утешила; об ней
Воспоминание живое
И ныне радует меня.
Бывало, в царственном покое,
Великое светило дня,
Вослед за раннею денницей,
Шаром восходит огневым
И небеса, как багряницей,
Окинет заревом своим;
Его лучами заиграют
Озер живые зеркала;
Поля, холмы благоухают;
С них белой скатертью слетают
И сон и утренняя мгла;
Росой перловой и зернистой
Дерев одежда убрана;
Пернатых песнью голосистой
Звучит лесная глубина.

Тогда, один, восторга полный,
Горы прибережной с высот,
Я озирал сей неба свод,
Великолепный и безмолвный,
Сии круги и ленты вод,
Сии ликующие нивы,
Где серп мелькал трудолюбивый
По золотистым полосам;
Скирды желтелись, там и там
Жнецы к товарищам взывали,
И на дороге, вдалеке,
С холмов бегущие к реке
Стада пылили и блеяли.

Бывало, солнце без лучей
Стоит и рдеет в бездне пара,
Тяжелый воздух полон жара;
Вода чуть движется; над ней
Склонилась томными ветвями
Дерев безжизненная тень;
На поле жатвы, меж скирдами,
Невольная почиет лень,
И кони спутанные бродят,
И псы валяются; молчат
Село и хо́лмы; душен сад,
И птицы песен не заводят...

Туда, туда, друзья мои!
На скат горы, на брег зеленый,
Где дремлют Сороти студеной
Гостеприимные струи;
Где под кустарником тенистым
Дугою выдалась она
По глади вогнутого дна,
Песком усыпанной сребристым.
Одежду прочь! перед челом
Протянем руки удалые
И бух! — блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наяда!
Дышу вольнее, светел взор,
В холодной неге оживаю
И бодр и весел выбегаю
Травы на бархатный ковер.

Что восхитительнее, краше
Свободных, дружеских бесед,
Когда за пенистою чашей
С поэтом говорит поэт?
Жрецы высокого искусства,
Пророки воли божества!
Как независимы их чувства,
Как полновесны их слова!
Как быстро, мыслью вдохновенной,
Мечты на радужных крылах,

Они летают по вселенной
В былых и будущих веках!
Прекрасно радуясь, играя,
Надежды смелые кипят,
И грудь трепещет молодая,
И гордый вспыхивает взгляд!

Певец Руслана и Людмилы!
Была счастливая пора,
Когда так веселы, так милы
Неслися наши вечера
Там на горе, под мирным кровом
Старейшин сада вековых,
На дерне свежем и шелковом,
В виду окрестностей живых;
Или в тиши благословенной
Жилища граций, где цветут
Каменами хранимый труд
И ум, изящно просвещенный;
В часы, как сладостные там
Дары Эвтерпы нас пленяли,
Как пе́рсты легкие мелькали
По очарованным ладам,—
С них звуки стройно подымались,
И в трелях чистых и густых
Они свивались, развивались —
И сердце чувствовало их!

Вот за далекими горами
Скрывается прекрасный день;
От сеней леса над водами
Волнообразными рядами
Длиннеет трепетная тень;
В реке сверкает блеск зарницы,
Пустеют хо́лмы, дол и брег;
В село въезжают вереницы
Поля покинувших телег;
Где-где залает пес домовый,
Иль ветерок зашелестит
В листах темнеющей дубровы,
Иль птица робко пролетит,
Иль воз тяжелый и скрыпучий,
Усталым движимый конем,
Считая бревна колесом,

Переступает мост плавучий;
И вдруг отрывный и глухой
Промчится грохот над рекой,
Уже спокойной и дремучей,—
И вдруг замолкнет... Но вдали,
На крае неба, месяц полный
Со всех сторон заволокли
Большие, облачные волны;
Вон расступились, вон сошлись,
Вон, грозно-тихие, слились
В одну громаду непогоды —
И на лазоревые своды,
Молниеносна и черна,
С востока крадется она.

Уже безмолвие лесное
Налетом ветра смущено;
Уже не мирно и темно
Реки течение ночное;
Широко зыблются на нем
Теней раскидистые чащи,
Как парус, в воздухе дрожащий,
Почти упущенный пловцом,
Когда внезапно буря встанет,
Покатит шумные струи,
Рванет крыло его ладьи
И над пучиною растянет.

Тьма потопила небеса;
Пустился дождь; гроза волнует,
Взрывает воды и леса,
Гремит, и блещет, и бушует.
Мгновенья дивные! Когда
С конца в конец по тучам бурным
Зубчатой молнии бразда
Огнем рассыплется пурпурным,
Все видно: цепь далеких гор,
И разноцветные картины
Извивов Сороти, озер,
Села, и брега, и долины!
Вдруг тьма угрюмей и черней,
Удары громче громовые,
Шумнее, гуще и быстрей
Дождя потоки проливные.

Но завтра, в пышной тишине,
На небо ярко-голубое
Светило явится дневное
Восставить утро золотое
Грозой омытой стороне.

Придут ли дни? Увижу ль снова
Твои холмы, твои поля,
О православная земля
Священных памятников Пскова?
Твои родные красоты
Во имя муз благословляю
И верным счастьем называю
Все, чем меня ласкала ты.

Как сладко узнику младому,
Покинув тьму и груз цепей,
Взглянуть на день, на блеск зыбей,
Пройти по брегу луговому,
Упиться воздухом полей!
Как утешительно поэту
От мира хладной суеты,
Где многочисленные в Лету
Бегут надежды и мечты,
Где в сердце, музою любимом,
Порой, как пламени струя,
Густым задавленная дымом,
Страстей при шуме нестерпимом,
Слабеют силы бытия,—
В прекрасный мир, в сады природы
Себя, свободного, укрыть
И вдруг и гордо позабыть
Свои потерянные годы!

1826

ОЛЕГ

Не лес завывает, не волны кипят
　　Под сильным крылом непогоды;
То люди выходят из киевских врат:
　　Князь Игорь, его воеводы,
Дружина, свои и чужие народы

На берег днепровский, в долину спешат,
Могильным общественным пиром
Отправить Олегу почетный обряд,
Великому бранью и миром.

Пришли — и широко бойцов и граждан
Толпы обступили густыя
То место, где черный восстанет курган,
Да Вещего помнит Россия;
Где князь бездыханный, в доспехах златых,
Лежал средь зеленого луга,
И бурный товарищ трудов боевых —
Конь белый — стоял изукрашен и тих
У ног своего господина и друга.

Все, малый и старый, отрадой своей,
Отцом опочившего звали;
Горючие слезы текли из очей,
Носилися вопли печали;
И долго, и долго вопил и стенал
Народ, покрывавший долину;
Но вот на средине булат засверкал,
И бранному в честь властелину
Конь белый, булатом сраженный, упал
Без жизни к ногам своему господину.
Все стихло... руками бойцов и граждан
Подвигнулись глыбы земныя...
И вон на долине огромный курган,
Да Вещего помнит Россия!

Волнуясь, могилу народ окружал,
Как волны морские несметный;
Там праздник надгробный сам князь начинал:
В стакан золотой и заветный
Он мед наливал искрометный,
Он в память Олегу его выпивал;
И вновь наполняемый медом,
Из рук молодого владыки славян,
С конца до конца, меж народом
Ходил золотой и заветный стакан.

Тогда торопливо, по данному знаку,
Откинув доспех боевой,
Свершить на могиле потешную драку

Воители строятся в строй;
Могучи, отваги исполнены жаром,
От разных выходят сторон,
Сошлися — и бьются... удар за ударом,
Ударом удар отражен!
Сверкают их очи; десницы высокой
И ловок и меток размах;
Увертливы станом и грудью широкой
И тверды бойцы на ногах!
Расходятся, сходятся... сшибка другая —
И пала одна сторона!
И громко народ зашумел, повторяя
Счастливых бойцов имена.

Тут с поприща боя их речью приветной
Князь Игорь к себе подзывал;
В стакан золотой и заветный
Он мед наливал искрометный,
Он сам его бодрым борцам подавал;
И вновь наполняемый медом,
Из рук молодого владыки славян,
С конца до конца, меж народом
Ходил золотой и заветный стакан.

Вдруг,— словно мятеж усмиряется шумный
И чинно дорогу дает,
Когда поседелый в добре и разумный
Боярин на вече идет,—
Толпы расступились, и стал среди схода
С гуслями в руках славянин.
Кто он? Он не князь и не княжеский сын,
Не старец, советник народа,
Не славный дружин воевода,
Не славный соратник дружин;
Но все его знают, он людям знаком
Красой вдохновенного гласа...
Он стал среди схода — молчанье кругом,
И звучная песнь раздалася!

Он пел, как премудр и как мужествен был
Правитель полночной державы;
Как первый он громом войны огласил
Древлян вековые дубравы:
Как дружно сбирались в далекий поход

Народы по слову Олега;
Как шли чрез пороги, под грохотом вод,
По высям днепровского брега;
Как по морю бурному ветер носил
Проворные русские челны;
Летела, шумела станица ветрил,
И прыгали челны чрез волны!
Как после, водима любимым вождем,
Сражалась, гуляла дружина
По градам и селам, с мечом и с огнем
До града царя Константина;
Как там победитель к воротам прибил
Свой щит, знаменитый во брани,
И как он дружину свою оделил
Богатствами греческой дани!

Умолк он — и радостным криком похвал
Народ отзывался несметный,
И братски баяна сам князь обнимал;
В стакан золотой и заветный
Он мед наливал искрометный
И с ласковым словом ему подавал;
И вновь наполняемый медом,
Из рук молодого владыки славян,
С конца до конца, меж народом
Ходил золотой и заветный стакан.

1826

К П. А. ОСИПОВОЙ

Благодарю вас за цветы:
Они священны мне; порою
На них задумчиво покою
Мои любимые мечты;
Они пленительно и живо
Те дни напоминают мне,
Когда на воле, в тишине,
С моей каменою ленивой,
Я своенравно отдыхал
Вдали удушливого света
И вдохновенного поэта
К груди кипучей прижимал!

И ныне, с грустью безутешной,
Мои желания летят
В тот край возвышенных отрад
Свободы милой и безгрешной.
И часто вижу я во сне:
И три горы, и дом красивый,
И светлой Сороти извивы
Златого месяца в огне,
И там, у берега, тень ивы —
Приют прохлады в летний зной,
Наяды полог продувной;
И те отлогости, те нивы,
Из-за которых вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер, и Гете, и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый;
И ту площадку, где в тиши
Нас нежила, нас веселила
Вина чарующая сила —
Оселок сердца и души;
И все божественное лето,
Которое из рода в род,
Как драгоценность, перейдет,
Зане Языковым воспето!
Златые дни! златые дни!
Взываю к вам, и где ж они?
Теперь не то: с утра до ночи
Мир политических сует
Мне утомляет ум и очи,
А пользы нет, и славы нет!
Скучаю горько, и едва ли
К поре, ко времени, пройдут
Мои учебные печали
И прозаический мой труд.
Но, что бы ни было, оставлю
Незанимательную травлю
За дичью суетных наук,—
И, друг природы, лени друг,—
Беспечной жизнью позабавлю
Давно ожиданный досуг.
Итак, вперед! молюся богу,
Да он меня благословит,

Во имя Феба и харит,
На православную дорогу;
Да мой обрадованный взор
Увидит вновь, восторга полный,
Верхи и скаты ваших гор,
И темный сад, и дом, и волны!

1827

КАТЕНЬКЕ МОЙЕР

Благословенны те мгновенья,
Когда, в виду грядущих лет,
Пред фимиамом вдохновенья
Священнодействует поэт:
Как мысль о небе, величавы,
Торжественны его слова;
Их принимают крылья славы,
Им изумляется молва!
Но и тогда, как он играет
Своим возвышенным умом,
Он преисполнен, он сияет
Его хранящим божеством,
И часто даром прорицанья —
Творящей прихоти сыны —
Его небрежные созданья,
Его мечты одарены.

Быстрее, легче сновиденья
Пройдут твои младые дни,
Но благодетельно: они,
Служа богине просвещенья,
Игривый ум твой разовьют
И сердце с чувством безмятежным,
Как яркий звук со звуком нежным,
В одну гармонию сольют.

Тебя полюбят мир и счастье;
Не возмутят груди твоей
Порывы буйные страстей,
Не охладит ее бесстрастье;
Прекрасна будет жизнь твоя:

Светла, свободна и спокойна,
Души божественной достойна,
Достойна чести бытия.

1827

К НЯНЕ ПУШКИНА

Свет Родионовна, забуду ли тебя?
В те дни, как сельскую свободу возлюбя,
Я покидал для ней и славу, и науки,
И немцев, и сей град профессоров и скуки,
Ты, благодатная хозяйка сени той,
Где Пушкин, не сражен суровою судьбой,
Презрев людей, молву, их ласки, их измены,
Священнодействовал при алтаре камены,—
Всегда приветами сердечной доброты
Встречала ты меня, мне здравствовала ты,
Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета,
Ходил я навещать изгнанника поэта
И мне сопутствовал приятель давний твой,
Ареевых наук питомец молодой.
Как сладостно твое святое хлебосольство
Нам баловало вкус и жажды своевольство;
С каким радушием — красою древних лет —
Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тесноте старинного стола!
Ты занимала нас — добра и весела —
Про стародавних бар пленительным рассказом:
Мы удивлялися почтенным их проказам,
Мы верили тебе — и смех не прерывал
Твоих бесхитростных суждений и похвал;
Свободно говорил язык словоохотный,
И легкие часы летели беззаботно!

1827

К А. М. ЯЗЫКОВУ

Теперь, когда пророчественный дар
Чуждается моих уединенных лар,
Когда чудесный мир мечтательных созданий

На многотрудные затеи мудрований
О ходе царств земных, о суете сует,
На скуку поминать событья наших лет,
Работать для молвы и почести неславной
Я тихо променял, поэт несвоенравный,—
Мои желания отрадные летят
К твоей обители, мой задушевный брат!
Любезный мыслитель и цензор благодатный
Моих парнасских дел и жизни коловратной.

Так я досадую на самого себя,
Что, рано вольности прохладу полюбя
И рано пред судом обычая крамольным,
Я приучил свой ум к деятельности вольной,
К трудам поэзии. Она же — знаешь ты —
Богиня, милая убранством простоты,
Богиня странных дум и жизни самобытной;
Она не блестками заслуги челобитной,
Не звоном золота, не бренною молвой
Нас вызывает в путь свободный и святой.
И юноша, кого небес благословенье
Избрало совершить ее богослуженье,
Всю свежесть, весь огонь, весь пыл души своей,
Все силы бытия он обрекает ей.
Зато от ранних лет замеченному славой,
Ему даровано властительное право
Пред гордостью царей не уклонять чела
И проповедовать великие дела.
Удел божественный! Но свет неугомонный,
Неверный судия и часто беззаконный,
В бессмертных доблестях на поприще камен
Он видит не добро, а суету и тлен.

Я знаю, может быть, усердием напрасным
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,
Самолюбивая пылает грудь моя,
И славного венка не удостоюсь я.
Но что бы ни было, когда успех недальный
Меня вознаградит наградою похвальной
За прозу моего почтенного труда
И возвратит певца на родину — тогда,
Пленительные дни! Душой и телом вольный,
Не стану я носить ни шляпы трехугольной,
Ни грубого ярма приличий городских,

По милости богинь — хранительниц моих:
Природу, и любовь, и тишину златую
Я славословием стихов ознаменую,
И, светозарные, благословят оне
Мои сказания о русской старине.

Я жду, пройдет оно, томительное время,
Чужбину и забот однообразных бремя
Оставлю скоро я. Родительский пенат
Соединит меня с тобою, милый брат;
Там безопасные часы уединенья
Мы станем украшать богатством просвещенья
И сладострастием возвышенных трудов;
Ни вялой праздности, ни скуки, ни долгов!
Тогда в поэзии свободу мы возвысим.
Там бодро выполню — счастлив и независим —
И замыслы моей фантазии младой,
Теперь до лучших лет покинутые мной,
И дружеский совет премудрости врачебной:
Беречься Бахуса и неги непотребной.
Мне улыбнется жизнь, и вечный скороход
Ее, прекрасную, покойно понесет.

1827

К П. А. ОСИПОВОЙ

Плоды воспетого мной сада,
Благословенные плоды, —
Они души моей отрада,
Как славы светлая награда,
Как вдохновенные труды.
Прекрасных ряд воспоминаний
Они возобновляют мне,
И волны прежних упований
Встают в сердечной глубине!
Скучаю здесь; моя камена
Оковы умственного плена
Еще носить осуждена;
Мне жизнь горька и холодна,
Как вялый стих, как Мельпомена
Ростовцева иль Княжнина;
С утра до вечера я занят

Мирским и тягостным трудом.
И бог поэтов не помянет
Его во царствии своем.
И долго сонному забвенью
Мой не потухнет фимиам;
Но я покорен провиденью
И жду чего?.. Не знаю сам...
Я утешаюсь горделиво
Мечтой, что в вашей стороне
Самостоятельное живо
Воспоминанье обо мне.
И благодарен вам душою
За ваш подарок, и в ответ,
Из края скуки и сует,
Вы благосклонною рукою
Мои убогие дары
Примите: пару книжек модных
Произведений ежегодных
Словоохотной немчуры.
Мои ж стихи да будут знаком,
Что скоро и легко для вас
Мой пробуждается Парнас
И что поэт Языков лаком
Везде, всегда воспоминать
Свой рай и вашу благодать.

1827

ПЕСНЯ

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради сладкого труда,
Ради вольности высокой
Собралися мы сюда.
Помним хо́лмы, помним долы,
Наши храмы, наши села,
И в краю, краю чужом
Мы пируем пир веселый
И за родину мы пьем.
Благодетельною силой
С нами немцев подружило
Откровенное вино;

Шумно, пламенно и мило
Мы гуляем заодно.
Но с надеждою чудесной
Мы стакан, и полновесный,
Нашей Руси — будь она
Первым царством в поднебесной,
И счастлива и славна!

1827

БАРОНУ ДЕЛЬВИГУ

Иные дни — иное дело!
Бывало, помнишь ты, барон,
Самонадеянно и смело
Я посещал наш Геликон:
Молва стихи мои хвалила,
Я непритворно верил ей,
И поэтическая сила
Огнем могущественным била
Из глубины души моей!
А ныне? — Миру вдохновений
Далеко-недоступен я:
На лоне скуки, сна и лени
Томится молодость моя!
Моей камены сын ослушный,
Я чужд возвышенных трудов,
Пугаюсь их — и равнодушно
Гляжу на поприще стихов.
Блажен, кто им не соблазнялся!
Блажен, кто от его сует,
Его опасностей и бед
Ушел в себя — и там остался!..
Завидна славы благодать,
Привет завиден многолюдный!
Но часто ль сей наградой чудной
Ласкают нас? И то сказать —
Непроходимо-беспокойно
Служенье Фебу в наши дни:
В раздолье буйной толкотни
Кричат, бранятся непристойно
Жрецы поэзии святой.
Так точно праздничной порой

Кипит торговля площадна́я;
Так говорливо вторит ей
Разноголосица живая
Старух, индеек и гусей!
Туда ль душе честолюбивой
Нести плоды священных дум?
Да увлекут они счастливо
Простонародный крик и шум!
А ты, прихвостница талантов
И повивальница стихов,
Толпа словесных дур и франтов,
Нецензурованных глупцов,—
Не ты ль на подвиг православный
Поэта-юношу зовешь
И вдруг рукой самоуправной
Его же ставишь на правеж?
Не ты ль в судью и господина
Даешь Парнасу кой-кого,
И долго, долго твой детина,
Прищурясь, смотрит на него?

Вот так-то ныне область Феба
Мне представляется, барон.
Ты мирно скажешь: «Это сон,
Дар испытующего неба;
Он легким лётом пролетит!
Так иногда в жару недуга
Страдалец сердится на друга
И задушевного бранит!»
Ну так, барон. Поэтов богу
Поставь усердную свечу,
Да вновь на прежнюю дорогу
Мои труды поворочу,
Да снова песнью сладкогласной
Я возвещу, что я поэт,—
И оправдается прекрасно
Мне вдохновенный твой привет!

1828

ПЛОВЕЦ

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;

В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой.

1829

НА СМЕРТЬ НЯНИ А. С. ПУШКИНА

Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улегся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Ты не умрешь в воспоминаньях
О светлой юности моей
И в поучительных преданьях
Про жизнь поэтов наших дней.

Там, где на дол с горы отлогой
Разнообразно сходит бор

В виду реки и двух озер
И нив с извилистой дорогой,
Где, древним садом окружен,
Господский дом уединенный
Дряхлеет, памятник почтенный
Елисаветиных времен,—

Нас, полных юности и вольных,
Там было трое: два певца
И он, краса ночей застольных,
Киневший силами бойца;
Он, после кинувший забавы,
Себе избравший ратный путь
И освятивший в поле славы
Свою студенческую грудь.

Вон там — обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Пол нечинёный, два окна
И дверь стеклянная меж ними;
Диван под образом в углу
Да пара стульев; стол украшен
Богатством вин и сельских брашен,
И ты, пришедшая к столу!

Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли — и порой
К своей весне переносилась
Разгоряченною мечтой;
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры
И звон стакана об стакан!

Уж гасит ночь свои светила,
Зарей алеет небосклон;
Я помню, что-то нам про сон
Давным-давно ты говорила.
Напрасно! взял свое токай,
Шумней удалая пирушка.
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай!

Ты расскажи нам: в дни былые,
Не правда ль, не на эту стать
Твои бояре молодые
Любили ночи коротать?
Не так бывало! Слава богу,
Земля вертится. У людей
Все коловратно; понемногу
Все мудреней и мудреней.

И мы... Как детство шаловлива,
Как наша молодость вольна,
Как полнолетие умна
И как вино красноречива,
Со мной беседовала ты,
Влекла мое воображенье...
И вот тебе поминовенье,
На гроб твой свежие цветы!

Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улегся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Пред ним печальной головою
Склонюся; много вспомню я —
И умиленною мечтою
Душа разнежится моя!

1830

НА СМЕРТЬ БАРОНА А. А. ДЕЛЬВИГА

Там, где картинно обгибая
Брега, одетые в гранит,
Нева, как небо, голубая,
Широководная шумит,
Жил-был поэт. В соблазны мира
Не увлеклась душа его;
Шелом и царская порфира
Пред ним сияли; он кумира
Не замечал ни одного;
Свободомыслящая лира
Ничем не жертвовала им,
Звуча наитием святым.

Любовь он пел: его напевы
Блистали стройностью живой,
Как резвый стан и перси девы,
Олимпа чашницы младой.
Он пел вино: простой и ясный
Стихи восторг одушевлял;
Они звенели сладкогласно,
Как в шуме вольницы прекрасной
Фиал, целующий фиал;
И девы русские пристрастно
Их повторяют — и поэт
Счастли́в на много, много лет.

Таков он был, хранимый Фебом,
Душой и лирой древний грек.
Тогда гулял под чуждым небом
Студент и русский человек;
Там быстро жизнь его младая,
Разнообразна и светла,
Лилась; там дружба удалая,
Его уча и ободряя,
Своим пророком назвала
И, на добро благословляя,
Цветущим хмелем убрала
Веселость гордого чела.

Ей гимны пел он. Громки были!
На берег царственной Невы
Не раз, не два их приносили
Уста кочующей молвы.
И там поэт чистосердечно
Их гимном здравствовал своим.
Уж нет его. Главой беспечной
От шума жизни скоротечной,
Из мира, где всё прах и дым,
В мир лучший, в лоно жизни вечной
Он перелег; но лиры звон
Нам навсегда оставил он.

Внемли же ныне, тень поэта,
Певцу, чью лиру он любил,
Кому щедроты бога света
Он в добрый час предвозвестил.
Я счастлив ими! Вдохновенья

Уж стали жизнию моей!
Прими сей глас благодаренья!
О! пусть мои стихотворенья
Из милой памяти людей
Уйдут в несносный мрак забвенья
Все, все!.. Но лучшее, одно,
Да не погибнет: вот оно!

1831

К. К. ЯНИШ

Вы, чьей душе во цвете лучших лет
Небесные знакомы откровенья,
Всё, чем высок полет воображенья,
Чем горд и пламенен поэт,—

И два венка, один другого краше,
На голове свилися молодой,
Зеленый лавр поэзии чужой
И бриллианты музы вашей!

Вы силою волшебной дум своих
Прекрасную торжественность мне дали.
Вы на златых струнах переиграли
Простые звуки струн моих.

И снова мне и ярче воссияла
Минувших дней счастливая звезда,
И жаждою священною труда
Живее грудь затрепетала.

Я чувствую: завиден жребий мой,
Есть и во мне благословенье бога,
И праведна житейская дорога,
Беспечно выбранная мной.

Не кланяюсь пустому блеску мира,
Не слушаю слепой его молвы:
Я выше их... Да здравствуйте же вы
И ваша творческая лира!

1831

АУ!

Голубоокая, младая,
Мой чернобровый ангел рая!
Ты, мной воспетая давно,
Еще в те дни, как пел я радость
И жизни праздничную сладость,
Искрокипучее вино,—
Тебе привет мой издалеча,
От москворецких берегов
Туда, где звонких звоном веча
Моих пугалась ты стихов;
Где странно юность мной играла,
Где в одинокий мой приют
То заходил бессонный труд,
То ночь с гремушкой забегала!

Пестро, неправильно я жил!
Там всё, чем бог добра и света
Благословляет многи лета
Тот край, всё: бодрость чувств и сил,
Ученье, дружбу, вольность нашу,
Гульбу, шум, праздность, лень — я слил
В одну торжественную чашу
И пил да пел... я долго пил!

Голубоокая, младая,
Мой чернобровый ангел рая!
Тебя, звезду мою, найдет
Поэта вестник расторопный,
Мой бойкий ямб четверостопный,
Мой говорливый скороход:
Тебе он скажет весть благую.
Да, я покинул наконец
Пиры, беспечность кочевую,
Я, голосистый их певец!
Святых восторгов просит лира —
Она чужда тех буйных лет,
И вновь из прелести сует
Не сотворит себе кумира!

Я здесь! — Да здравствует Москва!
Вот небеса мои родные!
Здесь наша матушка-Россия

Семисотлетняя жива!
Здесь все бывало: плен, свобода,
Орда, и Польша, и Литва,
Французы, лавр и хмель народа,
Всё, всё!.. Да здравствует Москва!

Какими думами украшен
Сей холм давнишних стен и башен,
Бойниц, соборов и палат!
Здесь наших бед и нашей славы
Хранится повесть! Эти главы
Святым сиянием горят!

О! проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины,
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!
Сюда! на дело песнопений,
Поэты наши! Для стихов
В Москве ищите русских слов,
Своенародных вдохновений!

Как много мне судьба дала!
Денницей ярко-пурпуро́вой
Как ясно, тихо жизни новой
Она восток мне убрала!
Не пьян полет моих желаний;
Свобода сердца весела;
И стихотворческие длани
К струнам — и лира ожила!

Мой чернобровый ангел рая!
Моли судьбу, да всеблагая
Не отнимает у меня:
Ни одиночества дневного,
Ни одиночества ночного,
Ни дум дея́тельного дня,
Ни тихих снов ленивой ночи!
И скромной песнию любви
Я воспою лазурны очи,
Ланиты свежие твои,
Уста саха́рны, груди полны,
И белизну твоих грудей,

И черных девственных кудрей
На ней блистающие волны!

Твоя мольба всегда верна;
И мой обет — он совершится!
Мечта любовью раскипится,
И в звуки выльется она!
И будут звуки те прекрасны,
И будет сладость их нежна,
Как сон пленительный и ясный,
Тебя поднявший с ложа сна.

1831

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ А. А. ВОЕЙКОВОЙ

Ее уж нет, но рай воспоминаний
Священных мне оставила она:
Вон чуждый брег и мирный храм познаний,
Каменами любимая страна;
Там, смелый гость свободы просвещенной,
Певец вина, и дружбы, и прохлад,
Настроил я, младый и вдохновенный,
Мои стихи на самобытный лад —
И вторились напевы удалые
При говоре фиалов круговых!
Там грудь моя наполнилась впервые
Волненьем чувств заветных и живых
И трепетом, томительным и страстным,
Божественной и сладостной любви.
Я счастлив был: мелькали дни мои
Летучим сном, заманчивым и ясным.

А вы, певца внимательные други,
Товарищи, как думаете вы?
Для вас я пел немецкие досуги,
Спесивый хмель ученой головы,
И праздник тот, шумящий ежегодно,
Там у пруда, на бархате лугов,
Где обогнул залив голубоводный
Зеленый скат лесистых берегов?
Луна взошла, древа благоухали,
Зефир весны струил ночную тень,

Костер пылал — мы долго пировали
И, бурные, приветствовали день!
Товарищи! не правда ли, на пире
Не рознил вам лирический поэт?
А этот пир не наобум воспет,
И вы моей порадовались лире!

Нет, не для вас! — Она меня хвалила,
Ей нравились: разгульный мой венок,
И младости заносчивая сила,
И пламенных восторгов кипяток;
Когда она игривыми мечтами,
Радушная, преследовала их;
Когда она веселыми устами
Мой сча́стливый произносила стих —
Торжественна, полна очарованья,
Свежа,— и где была душа моя!
О! прочь мои грядущие созданья,
О! горе мне, когда забуду я
Огонь ее приветливого взора,
И на челе избыток стройных дум,
И сладкий звук речей, и светлый ум
В лиющемся кристалле разговора.

Ее уж нет! Все было в ней прекрасно!
И тайна в ней великая жила,
Что юношу стремило самовластно
На видный путь и чистые дела;
Он чувствовал: возвышенные блага
Есть на земле! Есть целый мир труда,
И в нем надежд и помыслов отвага,
И бытие привольное всегда!
Блажен, кого любовь ее ласкала,
Кто пел под небом лучших лет...
Она всего поэта понимала —
И горд, и тих, и трепетен, поэт
Ей приносил свое боготворенье;
И радостно во имя божества
Сбирались в хор созвучные слова:
Как фимиам, горело вдохновенье!

1831

ПЛОВЕЦ

Воют волны, скачут волны!
Под тяжелым плеском волн
Прям стоит наш парус полный,
Быстро мчится легкий челн,
И расталкивает волны,
И скользит по склонам волн!

Их, порывами вздувая,
Буря гонит ряд на ряд;
Разгулялась волновая;
Буйны головы шумят,
Друг на друга набегая,
Отшибаяся назад!

Но глядите: перед нами,
Вдоль по темным облакам,
Разноцветными зарями
Отливаясь там и там,
Золотыми полосами
День и небо светят нам.

Пронесися, мрак ненастный!
Воссияй, лазурный свод!
Разверни свой день прекрасный
Надо всем простором вод:
Смолкнут бездны громогласны,
Их волнение падет!

Блещут волны, плещут волны!
Под стеклянным брызгом волн
Прям стоит наш парус полный,
Быстро мчится легкий челн,
Раздвигая сини волны
И скользя по склонам волн!

1831

Е. А. ТИМАШЕВОЙ

Молодая ученица
Беззаботного житья,
Буйных праздников певица,

Муза резвая моя,
Ярки очи потупляя,
Вольны кудри поправляя,
Чинно кланяется вам:
Это дар ее заздравный
Вашей музе благонравной,
Вашим сладостным стихам!

Прелесть ваших песнопений
В неземное бытие,
В рай чистейших вдохновений
Заманила вновь ее.
Этот мир восторгов дивных,
Тихих, тайных, заунывных,
Независимо живой,
Вами пламенно воспетый,
Мир, где нежатся поэты,
Недовольные землей.

И она его знавала
Там, под небом прошлых дней,
И она его певала
Ради братий и друзей,
Громко ей рукоплескавших,
Ей радушно поверявших
Чувства юные свои,
Томны сны и сладки муки
Умилительной разлуки
И несбыточной любви.

Этот мир полней и краше,
Чем житейский; но его
Утопил я в шумной чаше
Просвещенья моего!
И в раздолье наших оргий
Молодецкие восторги
Муза резвая моя
Непритворно полюбила:
Молодую соблазнила
Вольность братского житья!

С той поры она гуляла,
Наслаждаясь наобум,
Словно прежде не знавала

Скромных чувств и лучших дум.
Прелесть ваших песнопений,
Жажду чистых вдохновений
Пробудила снова в ней —
И красавице удалой
На гульбище грустно стало:
Жаль невинности своей!

1832

Д. В. ДАВЫДОВУ

Давным-давно люблю я страстно
Созданья вольные твои,
Певец лихой и сладкогласный
Меча, фиала и любви!
Могучи, бурно-удалыя,
Они мне милы, святы мне,—
Твои, которого Россия,
В свои годины роковыя,
Радушно видит на коне,
В кровавом зареве пожаров,
В дыму и прахе боевом,
Отваге пламенных гусаров
Живым примером и вождем;
И на скрижалях нашей Клии
Твои дела уже блестят:
Ты кровью всех врагов России
Омыл свой доблестный булат!
Прими рукою благосклонной
Мой дерзкий дар: сии стихи —
Души студентски-забубенной
Разнообразные грехи.
Там, в той стране полунемецкой,
Где безмятежные живут
Веселый шум, ученый труд
И чувства груди молодецкой,
Моя поэзия росла
Самостоятельно и живо,
При звонком говоре стекла,
При песнях младости гульливой,
И возросла она счастливо —
Резва, свободна и смела,

Певица братского веселья,
Друзей, да хмеля и похмелья
Беспечных юношеских дней;
Не удивляйся же ты в ней
Разливам пенных вдохновений,
Бренчанью резкому стихов,
Хмельному буйству выражений
И незастенчивости слов!

1832

А. А. ФУКС

Завиден жребий ваш: от обольщений света,
От суетных забав, бездушных дел и слов
На волю вы ушли — в священный мир поэта,
В мир гармонических трудов.

Божественным огнем красноречив и ясен
Пленительный ваш взор, трепещет ваша грудь,
И вдохновенными заботами прекрасен
Открытый жизненный ваш путь!

Всегда цветущие мечты и наслажденья,
Свободу и покой дарует вам Парнас.
Примите ж мой привет,— я ваши песнопенья
Люблю: я понимаю вас.

Люблю тоску души задумчивой и милой,
Волненье надежд и помыслов живых,
И страстные стихи, и говор их унылый,
И бога, движущего их!

1834

Д. П. ОЗНОБИШИНУ

Где ты странствуешь? Где ныне
Мой поэт и полиглот
Поверяет длинный счет?
Чать, в какой-нибудь пустыне,
На брегу бесславных вод,

Где растительно живет
Человек, где и в помине
Нет возвышенных забот!

Или кони резвоноги
Мчат тебя с твоей судьбой
В дождь осенний, в тьме ночной
По извилинам дороги,
Нелюдимой и лесной?
Иль на отдых миговóй
Входишь ты под кров убогий
И гражданственность с тобой?

Вот салфеткой иностранной
Стол накрыт. Блестят на нем
Ярким златом и сребром
Чашки. Чай благоуханный
Льется светлым янтарем,
И сидишь ты за столом,
Утомленный и туманный,
В забытьи глухонемом!

Ночь прошла. Смотри: алеет
Озарившийся восток!
Ты проснулся, путь далек!
На лицо тебе уж веет
Ранний утра холодок;
Скоро скачешь ты, и в срок
На почтовый двор поспеет
Мой деятельный ездок!

О! когда на жизнь иную
Променяешь ты, поэт,
Эту порчу юных лет,
Эту сволочь деловую
Прозаических сует?
Бога нашего тут нет!
Брось ее! Да золотую
Лиру вновь услышит свет!

1834

Д. В. ДАВЫДОВУ

Жизни баловень счастливый,
Два венка ты заслужил;
Знать, Суворов справедливо
Грудь тебе перекрестил:
Не ошибся он в дитяти,
Вырос ты — и полетел,
Полон всякой благодати,
Под знамена русской рати,
Горд, и радостен, и смел.

Грудь твоя горит звездами,
Ты геройски добыл их
В жарких схватках со врагами,
В ратоборствах роковых;
Воин смлада знаменитый,
Ты еще под шведом был,
И на финские граниты
Твой скакун звучнокопытый
Блеск и топот возносил.

Жизни бурно-величавой
Полюбил ты шум и труд:
Ты ходил с войной кровавой
На Дунай, на Буг и Прут;
Но тогда лишь собиралась
Прямо русская война;
Многогромная скоплялась
Вдалеке — и к нам примчалась
Разрушительно-грозна.

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови из стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет;

Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья,
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламень очищенья,
Это фениксов костер!

Где же вы, незваны гости,
Сильны славой и числом?
Снег засыпал ваши кости!
Вам почетный был прием!
Упилися еле живы
Вы в московских теремах,
Тяжелы домой пошли вы,
Безобразно полегли вы
На холодных пустырях!

Вы отведать русской силы
Шли в Москву: за делом шли!
Иль не стало на могилы
Вам отеческой земли!
Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу,
У врагов ты отнял славы,
Ты, боец чернокудрявый,
С белым локоном на лбу!

Удальцов твоих налетом
Ты, их честь, пример и вождь,
По лесам и по болотам,
Днем и ночью, в вихрь и дождь,
Сквозь огни и дым пожара
Мчал врагам, с твоей толпой
Вездесущ, как божья кара,
Страх нежданного удара
И нещадный, дикий бой!

Лучезарна слава эта,
И конца не будет ей;
Но такие ж многи лета
И поэзии твоей:
Не умрет твой стих могучий,
Достопамятно-живой,

Упоительный, кипучий,
И воинственно-летучий,
И разгульно-удалой.

Ныне ты на лоне мира:
И любовь и тишину
Нам поет златая лира,
Гордо певшая войну.
И как прежде громогласен
Был ее воинский лад,
Так и ныне свеж и ясен,
Так и ныне он прекрасен,
Полный неги и прохлад.

1835

Н. А. ЯЗЫКОВОЙ

Прошла суровая година вьюг и бурь,
Над пробудившейся землею,
Полна теплом и тишиною,
Сияет вешняя лазурь.
Ее растаяны лучами,
Сбежали с гор на дол глубокие снега;
Ручей, усиленный водами,
Сверкает и кипит гремучими волнами
И пеной плещет в берега.

И скоро холм и дол в свои ковры зелены
Роскошно уберет царица красных дней,
И в лиственной тени засвищет соловей
И сладкогласный и влюбленный.
Как хороша весна! Как я люблю ее
Здесь, в стороне моей родимой,
Где льется мирно и незримо
Мое привольное житье;
Где я могу таким покоем наслаждаться,
Какого я не знал нигде и никогда,
И мыслить, и мечтать, и страстно забываться
Перед светильником труда;
Где, озарен его сияньем величавым,
Поникнув на руку безоблачным челом,
Я миру чужд и радостям лукавым,
И суетам, господствующим в нем;

И счастлив: не хочу ни в мраморны палаты,
Ни в шум блистательных пиров!
И вас зову сюда — под мой наследный кров,
Уединением богатый,
В простор и тишь, на злачны скаты
Моих березовых садов,
В лес и поляны за дорогой,
И к речке, шепчущей под сумраком ракит,
И к зыбким берегам, где аист красноногой
Беспечно бродит цел и сыт;
Зову на светлый пруд, туда, где тень густую
Склонил к водам нагорный сад,
Туда — и на мостки, и в лодку удалую,
И весла дружно загремят!
Я вас сюда зову гулять и прохлаждаться,
Пить мед свободного и мирного житья,
Закатом солнца любоваться
И засыпать под трели соловья.

1836

Е. А. БАРАТЫНСКОМУ

Покинул лиру ты. В обычном шуме света
Тебе не до нее. Я помню этот шум,
Я знаю этот шум. Он вреден для поэта:
Снотворно действует на ум!

Счастлив, кто убежал от светских наслаждений,
От городских забав, превратностей и смут
Далеко, в тишь и глушь, в приволье вдохновений,
В душеспасительный приют.

Беги же ты в свои родимые долины,
На свежие луга поемных берегов,
Под тень густых ветвей, где трели соловьины
И лепетание ручьев!

Свобода и покой, хранители поэта,
Дадут твоей душе и бодрость и простор,
И вдохновением, как было в прежни лета,
Светло заискрится твой взор.

И лиру ты возьмешь: проснется золотая
И снова запоет о жизни и любви,
И звуки полетят, красуясь и играя,
Живые, чистые твои!

Не медли, друг и брат! Судьбу твою решила
Поэзия. О, будь же верен ей всегда!
Она одна тебе прибежище и сила,
Она твой крест, твоя звезда!

И что же на земле и сладостней и краше?
Дай руку мне! Восстань с возвышенным челом
И ради наших муз, и ради дружбы нашей
Явись на поприще твоем!

Явись и торжествуй,— и славою своею
Обрадуй вновь Парнас и оживи меня!
Да новый хор певцов исчезнет перед нею,
Как снег перед лицом огня!

1836

ЭЛЕГИЯ

Здесь горы с двух сторон стоят, как две стены;
Меж ними тесный дол — и царство тишины,
Однообразие в глуши уединенья;
Градские суеты, градские наслажденья
Здесь редко видятся и слышатся: порой
Пройдет с курантами потешник площадной,
Старик, усердный жрец и музыки и Вакха;
Пройдет комедия: сын Брута или Гракха,
И свищет он в свирель, и бьет он в барабан,
Ведя полдюжины голодных обезьян.
Тоска несносная! Но есть одна отрада:
Между густых ветвей общественного сада
Мелькает легкая, летучая, как тень,
Красавица. Светла и весела, как день,
Она живительно бодрит и поднимает
Мой падающий дух, она воспламеняет
Во мне желание писать стихи ей в честь,
Стихи любовные. Еще отрада есть:
Вот вечер, воздух свеж, деревья потемнели,

И, чу! поет она; серебряные трели,
Играя и кружась, взвиваясь надо мной,
Манят, зовут меня волшебно в мир иной,
В мои былые дни,— и нега в грудь мне льется,
И сладко, сладко мне, а сердце так и бьется!..

1839

БУРЯ

Громадные тучи нависли широко
Над морем и скрыли блистательный день.
И в синюю бездну спустилась глубоко
И в ней улеглася тяжелая тень;
Но бездна морская уже негодует,
Ей хочется света, и ропщет она,
И скоро, могучая, встанет грозна,
Пространно и громко она забушует.

Великую силу уже подымая,
Полки она строит из водных громад,
И вал-великан, головою качая,
Становится в ряд, и ряды говорят;
И вот, свои смуглые лица нахмуря
И белые гребни колебля, они
Идут. В черных тучах блеснули огни,
И гром загудел. Начинается буря.

1839

МОРСКАЯ ТОНЯ

Море ясно, море блещет;
Но уже, то здесь, то там,
Тень налетная трепещет,
Пробегая по зыбям;
Вдруг поднимутся и хлынут
Темны водные струи,
И высоко волны вскинут
Гребни белые свои;
Буря будет, тучи грянут,
И пучина заревет,

Рыбаки проворно тянут
Невод на берег из вод.
Грузно! Что ты, сине море,
Дало им за тяжкий труд?
Много ты в своем просторе
Водишь рыб и всяких чуд;
Много камней самоцветных,
Жемчугов и янтарей,
Драгоценностей несметных,
Соблазняющих людей,
В роковой твоей пучине
Бережет скупое дно,—
Что ж ты, дало ль, море сине,
Рыбакам хоть на вино?
Невод вытащен. Немного.
Нет подарков дорогих!
Обитателей морских.
От сокровищ бездны строгой
Вот лежит, блестя глазами,
Злой, прожорливый морской
С костоломными зубами;
Вот огромный блин морской,
Красноносый, красногубый,
С отвратительным хвостом;
Да скатавшегося в клубы
На раздолье волновом
Воза с два морского сору
И один морской паук;
А тащили словно гору,
А трудились сотни рук!
Море стихло, море ясно;
В хрустале его живом
Разыгрался день прекрасный
Златом, пурпуром, огнем;
Видом моря любоваться
Собралась толпа гостей;
Ей мешают наслаждаться
Рыбаки: бегут за ней
И канючат, денег просят:
Беднякам из бездны вод
Сети длинные выносят
Непитательный доход!

1839

УНДИНА

Когда невесело осенний день взойдет
И хмурится; когда и дождик ливмя льет,
И снег летит, как пух, и окна залепляет;
Когда камин уже гудит и озаряет
Янтарным пламенем смиренный твой приют,
И у тебя тепло; а твой любимый труд,
От скуки и тоски заступник твой надежный,
А тихая мечта, милее девы нежной,
Привыкшая тебя ласкать и утешать,
Уединения краса и благодать,
Чуждаются тебя; бездейственно и сонно
Идет за часом час, и ты неугомонно
Кручинишься,— тогда будь дома и один,
Стола не уставляй богатством рейнских вин,
И жженки из вина, из сахару да рому
Ты не вари: с нее бывает много грому;
И не зови твоих товарищей-друзей
Пображничать с тобой до утренних лучей:
Друзья, они придут и шумно запируют,
Состукнут чаши в лад, тебя наименуют
И песню запоют во славу лучших лет;
Развеселишься ты, а может быть, и нет:
Случалося, что хмель усиливал кручину!
Их не зови; читай Жуковского «Ундину»:
Она тебя займет и освежит, ты в ней
Отраду верную найдешь себе скорей.
Ты будешь полон сил и тишины высокой,
Каких не даст тебе ни твой разгул широкой,
Ни песня юности, ни чаш заздравный звон,
И был твой грустный день как быстролетный сон!

1839

К. К. ПАВЛОВОЙ

Забыли вы меня! Я сам же виноват:
Где я теперь, зачем меня взяла чужбина?
Где я перебывал? Вот он, Мариенбад,
Ганау, старый Диц, его тенистый сад;
Вот рейнских берегов красивая картина,
Крейцнах, и черные сараи, и гофрат,

Полковник, колесо, Амалия и Пина!
Вот край подоблачный! Громады гор и скал,
Чудесные мосты, роскошные дороги,
Гастуна славная, куда я так желал...
Вот Зальцбург, и Тироль, и Альпов выси строги,
Их вечный лед и с них лиющийся кристалл,
Кричат орлы и скачут козероги,
И ветер осени качает темный лес!
Вот и Ломбардия! Веселые долины,
Румяный виноград, каштаны и раины,
Лазурь и пурпуры полуденных небес!
Великолепные палаты и столбницы
Над ясным зеркалом потоков и озер!
Часовни странные, пугающие взор,
Канюки, и калек и нищих вереницы,
Ватага южных ведьм, красавицы девицы...
Вдали концы швейцарских гор!
Вот Комо! Берега с прозрачными домами!
Вот площадь и фигляр, махающий руками!
И пристань, озеро, и в чистоте зыбей
Колеблются цвета расписанных ладей
И белых парусов играющие плески;
На площади народ гульливый и живой,
Италии народ певучий, удалой,
И деревянные тедески!
Вот пасмурный Милан с поникшей головой,
Турин и Пиемонт гористый! Вот Савона!
Отважный путь лежит над бездной, на тычке!
И вот он островок, чуть видный вдалеке,
Как облачко на крае небосклона,
Не важный на морях, но важный на реке
Времен, где он горит звездой Наполеона!
Вот Ницца — вот где я! Вот город и залив,
Приморские сады лимонов и олив,
И светлый ряд домов с заезжими гостями,
И воздух сладостный, как мед!
О, много, много стран в мой длинный, черный год
Я видел скучными глазами!
Скитаюсь по водам целебным и — увы! —
Еще пью чашу вод! Горька мне эта чаша!
Тоска меня томит! Дождусь ли я Москвы?
Когда узнаю я, что делаете вы?
Как распевает муза ваша?
Какой венок теперь на ней?

Теперь, когда она, родная нам, гуляет
Среди московских муз и царственно сияет!
Она, любезная начальница моей!

1840

МОРСКОЕ КУПАНЬЕ

Из бездны морской белоглавая встала
Волна, и лучами прекрасного дня
Блестит подвижна́я громада кристалла
И тихо, качаясь, идет на меня.
Вот, словно в раздумье, она отступила,
Вот берег она под себя покатила
И выше сама поднялась и падет;
И громом, и пеной пучинная сила,
Холодная, бурно меня обхватила,
Кружит, и бросает, и душит, и бьет,
И стихла. Мне любо. Из грома, из пены
И холода — легок и свеж выхожу,
Живее мои выпрямляются члены,
Вольнее дышу, веселее гляжу
На берег, на горы, на светлое море.
Мне чудится, словно прошло мое горе,
И юность такая ж, как прежде была,
Во мне встрепенулась, и жизнь моя снова
Гулять, распевать, красоваться готова
Свободно, беспечно,— резва, удала.

1840

К РЕЙНУ

Я видел, как бегут твои зелены волны:
Они, при вешнем свете дня,
Играя и шумя, летучим блеском полны,
Качали ласково меня;
Я видел яркие, роскошные картины:
Твои изгибы, твой простор,
Твои веселые каштаны и раины,
И виноград по склонам гор,
И горы, и на них высокие могилы
Твоих былых богатырей,

Могилы рыцарства, и доблести, и силы
Давно, давно минувших дней!
Я вóлжанин: тебе приветы Волги нашей
Принес я. Слышал ты об ней?
Велик, прекрасен ты! Но Волга больше, краше,
Великолепнее, пышней,
И глубже, быстрая, и шире, голубая!
Не так, не так она бурлит,
Когда поднимется погодка верховая
И белый вал заговорит!
А какова она, шумящих волн громада,
Весной, как с выси берегов
Через ее разлив не перекинешь взгляда,
Чрез море вод и островов!
По царству и река!.. Тебе привет заздравный
Ее, властительницы вод,
Обширных русских вод, простершей ход свой славный,
Всегда торжественный свой ход,
Между холмов, и гор, и долов многоплодных
До темных Каспия зыбей!
Приветы и ее притоков благородных,
Ее подручниц и князей:
Тверцы, которая безбурными струями
Лелеет тысячи судов,
Идущих пестрыми, красивыми толпами
Под звучным пением пловцов;
Тебе привет Оки поемистой, дубравной,
В раздолье муромских песков
Текущей царственно, блистательно и плавно
В виду почтенных берегов,—
И храмы древние с лучистыми главами
Глядятся в ясны глубины,
И тихий благовест несется над водами,
Заветный голос старины! —
Суры-красавицы, задумчиво бродящей,
То в густоту своих лесов
Скрывающей себя, то на полях блестящей
Под опахалом парусов;
Свияги пажитной, игривой и бессонной,
Среди хозяйственных забот,
Любящей стук колес, и плеск неугомонный,
И гул работающих вод;

Тебе привет из стран Биармии далекой,
Привет царицы хладных рек,
Той Камы сумрачной, широкой и глубокой,
Чей сильный, бурный водобег,
Под кликами орлов свои валы седые
Катя в кремнистых берегах,
Несет железо, лес и горы соляные
На исполинских ладиях;
Привет Самары, чье течение живое
Не слышно в говоре гостей,
Ссыпающих в суда богатство полевое,
Пшеницу — золото полей;
Привет проворного, лихого Черемшана,
И двух Иргизов луговых,
И тихоструйного, привольного Сызрана,
И всех, и бóльших и меньших,
Несметных данников и данниц величавой,
Державной северной реки,
Приветы я принес тебе!.. Теки со славой,
Князь многих рек, светло теки!
Блистай, красуйся, Рейн! Да ни грозы военной,
Ни песен радостных врага
Не слышишь вечно ты; да мир благословенный
Твои покоит берега!
Да сладостно, на них мечтая и гуляя,
В тени раскидистых ветвей,
Целуются любовь и юность удалая
При звоне синих хрусталей!

1840

К. К. ПАВЛОВОЙ

В те дни, когда мечты блистательно и живо
В моей кипели голове
И молодость мою покачивал гульливо
Я в белокаменной Москве,
У Красных у ворот, в республике, привольной
Науке, сердцу и уму,
И упоениям веселости застольной,
И песнопенью моему;
В те дни, когда мою студенческую славу
Я оправдал при звоне чаш,

В те дни поэт я был, по долгу и по праву,
По преимуществу был ваш;
И воспевал я вас, и вы благоволили
Веселым юноши стихам,
Зане тогда сильны и сладкозвучны были
Мои стихи: спасибо вам!
И нынче я, когда прошло, как сновиденье,
Мое былое, всё сполна,
И мне одна тоска, одно долготерпенье,—
В мои крутые времена
Я вас приветствовал стихами; вы прекрасный
Ответ мне дали, и ответ
Восстановительный! Итак, я не напрасно
Еще гляжу на божий свет:
Еще сияет мне любезно, как бывало,
Благословенная звезда,
Звезда поэзии. О, мне и горя мало!
Мне хорошо, я хоть куда!

1841

Н. В. ГОГОЛЮ

Благословляю твой возврат
Из этой нехристи немецкой
На Русь, к святыне москворецкой!
Ты, слава богу, счастлив, брат:
Ты дома, ты уже устроил
Себе привольное житье;
Уединение свое
Ты оградил и успокоил
От многочисленных сует
И вредоносных наваждений
Мирских, от праздности и лени,
От празднословящих бесед
Высокой, верною оградой
Любви к труду и тишине;
И своенравно и вполне
Своей работой и прохладой
Ты управляешь, и цветет
Твое житье легко и пышно,
Как милый цвет в тени затишной,
У родника стеклянных вод!

А я по-прежнему в Ганау
Сижу, мне скука и тоска
Среди чужого языка:
И Гальм, и Гейне, и Ленау
Передо мной; усердно их
Читаю я, но толку мало;
Мои часы несносно вяло
Идут, как бесталанный стих;

Отрады нет. Одна отрада,
Когда перед моим окном
Площадку гладким хрусталем
Оледенит година хлада;
Отрада мне тогда глядеть,
Как немец скользкою дорогой
Идет, с подскоком, жидконогой,—
И бац да бац на гололедь!
Красноречивая картина
Для русских глаз! Люблю ее!
Но ведь томление мое
Пройдет же — и меня чужбина
Отпустит на святую Русь!
О! я, как плаватель, спасенный
От бурь и бездны треволненной,
Счастлив и радостен явлюсь
В Москву, что в пристань. Дай мне руку!
Пора мне дома отдохнуть;
Я перекочкал трудный путь,
Перетерпел тоску и скуку
Тяжелых лет в краю чужом!
Зато смотри: гляжу героем;
Давай же, брат, собща устроим
Себе приют и заживем!

1841

ЭЛЕГИЯ

Бог весть, не втуне ли скитался
В чужих страна́х я много лет!
Мой черный день не разгулялся,
Мне утешенья нет как нет.
Печальный, трепетный и томный

Назад, в отеческий мой дом,
Спешу, как птица в куст укромный
Спешит, забитая дождем.

1841

МОРЕ

Струится и блещет, светло как хрусталь,
Лазурное море, огнистая даль
Сверкает багрянцем, и ветер шумит
Попутный: легко твой корабль побежит;
Но, кормчий, пускаяся весело в путь,
Смотри ты, надежна ли медная грудь,
Крепки ль паруса корабля твоего,
Здоровы ль дубовые ребра его?
Ведь море лукаво у нас: неравно́
Смутится и вдруг обуяет оно,
И страшною силой с далекого дна
Угрюмая встанет его глубина,
Расходится, будет кипеть, бушевать
Сердито, свирепо — и даст себя знать!

1842

ВЕСНА

Великолепный день! На мягкой мураве
Лежу,— ни облачка в небесной синеве!
Цветет зеленый луг; чистейший воздух горный
Прохладой сладостной и негой животворной
Струится в грудь мою,— и полон я весной!
И вот певец ее летает надо мной,
И звуки надо мной веселые летают!
И чувство дивное те звуки напевают
Мне на душу; даюсь невольно забытью
Волшебному, глаза невольно закрываю:
Легко мне, так легко, как будто я летаю,
Летаю и пою, летаю и пою!

1843

ЭЛЕГИЯ

И. П. Постникову

В тени громад снеговершинных, 1,12
Суровых, каменных громад,
Мне тяжело от дум кручинных:
Кипит, шумит здесь водопад,
Кипит, шумит он беспрестанно,
Он усыпительно шумит!
Безмолвен лес, и постоянно
Пуст, и невесело глядит;
А вон охлопья серой тучи,
Цепляясь за́ лес, там и сям
Ползут, пушисты и тягучи,
Вверх к задремавшим небесам.
Ах, горы, горы! Прочь скорее
От них домой! Не их я сын!
На Русь! Там сердцу веселее
В виду смеющихся долин!

1843

ЭЛЕГИЯ

И тесно и душно мне в области гор —
В глубоких вертепах, в гранитных лощинах;
Я вырос на светлых холмах и равнинах,
Привык побродить, разгуляться мой взор;
Мне своды небес чтоб высоко, высоко
Сияли открыты — туда и сюда,
По краю небес чтоб тянулась гряда
Лесистых пригорков, синеясь далеко,
Далеко; там дышит свободнее грудь!
А горы да горы... они так и давят
Мне душу, суровые: словно заставят
Они мне желанный на родину путь!

1843

ЗЕМЛЕТРЯСЕНЬЕ

Всевышний граду Константина
Землетрясенье посылал,
И геллеспонтская пучина,

И берег с грудой гор и скал
Дрожали,— и царей палаты,
И храм, и цирк, и гипподром,
И стен градских верхи зубчаты,
И все поморие кругом.

По всей пространной Византии,
В отверстых храмах, богу сил
Обильно пелися литии,
И дым молитвенных кадил
Клубился; люди, страхом полны,
Текли перед Христов алтарь:
Сенат, синклит, народа волны
И сам благочестивый царь.

Вотще. Их вопли и моленья
Господь во гневе отвергал,
И гул и гром землетрясенья
Не умолкал, не умолкал!
Тогда невидимая сила
С небес на землю низошла
И быстро отрока схватила
И выше облак унесла.

И внял он горнему глаголу
Небесных ликов: свят, свят, свят!
И песню ту принес он долу,
Священным трепетом объят,
И церковь те слова святыя
В свою молитву приняла,
И той молитвой Византия
Себя от гибели спасла.

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха
И ликам ангельским внемли
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

1844

А. Д. ХРИПКОВУ

Тебе и похвала и слава подобает!
Ты с первых юношеских лет
Не изменял себе: тебя не соблазняет
Мишурный блеск мирских сует;
Однажды навсегда предавшися глубоко
Одной судьбе, одной любви,
Прекрасной, творческой, и чистой, и высокой,
Ей верен ты, и дни твои
Свободою она украсила, святая
Любовь к искусству, и всегда
Создания твои пленительны, блистая
Живым изяществом труда;
Любуюсь ими я: вот речка меж кустами
Крутой излучиной бежит,
Светло отражены прозрачными струями
Ряды черемух и ракит,
Лиющийся хрусталь едва-едва колышет
Густоветвистую их тень,
Блестит как золото, тяжелым зноем дышит
Палящий, тихий летний день,
И вот купальницы, вот ясною волною
Игривый обнял водобег
Прелестный, юный стан, вот руки над водою
И груди белые как снег,
И черными на них рассыпалась змеями
Великолепная коса!
Вот горы и Кавказ; сияют над горами
Пышнее наших небеса;
Вот груды голых скал, угрюмые теснины,
Где-где кустарник; вот Дарьял
И тот вертеп, куда с заоблачной вершины
Казбека падает обвал!
Вот Терек! Это он летучей пеной блещет,
Несется, дик и силы полн,
Неистово кипит, высоко в берег хлещет;
Несется буря белых волн,
По звонкому руслу с глухим, громовым гулом
Гоня станицу валунов!
Вот хижины, аул и сад перед аулом
И купы низменных холмов;
За ними, с края в край, синеяся пустынно,
Идет уныло гладь степей

Под яркий небосклон; курган островершинный
Один возвысился на ней,
Давно безмолвный гроб, воздвигнутый герою,
Вождю исчезнувших племен,
Иль памятник войны, сокрывший под собою
Тьму человеческих имен!
Вот двух безлесных гор обрывы полосаты,
И плющ зеленый по скалам
Взвился́; вот чистый лес и луговые скаты
Горы Ермолова! Вон там,
Бывало, отдыхал муж доблести и боя,
Державший в трепете Кавказ...
Вот быстрая Кубань, волнами скалы роя,
Сердито пенясь и клубясь,
Летит клокочущим, широким водопадом
Между утесов и стремнин!
Вот крепость, домики, поставленные рядом,
И строй чинаров и раин,
Вои́нский частокол с рогаткой и заставой,
Налево холм и мелкий лес,
А дале царство гор громадою стоглавой
Загородило полнебес,
И в солнечных лучах заоблачные льдины,
Как звезды, светятся над ней,
Порфирного кряжа́ алмазные вершины,
Короны каменных царей!
Подробно, медленно созданьями твоими
Любуюсь я, всегда я рад
Хвалить их; весело беседовать мне с ними:
Они живут и говорят!
Но полно рисовать тебе Кавказ!.. Еще ли
Тебя он мало занимал?
Покинь, покинь страну обвалов и ущелий,
Ужасных пропастей и скал,
Где кроется разбой кровавый и проворный
В глуши вертепов и теснин...
Иди ты к нам с твоей палитрой животворной,
В страну раздолий и равнин,
Где, величавые изгибы расстилая
Своих могущественных вод,
Привольно, широко красуясь и сияя,
Лазурно-светлая течет
Царица русских рек, течет, ведет с собою
Красивы, пышны берега

И кипы островов над зе́ркальной водою,
Холмы, дубравы и луга...
Иди туда, рисуй картины Волги нашей!
И верь мне, будут во сто раз
Они еще живей, пленительней и краше,
Чем распрекрасный твой Кавказ!

1844

К НЕНАШИМ

О вы, которые хотите
Преобразить, испорить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возгла́с!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Ее торжественный изменник,
Ее надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник темных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!

Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живет, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живет
Любовь не к истине и благу!
Народный глас — он божий глас —
Не он рождает в вас отвагу:

Он чужд, он странен, дик для вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И русский бог еще велик!

1844

ЭЛЕГИЯ

Есть много всяких мук — и много я их знаю;
Но изо всех из них одну я почитаю
Всех горшею: она является тогда
К тебе, как жаждою заветного труда
Ты полон и готов свою мечту иль думу
Осуществить; к тебе, без крику и без шуму,
Та мука входит в дверь — и вот с тобой рядком
Она сидит! Таков был у меня, в моем
Унылом странствии, в чужбине, собеседник —
Поэт несноснейший, поэт и надоедник
Неутомимейший! Бывало, ни Борей
Суровый, и ни Феб, огнем своих лучей
Мертвящий всякий злак, ни град, как он ни крупен,
Ни снег и дождь — ничто неймет его: доступен
И люб всегда ему смиренный мой приют.
Он все преспобедит: и вот он тут как тут,
Со мной сидит и мне радушно поверяет

Свои мечты — и мне стихи провозглашает,
Свои стихи, меня вгоняя в жар и в страх:
Он кучу их принес в карманах, и в руках,
И в шляпе. Это всё плоды его сомнений
Да разобманутых надежд и впечатлений,
Летучей младости таинственный запас!
А сам он неуклюж, и рыж, и долговяз,
И немец, и тяжел, как оный камень дикий,
Его же лишь Тидид, муж крепости великой,
Поднять, и потрясти, и устремить возмог
В свирепого врага... таков-то был жесток
Томитель мой! И спас меня от этой муки
Лишь седовласый врач, герой своей науки,
Венчанный славою восстановитель мой —
И тут он спас меня, гонимого судьбой.

1844

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Благодарю тебя за твой подарок милый,
Прими радушный мой привет!
Стихи твои блистают силой
И жаром юношеских лет,
И сладостно звучат, и полны мысли ясной;
О! пой, пленительный певец,
Лаская чисто и прекрасно
Мечты задумчивых сердец;
И пой, как соловей поет в затишье сада
Свою весну, свою любовь,
И в пенье том и вся награда
Ему за пенье вновь и вновь,
И слушают его, и громко раздается,
И гонит сон от ложа дев,
И так и льется, так и льется
Его серебряный напев.

1844

СТИХИ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА ИСТОРИОГРАФУ Н. М. КАРАМЗИНУ

(Посвящаются А. И. Тургеневу)

Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Достойный праведных похвал,
И краше, чем кумир иль столб каменосечный,
И тверже, чем литой металл!
Тот славный памятник, отчизну украшая,
О нем потомству говорит
И будет говорить, покуда Русь святая
Самой себе не изменит!
Покуда внятны ей родимые преданья
Давно скончавшихся веков
Про светлые дела, про лютые страданья,
Про жизнь и веру праотцов;
Покуда наш язык, могучий и прекрасный,
Их вещий, их заветный глас,
Певучий и живой, звучит нам сладкогласно
И есть отечество у нас!

Любя отечество душою просвещенной
И славу русскую любя,
Труду высокому обрек он неизменно
Все дни свои, всего себя;
И полон им одним и с ним позабывая
Призыв блистательных честей,
И множество сует, какими жизнь мирская
Манит к себе, влечет людей
В свои объятия, и силу, и отвагу,
И жажду чистого труда,
И пылкую любовь к отечеству и благу
Мертвит и душит навсегда,—
В тиши работал он, почтенный собеседник
Простосердечной старины,
И ей сочувствуя, и правды проповедник,
И не наемник новизны!
Сказанья праотцов судил он нелукаво,
Он прямодушно понимал
Родную нашу Русь,— и совершил со славой
Великий подвиг: написал
Для нас он книгу книг — и ясною картиной
В ней обновилась старина.

Вот первые князья с варяжскою дружиной,
И веют наши знамена́
У цареградских стен! Вот Русь преображает
Владимир — солнце древних лет,
И с киевских высот ей царственно сияет
Креста животворящий свет!
Вот Ярослав, вот век усобицы кровавой,
Раздор и трата бодрых сил;
Вот благодушные и смелые Мстиславы,
И Мономах, и Даниил!
Вот страшный божий гнев: по всей земле тревога
И шумны полчища татар;
Им степь широкая как тесная дорога;
Везде война, везде пожар,
И русские князья с поникшими главами
Идут в безбожную Орду!
Вот рыцарство меча с железными полками
И их побоище на льду;
Великий Новгород с своею бурной волей,
И Псков, Новугороду брат;
Москва, святитель Петр и Куликово поле;
Вот уничтоженный Ахмат;
Великий Иоанн, всей Руси повелитель,—
И вот наш *Грозный,* внук его,
Трех мусульманских царств счастливый покоритель —
И кровопийца своего!
Неслыханный тиран, мучитель непреклонный,
Природы ужас и позор!
В Москве за казнью казнь; у плахи беззаконной
Весь день мясничает топор.
По земским городам толпа кромешных бродит,
Нося грабеж, губя людей,
И, бешено-свиреп, сам царь ее предводит,
Глава усердных палачей!
И ты, в страданиях смертельных цепенея,
Ты все кровавые дела,
Весь дикий произвол державного злодея,
Спокойно ты перенесла,
Святая Русь! Но суд истории свободно
Свой приговор ему изрек:
Царя-мучителя он проклял всенародно
Из рода в род, из века в век!

Вот сын тирана — царь-смиренник молчаливый,
Молитва, пост и тишина,
И отдохнул народ под властью незлобивой,
И царству слава отдана.
Правитель Годунов; вот сам он на престоле;
Но тень из гроба восстает,
И гибнет царь Борис: его не любит боле,
Его не хочет свой народ!
Бродяга царствует, воспитанник латинства,
Он презирает наш закон,
В Кремле он поселил соблазны и бесчинства,
Ночных скаканий шум и звон,
И песни буйные, и струнное гуденье...
Но чу! набат и грозен крик!
И бурно в Кремль идет народное волненье...
Долой, венчанный еретик!
Вот Шуйский, мятежи — и самозванец новый,
Клеврет строптивых поляков;
Вот Михаил Скопи́н и братья Ляпуновы!
Вот сотня доблих чернецов,
Противу тьмы врагов громовая твердыня.
В Москве знамена короля...
В плену священный Кремль... поругана святыня.
Мужайся, Русская земля!

Великий подвиг свой он совершил со славой!
О! сколько дум рождает в нас,
И задушевных дум, текущий величаво
Его пленительный рассказ.
И ясный и живой, как волны голубые,
Реки, царицы русских вод,
Между холмов и гор, откуда он впервые
Увидел солнечный восход!
Он будит в нас огонь прекрасный и высокий,
Огонь чистейший и святой,
Уже недвижный в нас, заглохший в нас глубоко
От жизни блудной и пустой,—
Любовь к своей земле. Нас, преданных чужбине,
Красноречиво учит он
Не рабствовать ее презрительной гордыне,
Хранить в душе родной закон,
Надежно уважать свои родные силы,
Спасенья чаять только в них,
В себе,— и не плевать на честные могилы

Могучих прадедов своих!
Бессмертен Карамзин! Его бытописанья
Не позабудет русский мир,
И памяти о нем не нужны струн бряцанья,
Не нужен камень иль кумир:
Она без них крепка в отчизне просвещенной...
Но слава времени, когда
И мирный гражданин, подвижник незабвенный
На поле книжного труда,
Венчанный славою, и гордый воевода,
Герой счастливый на войне,
Стоят торжественно перед лицом народа
Уже на ровной вышине!

1845

Поэмы

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА

Скачков, Власьев, Хворов, Дрянской, Пронской. Все навеселе в разных градусах.

Скачков

Уж пить, так пить. Держаться середины
Я не могу: оно и мудрено,
Здесь, например, когда такие вины
Нам предстоят, как вот мое вино!
Кипучее, разгульное, живое,
И светлое, и светло-золотое!
Люблю его и пью его давно,
Как верный друг ему не изменяя
С младенчества. Ах, юность удалая!
Друзья мои, зачем она прошла!
А хороша, как хороша была!
Пора надежд, восторгов и желаний!..
Да, господа, хочу я предложить
Один закон для наших заседаний —
Закон равéнства: поровну всем пить,
Чтоб не было различных состояний
В кругу друзей, и были б все равно...
Согласны вы?
(Пьет.)
Прекрасное вино!

Хворов

Согласны.

Дрянской

Я согласен, утверждаю
Закон премудрый!

Скачков

Я провозглашаю
Торжественно, теперь же укрепим
И навсегда...

Пронской

Нет, нет, мы не хотим,
Мы отрицаем.

Власьев

Думаем иначе;
Я докажу, что этакий закон,
Закон раве́нства, вреден и смешон
Всегда, везде, в кругу друзей тем паче.
Где всякий дома, всякому должно
Быть весело.

Дрянской

И всякий пей свободно,
Как, и когда, и что ему угодно:
Вот наш закон!

Скачков

(пьет вино)

Вкуснейшее вино!
Я им доволен: утешений много
В нем нахожу, им освежаюсь я.
Друзья мои! Идя земной дорогой,
Мы охаем под ношей бытия,
Мы устаем, трудяся до упаду;
Так нам, ей-ей, отрадно иногда
Освободить плеча из-под труда
Жестокого, прилечь под тень, в прохладу,
И скушать две-три кисти винограду!

Хворов

Ты говоришь, Скачков, как бы поэт...
Мысль не нова, а выражена мило.

Скачков

Я не поэт, однако ж время было,
Я писывал то песню, то сонет
Красавице; я предавался мрачно

Своей любви и гордо воспевал
Тоску, луну и всё...

Хворов

Ты подражал...

Скачков

Кому это?

Хворов

И подражал удачно,
Кубенскому, который в свой черед
Сам подражал, сам корчил он Виктóра
Гюго.

Скачков

Ты прав. Я избегаю спора:
Вы, критики, несноснейший народ!
А впрочем, как бы вы ни рассуждали,
Кубенской был решительно поэт,
Каких еще немного мы видали;
Умен, учен, и, двадцати трех лет,
Он понял жизнь, на мир глядел глубоко,
Великое и доброе постиг,
Трудолюбив, прочел он груды книг,
Знал языки; стоял бы он высоко
В словесности. Ах, братцы, жаль его!
Нежданная, ужасная утрата!
Мы все его любили так, как брата,
Как гения, поэта своего!
И вдруг он умер. Помню очень ясно,
Как вместе мы встречали Новый год,
Все вместе у Кубенского. Прекрасный
Тогда был пир! И новый настает,
А лучший друг к своим уж не придет!

Хворов

Прилично бы в его поминовенье
Всем по стакану. Выпьем же, друзья!
(Пьют.)

Скачков

Кубенской был нам честь и прославленье,
Роскошный цвет привольного житья,

Он сочетал в себе познанье света
С ученостью, свободу юных дней
И верный взгляд на жизнь и на людей
С веселостью и пылкостью поэта!
Был чист душой, да встретит радость там...
Хвала ему, и мир его костям!
(Встают и чокаются.)

Власьев

Чтобы у нас об нем воспоминанье
Хранилось свято, сладостное нам!

Дрянской

И каждый год такое ж возлиянье
Свершать по нем.

Хворов

И чаще я готов.

Дрянской

Как молод был и был всегда здоров,
И вдруг он умер!

Хворов

Бренное созданье,
Каков бы ни был человек, наш брат!

Дрянской

И то сказать, он сам же виноват:
Он странен был, зачем он не жил с нами,
У нас, в Москве? Погнался за чинами,
Переменил род жизни и климáт,
Стал день и ночь работать через силу
И заболел, взял отпуск и скорей
В тамбовскую деревню, там в могилу,
При помощи уездных лекарей.

Хворов

Не помню кто... нет, помню, точно, Тленской
Мне сказывал, что он письмо читал
И шесть стихов, которые Кубенской
Перед своею смертью написал
Какой-то тетке...

Власьев

Я прошедшим летом
Не раз ему говаривал: зачем
Москву и нас бросаешь ты совсем?
Останься здесь, займись своим предметом;
Перед тобой великий мир души;
Работай в нем на воле, будь поэтом
Возвышенным и драму напиши!
Он пренебрег тогда моим советом;
Он был упрям.

Дрянской

Он Гегеля не знал
И не любил Кузеня...

Скачков

А читал.

Хворов

И вообще был чрезвычайно странен,
Хотел служить...

Скачков

Да, службу знаю я!
Легко сказать. Послушайте, друзья,
Послушай, Пронской, что ты так туманен?
Нахмурился, в себя препогружен,
Исполнен думы, будто сочиняешь
Закон природы... Кстати б ей закон
На новый год. Нет, знаю, ты мечтаешь
Об Олиньке Варлянской...

Пронской

Все ты знаешь!
И вот ошибся, вовсе не об ней;
И что тебе? Ведь ты не понимаешь
Ее достоинств.

Скачков

Мрак в душе моей:
Звезда любви когда-то мне светила,
Твоя звезда, но только что манила,
И вот не к ней летят мои мечты!

Пронской

Так и должны...

Скачков

О чем же думал ты?
О чем-нибудь общественном и важном?
Скажи, о чем?

Пронской

Я думал... как в наш век
Усовершился, вырос человек,
В своем быту, в развитии отважном
Своих идей какую бездну сил
Природы он себе поработил!.
И как легко и верно правит ими
Теперь уже, а что еще вперед,
Что сделает он силами такими,
Когда им даст повсюдный, полный ход?
Лет через сто — какой переворот!
Гражданственность, науки, все пойдет,
Когда везде железные дороги...

Скачков

Везде они, о милосерды боги!..
А знаешь ли ты, Пронской, что твоя
Звезда, любовь и радость бытия
Прекрасная прочь от тебя склонила
Свое лицо, весь жар лучей своих
К другому...

Власьев

Как, ужели изменила?

Скачков

Почти что так: у ней уж есть жених.

Пронской

Вот вздор! Когда?..

Скачков

А в эти две недели,
Которые так мимо пролетели
В твоей тиши, в сидении твоем
За книгами и письменным столом,

В живительных, несуетных беседах
С главнейшими светилами времен.

Хворов

Я слышал сам.

Дрянской

Везде, на всех обедах
Уж говорят...

Хворов

Жених в нее влюблен
До бешенства.

Дрянской

Вчера мы поздравляли
Варлянскую. Какие серьги, шали
Он ей дарит!

Власьев

А кто ее жених?

Скачков

Он молодец, проворнее других,
Известный, преизвестный Загорецкий.

Власьев

Вот чудеса! Нашла же за кого...

Хворов

А почему ж не выйти за него?
Он человек богатый, прямо светский,
Чиновный, умный, вовсе ей под стать.

Власьев

Другая бы...

Хворов

Как эдак рассуждать!
Согласен я, другая бы, конечно...
Да в наши дни смешно любить беспечно;
Везде расчет.

Дрянской

А может быть, и вкус;
Простительно...

Пронской

Я, право, не сержусь,
А грустно мне. Я предался сердечно,
Я предался вполне моей любви!
Чистейшие желания мои
Сливались в ней. Мои труды, заботы,
Мои печали, радости и сны
И смелых дум свободные полеты —
Все были ей одной посвящены!
А мир мечты светлее, выше, краше,
Отраднее существенности нашей!
Чудесный мир, он мне знаком, друзья.
В него меня, как в небо, уносила
Моей любви таинственная сила,
И где же он? И нет его! Где я?
Кругом меня опять и мрак и холод
Земных сует, опять я праха сын!
Куда иду? Несчастлив и один...

Хворов

Не плачь, мой друг.

Скачков

Ах, братец, как ты молод!
Вот на и пей! Тоска твоя пройдет.
Поверь ты мне, в вине такая ж сила,
Как и в любви; оно ей антидот.
Я сам любил, мне также изменила
Волшебница, и не твоей чета,
И не в Москве, и чудо-красота,
И немочка, в Германии, на Рейне,
Эмилия; я так же пылок был
И тосковал, но скоро утопил
Огонь любви на месте же, в рейнвейне,
И весел стал, как прежде: вот любовь!

Дрянской

Кубенской прав:
«Не знаю, что любовь?

Стакан вина иль дым священный?
Души припадок вдохновенный
Иль разыгравшаяся кровь?»

Хворов

Не унывай, садись за книги смело,
Пересмотри Гиббона своего:
Ты сделаешь полезнейшее дело,
Ты мастерски переведешь его.

Дрянской

На что Гиббон? Вот есть над чем трудиться.
Он устарел, прошла его пора...

Власьев

Советую покрепче углубиться
В историю России до Петра
И наконец решить вопрос великой.

Скачков

Который окончательно решен.

Власьев

Не для меня.

Скачков

Ах, Власьев, ты умен
И все читал, а судишь слишком дико.
Пора же нам оставить нашу старь,
Как ветхий, давнолетний календарь,
И перестать напрасно шевыряться
В родной пыли; пора идти вперед
И нам.

Дрянской

Нет, за Европой гнаться
Нам тяжело; мы не такой народ...

Скачков

Прикажешь нам сидеть, поджавши руки,
Бессмысленно и мертво ко всему,
Что́ движет всех, что́ делают науки
И там и там. Нет, мы по-твоему́
Давно уже погибли бы со скуки.

Власьев

А согласись, что пища есть уму,
Прекрасная, питательная пища —
Уединяться от живых людей
В священный мрак давно минувших дней,
На тихие, смиренные кладбища
Исчезнувших народов и царей!
Ум творческой способностью своей
Влагает жизнь в могилы молчаливы,
И перед ним они красноречивы,
И перед ним века, за рядом ряд,
Встают, идут и внятно говорят;
Как наяву он видит их и слышит,
Он судит их и величаво пишет
Свой суд, в урок позднейшим временам.

Хворов

И я люблю и занимался сам
Историей, особенно Нибуром;
Я начинал его переводить.

Пронской

Мне кажется, что можно бы сравнить
Великого историка с авгуром:
Историк также должен уходить
От шума и приличий современных
На светлый луг холмов уединенных,
Чтоб наблюдать с свободных их высот
Судьбу веков, их вещий крик и лёт...

Скачков

Ну, полно, брат, я не терплю сравнений.

Дрянской

За что это?

Скачков

Нетрудно их набрать.

Хворов

Сравнения до ложных заключений
Доводят нас, и странно б основать
На них науку или вывод целый.

Дрянской

В поэзии...

Хворов

Тогда другое дело:
Там место им, они там хороши.

Дрянской

Как, например, сравнение души
С огнем лампады...

Хворов

Или жизни нашей
С несвязным сном...

Скачков

А молодости — с чашей
Вина. Друзья! давайте ж пить вино,
(Пьет.)
Пока еще так чисто и прекрасно
Кипит, блестит и пенится оно!

Власьев

(смотрит в окно)
Луна взошла и сыплет свет свой ясный
На белый снег! Серебряная ночь!
(Задумывается.)
Вы помните: такая же точь-в-точь
Она была, когда мы любовались
На вид Кремля, Кубенской с нами был...

Дрянской

И на своих пегасах...

Власьев

Говорил
Торжественно; мы долго восхищались
Величием и славою Кремля!
И где поэт? Его взяла земля
И не отдаст...

Скачков

Скажи ты мне, мой милый,
Ты, Пронской, полно! Ты опять уныло

Задумался, скажи свой приговор:
Ведь ты читал ту книгу? Мир явлений
Из-за могилы, право, сущий вздор!

Дрянской

Однако же, друзья, и до сих пор
Не решено...

Пронской

Об этом много мнений;
Защитники таких духовидений
Зашли уже чрезмерно далеко,
Предположив решительно возможность...

Дрянской

А для ума почти равно легко
Доказывать неложность их и ложность,
Не испытав на деле.

Хворов

Так, ты прав,
Весьма легко, когда не испытав...
Я думаю: обман воображенья...
Иль выдумка, ведь Кернер сам поэт.

Скачков

Невежество иль сумасшедший бред.

Дрянской

Но ежели достойный уваженья
И всем известный человек с умом,
Правдивости и честности примерной,
Как дядя мой, и человек притом
Ученый и ничуть не суеверный,
Там Тимофей Петрович Волховской...

Хворов

Всё пустяки!

Пронской

Так что же дядя твой?

Власьев

Послушаем.

Скачков

Пожалуйста, недолго
Рассказывай! Пора нам новый год
Встречать, не то невстреченный придет...
(Смотрит на часы.)
Одиннадцать.

Дрянской

Мой дядя жил за Волгой,
В деревне; был он вообще любим
Соседами, особенно ж с одним,
Ближайшим всех, с майором отставным,
С Курковым был он дружен. Сам почтенный
Майор был очень стар и домосед,
Так дядя мой езжал, обыкновенно
По вечерам, к нему играть в пикет;
Они всегда садились в кабинете
Куркова, где висел большой портрет
Хозяина. Майор был на портрете
И в орденах, и в пуклях, и с косой,
И так похож, так дяде полюбился,
Что наконец он выпросить решился
Его себе в подарок. «Нет, друг мой,—
Сказал майор,— нельзя. Помилуй, что ты?
Такой портрет прекраснейший! Работы
Левицкого, тебе какая стать?
Сам посуди, картина дорогая!» —
«Так дай же мне его хоть срисовать»,—
Сказал мой дядя. «Это речь другая!
Возьми срисуй; однако ж уговор,
Чтоб мой портрет через полгода снова
Был дома!» Дядя взял портрет Куркова
И у себя повесил; а майор
Чрез три дни умер, и его картина
Осталась дяде, другу на помин.
И быть бы так, да сделалась причина!
Раз дядя мой был дома и один;
Была уж ночь; лакеи спать ложились,
А он сидел за книгой... Слышит: вдруг
По комнате пронесся шум и стук
Шагов, идут, и двери отворились!
Вошел Курков, к стене приставил стул,
Портрет достал, со всех сторон обдул,

Под мышку взял и с ним проворно вышел.
Не струсил дядя: тут же он вскричал
Людей и дворню, дом весь обыскал:
Нигде никто не видел и не слышал,
Кто взял портрет, и как пропасть он мог?
Тут вспомнили, что в эту ночь был срок
Послать портрет, по силе уговора,
В майорский дом. Мой дядя съездил сам
В село Куркова, в кабинет майора
Вошел: портрет покойника был там
На прежнем месте. Я вас уверяю...
Не верю сам, а дядя...

Скачков

Знаю, знаю
И сам могу... Пожалуй, и у нас
В семье хранится этакий рассказ
Еще от деда, также достоверный...

Хворов

Мы слушаем.

Скачков

У бабушки моей
Был человек, слуга ее, лакей,
Старик Мирон; слуга он был примерный,
Любил мести полы, и мел он их всегда
Так смирно, тихо мел, что господа,
Весьма остро, за то его прозвали
Мироном тихим. Умер он. Так что ж!
Теперь таких усердных не найдешь:
Ленивее и хуже люди стали!
В полночный час Мирон и мертвецом
Ходил мести полы в господский дом
И мел, как прежде. Многие видали
И много раз, и дед мой видел сам,
И бабушка ходила со свечами
В гостиную и наблюдала там,
Как по полу пыль ехала рядами
К дверям сама, а щетки не видать!
Вот вам, друзья, извольте рассуждать!

Хворов

Все это вздор.

Скачков

А я божиться буду,
Что дед не лгал.

Власьев

Я никакому чуду
Не верю.

Скачков

(садится за стол)

Братцы, новый год встречать
Пора. Друзья, садитесь, начинаю
Желания... Да слушайте ж, друзья,
Садитесь все. Во-первых, я желаю —
Начну с себя,— себе желаю я,
Чтоб я, Скачков, побольше занимался
Делами службы; чтоб любил труды
Полезные; чтоб реже я влюблялся
И реже бы в Армидины сады
Ходил ловить обманчивые взгляды
Сирен; вперед чтоб не был я сердит,
Когда моим товарищам награды,
Места, кресты и всё так и летит;
Чтоб я сидел за важною работой,
А не вертелся в мелочных чинах.
Теперь, мои друзья...

(Слышен скрып саней.)

Власьев

Подъехал кто-то
К крыльцу... нет, нет...

Хворов

На пегих лошадях.

Скачков

Да слушайте ж! Теперь, друзья, желаю,
Тебе, мой милый Пронской...

Власьев

Нет, сюда
Приехал кто-то.

Скачков

Сядьте, господа,
И слушайте меня, я продолжаю:
Тебе, мой Пронской, на твоем веку
Довольно ты любовных треволнений
Препобедил, тебя твой добрый гений...

Входит Кубенской и обращается к Хворову.

Хворов

Ах, батюшки!
(Вылетая в дверь.)
Артемий, табаку!

Кубенской

Здорово, Пронской! Вот и я с друзьями
Опять...

Все от него отворачиваются в испуге.

Друзья, Скачков!

Скачков

Поди ты! Нет, не я...

Кубенской

Что это вы?.. что делается с вами?
Помилуйте, послушайте, друзья!

Хворов

(вбегает)
Кубенской жив, он жив!

Кубенской

Смотрите сами,
Вот я, Кубенской, тот же...

Власьев

Здравствуй, друг!

Пронской

Ты не сердись, Кубенской: нам сказали,
Что умер ты, так мы не полагали...

Дрянской

Вольно ж пугать нас. Этакой испуг!

Хворов

Все думали... а ты явился вдруг,
Все думали...

Кубенской

Я болен был опасно,
Отчаянно...

Дрянской

Да можно бы дать знать...

Кубенской

Был при смерти, однако ж умирать
Не умер.

Власьев

(обнимает его)
Друг, ты поступил прекрасно!

Кубенской

Я к вам спешил, и вот всего-то с час,
Как я в Москве. Я приглашаю вас,
Друзья, ко мне: мы встретим, как бывало,
Студенчески и этот новый год,
Разгульно, шумно!

Дрянской

Звонко, разудало!

Хворов

Как следует.

Кубенской

Веселый пир пойдет,
Как прошлый раз.

Власьев

И даже веселее
У мертвеца...

Кубенской

Поедем же скорее!
Пора, друзья.

Власьев

Поедем и пойдем.

Дрянской

Подумаешь, вот слухи...

Хворов

Что ж такое!
Не мы...

Кубенской

В Москве прибавят вечно втрое!

Власьев

Какая ночь!

Пронской

Идем же...

Скачков

И поем:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus...[1]

Все подтягивают.

1840

СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ

Комната в трактире.

1

Власьев

Войди! Ах! здравствуй...

Скачков

Здравствуй, брат!

[1] Итак, будем веселиться, пока мы молоды... *(лат.)*.

Власьев

Откуда и куда ты?

Скачков

Возвращаюсь
Из дальних стран в Россию.

Власьев

Как я рад
Тебе! Садись.

Скачков

Давно уж я толкаюсь
Меж немцами; пора мне ко своим,
В отечество: отечественный дым...
А ты, здоров? Не так ли?

Власьев

Поправляюсь...
Я хоть куда!

Скачков

Карлсбад тебе помог:
Чудесный ключ!

Власьев

Я им весьма доволен.

Скачков

И есть за что: ты словно не был болен,
Стал молодцом, от головы до ног
Включительно, ты потолстел прекрасно,
Свеж и румян. Ты явишься домой,
Мил и любезен телом и душой.
А между тем ты ездил не напрасно
И для ума, ты бросил высший взгляд
На разные предметы, освежился
От жизни вялой, сонной, прокатился
В Германию. И знаешь ли что, брат?
Женись-ка ты. Покинь свой быт келейный,
Бесплодные работы и мечты
Студентских лет, да смело в мир семейный,
В объятия любви и красоты!

Ты верно счастлив будешь; мне, как другу,
Поверь ты: одинокое житье
Нехорошо, особенно твое,
Сидячее, найди себе подругу,
Хариту.

Власьев

Я от этого не прочь,
И был бы рад...

Скачков

Давно ты здесь?

Власьев

Недавно,
Однако ж я все осмотрел исправно:
«Мадонну» и Корреджиеву «Ночь»,
Зеленый свод — все видел.

Скачков

И отсюда
Назад, в Москву?

Власьев

Конечно.

Скачков

И когда?

Власьев

Не знаю сам.

Скачков

Кто ж знает?

Власьев

Да покуда
Еще никто.

Скачков

Так у тебя всегда —
Да нет! Скорей в Москву, и я с тобою:
Мы едем вместе, едем и скорей!
Мне срок уже, мы завтра же...

Власьев

Ей-ей,
Я не могу, готов бы всей душою:
Я должен здесь остаться, а потом
И зимовать, быть может.

Скачков

Я, брат, знаю
Тебя: ой, ой! тяжел ты на подъем,
А впрочем, я надежды не теряю
Сегодня же тебя уговорить...

Власьев

Здесь у меня есть дело...

Скачков

А какое?
Могу ли знать? И полно: все пустое!
Уж не любовь ли? Ты готов любить...
Ты крайне мягок сердцем.

Власьев

Так и быть:
Тебе открою тайну...

Скачков

Обещаюсь
Хранить ее, и будь уверен, брат,
Что можешь смело...

Власьев

Здесь я дожидаюсь:
Вот видишь ты, любезнейший, хотят
Женить меня.

Скачков

И женят непременно,
И сделают весьма умно, и я
Советую...

Власьев

Хотят женить меня;
И тетки — так у нас обыкновенно —

Племяннику на всем лице земли
Невесту ищут.

Скачков

И уже нашли
Любезную, богато-молодую,
Красавицу?

Власьев

Уж, верно, не дурную!
Так дело в том, что здесь теперь я жду
Приезда Кемских: познакомлюсь с ними
И сближуся, и ежели найду
Одну из них согласною с моими
Надеждами, то дело поведу
Скорей к концу; имею повеленье
Особенно принять в соображенье
Зизи, меньшую; впрочем, выбирать
Могу и сам! Как будущее знать?
Быть может, мне судьба определила
Ее; они здесь будут зимовать.
Вот почему, вот, милый мой, в чем сила!

Скачков

Однако же зима уж настает,
А Кемских нет; пошли снега, морозы:
Пора б на место...

Власьев

Северные розы
Не очень хлипки: место не уйдет.
Признаться, брат, и тайное влеченье
К ним есть во мне, мое воображенье
Уже кипит желанием любви.

Скачков

Кипение похвальное, благое.
Влюбись, мой друг: прекрасное земное
Чарует жизнь, лови его, лови...
Носи в груди тот пламень благородный,
Которым вспыхнешь; береги его
Сохранно, свято, как залог того
Небесного... Итак, судьбе угодно,
Чтобы в Москву скакал я одинок.

Путь холоден, и грязен, и далек
Мне предлежит: помчусь нетерпеливо
И ночь и день и этак доберусь...

Власьев

А я когда-то на святую Русь!

Скачков

Еще успеешь, ты теперь счастливо
Останешься, желанное найдешь
И, верно, славно зиму проведешь
В мечтах любви, в магическом тумане,
В восторге чувств!
(Смотрит в окно.)
Какой прекрасный вид!
Трактир хорош?

Власьев

Зато битком набит,
Зато его и любят англичане.

Скачков

Почтеннейший, единственный народ.
Особенно когда их знаешь дома,
У них — как там все хорошо идет!
Все крепко, стройно, дельно, все цветет!
Я в Лондоне жил долго, мне знакома
Великая владычица морей.
Ах, брат, не нам и говорить об ней!
Ты знаешь ли? Ведь я было пустился
В Америку — мне кстати бы и там
Уж побывать; да просто поленился;
Притом же путь по скачущим волнам,
По океану, я и не решился;
И то сказать: ведь я тогда спешил
На Рейн, его видами насладиться,
Как водится; полазить по горам,
По древним башням, каменным тычкам;
Все это мило! Тут же прокатиться
Хотелось мне по вольным городам:
Хотелось видеть, что такое там?
Зато теперь я знаю совершенно,
Как добрый немец, рейнские края,
И если б не родные и друзья,
Я жить бы там остался непременно,

По крайней мере, на десяток лет.
Да, Рейн река! У нас подобной нет.

Власьев

Ты говоришь, как будто бы ты знаешь
Россию...

Скачков

Ты меня не понимаешь.
Я думаю, что нет реки у нас
Классической, хоть матушка Россия
И велика: у нас места другие!
Я помню, я приехал в первый раз
На Рейн; была уж ночь; остановился
Я в домике на самом берегу,
Я ехал долго, очень утомился,
Лег спать; ну не могу да не могу
Заснуть, всю ночь я безо сна пробился,
Я был взволнован, голова моя
Так и горела; мысль, что вот и я,
И я на Рейне! — эта мысль глубоко
Во мне кипела, и заря взошла,
Торжественно-спокойна и светла;
Гляжу в окно: сверкает Рейн широкой
В картинных и веселых берегах;
За Рейном горы в утренних лучах,
И там, и там, далеко и высоко,
Старинны башни, замки на горах,
Развалины и прах красноречивый!

Власьев

А ты до них охотник?

Скачков

Не совсем:
Не ревностный, как человек ленивый,
Обозреватель, занятый не тем,
Что он обозревает, хоть иные
Развалины люблю я, но большие,
Изящные, каких не может быть
Там...

Власьев

На тебя не шутка угодить:
Ты был везде.

Скачков

И вправду! Кто, подобно
Мне, странствовал и видел все подробно,
Кто видел Рим, и Тибр, и Колизей,
Венецию, Неаполь, кто два года
Таскался по Италии по всей,
Тому вся эта рейнская природа,
Все эти горы, замки, острова
С каштанами и липками,— все мало,
Безвкусно, пошло, дико, трын-трава!

Власьев

А почему же?

Скачков

Да! Им недостало
Той сладости, той неги, так сказать,
Той мягкости, которые понять,
Почувствовать заочно иль словами
Изобразить решительно нельзя.
Италия — вот сторона моя
Любимая, богатая следами
Великого былого, чудесами
Изящного, веселье и краса
Земли. И что, брат, там за небеса!
Прозрачные и темно-голубые,
И облака румяно-золотые,
Летучие и тонкие... Как жаль,
Что от Москвы до Рима эта даль
Чертовская! Не то бы можно было
Нам ежегодно уезжать туда
От наших зим и жизни преунылой.
Однако же ты не поверишь, милый!
Что даже там я тосковал всегда
По родине, и сам не понимаю,
Как это, отчего бы? Полагаю,
От слишком частой перемены мест
Да от езды без дела и без цели,
И я ж таков, что все мне надоест,
И скоро,— так-то мне и надоели:
Во-первых, пресловутая страна
Премудрости, науки, вся сполна:
Старинная и новая, пивная
И винная, такая и сякая;

Потом и сам туманный Альбион,
Потом Париж, хотя его соблазны
Невыразимо как разнообразны!
Италия и южный небосклон,
И все картины сладостного юга —
Всё не по мне, все это не мое!
Хочу к себе, мне только там житье!
Хочу туда, где завывает вьюга,
Стучит мороз; пора и мне пожить
Порядочно, и было б бестолково,
Грешно весь век в чужбине прогостить,
Где для меня уже ничто не ново.
Теперь в Москву покуда. А весной
Переселюсь в деревню — на покой,
На волю и простор уединенья!
Из толкотни мирской и треволненья
В родную глушь, там крепко углублюсь
В свои дела, привыкну постепенно
Любить хозяйство, сельские труды.
Ах, братец! плуг, взрывающий бразды,
Полезнее меча...

Власьев

О, несравненно!

Скачков

Так еду. Что ж прикажешь ты в Москву
Твоим друзьям?

Власьев

Поклоны, рукожатья!
Скажи, что я не праздно здесь живу,
Что у меня есть разные занятья
Ученые, что скоро возвращусь
Домой; скажи друзьям, что я сержусь
На них за то, что пренесносно мало
В них письменной деятельности.

Скачков

Да,
Я то же думал, говорил всегда.
Вот, например, хоть Пронской, славный малый,
Душой, умом возвышенный поэт,
А проку в нем большого также нет!

Его таланта верно бы достало
На важный исторический предмет,
На драмы, на большие сочиненья!
А что же он? Два-три стихотворенья
Коротеньких Парнасу подарит,
А целый год потом живет их славой,
Покоясь так почтенно-величаво,
Как будто львом Немейским он покрыт!
Да, я с тобой согласен совершенно:
У нас талант всегда весьма ленив
И много спит.

Власьев

И видеть предосадно,
Как сам себя он губит беспощадно
Бездействием, хотя самолюбив.

Слышен звонок.

Скачков

Звонят к обеду?

Власьев

Да.

Скачков

Я рад сердечно:
Я голоден порядком.

Власьев

Мы пойдем
За общий стол.

Скачков

Хорош он здесь?

Власьев

Конечно.
Прекрасный и с прекраснейшим вином.

Скачков

А то немецкий стол бесчеловечно
Безвкусен. Я известный гастроном.

Уходят.

2

Скачков

О нет, мой друг, любовь моя была
Не высока, телесная, земная,
И вдаль увлечь меня бы не могла,
Мне только что приятно оживляя
Вечерние прогулки, и прошла
Она, как сон, игра воображенья!
А я весьма доволен этим сном,
И лучшего, иного развлеченья
В тогдашнем положении моем
Я не нашел бы; лето жарко было,
И, как нарочно, в окнах у меня
Стояло солнце половину дня
После обеда и меня палило
Неумолимо, вечера я ждал,
Как радости или свиданья с милой,
И чуть лишь вечер, я уж покидал
Свое жилье, летел вкушать прохладу
В соседний сад, тем паче что она
С красавицей была сопряжена;
И находил я верную отраду
В тени дерев, в дыхании любви.
Так прожил я спокойно, беззаботно
Два месяца, потом дела мои...

Власьев

Ты будешь пить шампанское?

Скачков

Охотно,
А ты?

Власьев

Нет, я не пью.

Скачков

И, полно, братец, пей!

Власьев

Запрещено.

Скачков

Боишься лекарей?
Поверь ты мне, я это лучше знаю,
Шампанское здоровью не вредит:
Я пью его давно и выпиваю
Помногу, что же у меня болит?
Мне подражай.
(Пьет.)
Почтеннейший, желаю
Тебе, мой друг, чтобы всегда вперед
Ты был далек от горькой чаши вод,
Как я теперь, и пил бы безопасно
Вино, как я.

Власьев

Вино к вода́м ведет.

Скачков

О нет! Да, впрочем, на водах прекрасно
Проводят время: там больной народ
Не унывает, лечится гуляя;
Там царствует свобода золотая;
Все запросто, все вместе, все равны:
Там самые высокие чины
Пред малыми чинами не спесивы,
Напротив, тихи, ласковы, игривы
Со всеми, там все пить осуждены
Одну волну, людей нужда смиряет!
Подобная история бывает
И у зверей: ты знаешь, милый мой,
Что точно так в невыносимый зной
И барс и тигр смиренны, как ягнята,
И с кроткими зверьми за панибрата
На зелени прохладных луговин
Аравии!

Власьев

Как тонко изощряет
Вино твой ум!

Скачков

Оно лишь возбуждает
Его; итак, я буду пить один
И не спеша. Я чашу наслажденья

По капле пью, как Батюшков велит
Весьма умно; ведь он почти забыт,
А я люблю его стихотворенья:
Прекрасны, нежны, пламенны они,
В них сладость меда, благовонье розы
И жар любви; конечно, в наши дни
Иначе пишут, нынче время прозы,
. . . . Проперций и Парни
Из моды вышли, милые созданья!
Желаю я, чтобы твои желанья
Исполнились! Узнай ее, влюбись
В нее, зачем тебе терять напрасно
Дни юности? Немедленно женись;
Ах, что же я, да это ведь ужасно!
Какой же я рассеянный! Едва
Не позабыл: что, братец, какова
Та с пышными, летучими кудрями,
Что за столом, как раз против тебя...

Власьев

Мила!

Скачков

Мила? А я так вне себя
От этих глаз под черными бровями
И длиннотенными ресницами...

Власьев

И взгляд
У ней как радость.

Скачков

Ясность молодая
В лице, улыбке.

Власьев

Целый мир отрад
Пленительных.

Скачков

Прелестный ангел рая,
Цвет совершенства.

Власьев

Впрочем, и другая,
Ее соседка, очень недурна
И на нее похожа,— знать, меньшая
Сестра ее.

Скачков

Жаль, что она бледна
Как снег и смотрит как-то вяло,
Неласково, бессмысленно, в ней мало
Огня и жизни, это не по мне,
Нехорошо!

Власьев

Но если бы прибавить
Румянец к этой чистой белизне
Ее лица?..

Скачков

Да кое-что поправить
В ее лице; кроме того, у ней
Ни пышных плеч, ни мраморных грудей,
Той сильной, увлекательной приманки
Для вождeлений...

Власьев

Говорят они
По-а́нглийски...

Скачков

Должно быть, англичанки,
И портер пьют, тем паче милы мне!
(Пьет.)
Да здравствуют прелестные британки!
Да процветают нежные цветы
Высокой и чистейшей красоты!
Откуда едут Кемские?

Власьев

Не знаю:
Они сперва поехали в Париж,
В Марсель и в Ниццу, их не соследишь;
Итак, я их оттуда ожидаю,
Откуда только ветры могут дуть,
Хоть мне тоска.

Скачков

И, полно, друг мой, будь
Неколебим. Бывают ожиданья
И тяжелы и горьки для сердец,
Зато легóк и сладок их венец.
Тебе любовь свои очарованья
Предназначает, много впереди
Тебе отрад; великодушно жди
Грядущего своей судьбы прекрасной!
Мой друг, в тиши семейного житья,
От бурь мирских далеко безопасной,
Прямое счастье. Часто, брат, и я
О нем мечтаю, только что мечтаю:
Не мне оно! Люблю я блеск, и шум,
И прелесть мира и везде скучаю!
Живя и наслаждаясь наобум,
Я чрезвычайно скоро пресыщаюсь
Всем вообще и потому скитаюсь
Из края в край, мой беспокойный ум
Всегда чего-то ищет; мне с ним мука
Всегда и всюду, так уже давно...
Так и теперь... Зачем? Куда я? Скука,
Одно и то же, то же и одно,
Томит меня, гнетет и гонит чудно
Домой, зачем? Скучать о тех землях́,
Где я скучал недавно. Право, страх
Мне и подумать, как я безрассудно,
В каких я пошлых, явных пустяках
Теряю дни, и месяцы, и годы!
На всем раздолье счастья и свободы
Как расцветала молодость моя
Беспечная! Теперь, когда глубоко
В себя вошел я, вижу, как жестоко,
Но праведно судьбой наказан я!
Я чувствую: я жизнию моею
Пренебрегал, я забавлялся ею,
Шалил я ею, как дитя шалит
Премудрыми, священными листами
Небесной книги.

Власьев

Слишком горячит
Тебя вино.

Скачков

Я истинно сердит
Сам на себя и мрачными глазами
Гляжу на все, и более всего
На будущность мою, где ничего
Отрадного, несчастная картина!
В ней мысли нет! Что ж этому причина?
Увидишь ты: все так и быть должно
Со мной, как есть. Причина: не дано
Мне ровно никакого направленья
Первоначально, и в душе моей
Нет ничему приюта, утвержденья
Достойного; от самых юных дней
Высокие, святые впечатленья
Ей нипочем: они блеснут на ней —
И прочь и прочь, следов не оставляя,
Лишь пустоту! Вот, милый друг, какая
Досталася мне доля бытия
Страннейшая! Вот как воспитан я
Бессмысленно! Не только не развиты
Хорошие способности во мне
Природные, они совсем убиты
Немилосердо в самой их весне!
Вся жизнь моя одно большое горе,
И я не силен горю пособить!
Решительно могу себя сравнить
Теперь с ладьей на треволненном море;
В туманном небе ни одна звезда
Не светит, страшным ревом непогоды
Наполнен воздух, хлещут бурны воды,
Несут ладью и черт знает куда!
И эта мысль меня сопровождает
Везде как тень, а я ли виноват?
Ты видишь!

Власьев

Вижу, хмель в тебе играет,
Но хмель пройдет.

Скачков

О! счастлив много крат
Тот, кто края чужие покидает
Не горестно и в то же время знает,

Зачем свои родимые края
Он покидал...

Власьев

Вот, например, как я
Покинул их; ты смотришь слишком строго
Сам на себя и на земной свой путь:
Живи на свете просто, как-нибудь,
Как многие, не занимаясь много
Вопросами о жизни и судьбе.
Иначе ты себя лишь раздражаешь,
А пользы нет! И пей.

Скачков

Скажу тебе,
Ты знаешь, нет, ты этого не знаешь!
Ты очень плох и слаб по части вин...
Я думаю, да и не я один,
И многие так думают, что вина,
Когда желаешь всю их прелесть знать,
В виду тех мест и должно распивать,
Где вина те родятся, что картина
Долин, рек, гор, пригорков, им родных,
Важна при этом деле, украшая
Их действие и дивной силе их
Содействуя и душу восхищая
Невыразимо. Точно так читать
Поэта должно там, где развивался
И возрастал он, там, где, так сказать,
Талант его бродил и разливался.
Немудрено все это испытать
При случае: так, помню я, бывало,
Ах, как меня вино воспламеняло!
Я разумею рейнское вино,
Бывало, пью, а сам гляжу в окно,
И старец Рейн роскошно предо мною
Блестит, и черный лебедь рейнских вод —
Так величают немцы пароход
На Рейне — пенит волны под собою!
Далече горы, за́мки на горах,
И небосклон в златистых облаках,—
Сильнее вдвое душу восхищает
Живая сладость доброго вина,
Когда в виду прелестная страна...

Власьев

(смотрит в окно)

Красавица британка уезжает!

Скачков

(подбегает к окну)

Не может быть. И точно, ведь она!
Вот хорошо! А я еще не знаю,
И кто они? О! надобно узнать!
Они того достойны.
(Выходит и тотчас возвращается.)
Поздравляю
Тебя, мой милый, можешь перестать
Здесь дожидаться Кемских! Это были
Оне.

Власьев

Оне? Неу́жели оне!

Скачков

Из Лондона и скачут в Рим!

Власьев

Жаль мне!
(Задумывается.)

Скачков

Так и тебя, мой друг, воспламенили
Глаза.

Власьев

Ничуть! Ах я чудак, чудак!

Скачков

Теперь тебе не гнаться же за ними.

Власьев

И вот я здесь с надеждами моими,
Как на мели...

Скачков

О, нет! совсем не так.
Утешься, брат! Ведь не с одним с тобою
Случаются невзгоды: такова

Земная жизнь, смирись перед судьбою!
Ей хочется, чтоб ехал ты со мною.

Власьев

Так еду же.

Скачков

(пьет)

Да здравствует Москва!

1841

ЛИПЫ

И вымыслы нравятся, но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина.

Карамзин

1

На пурпуре ленивки драгоценной
Красноречиво, пышно развалясь,
Князь Петр Ильич Хрулев уединенно
Курил гаванскую сигару. Князь
Глядел сурово, думал беспокойно:
Табачный дым небрежно и нестройно
Из-под усов на воздух он бросал;
Обыкновенно ж он его пускал
Отчетисто, красивыми кружками.
Что ж занимало голову его?
На поприще служенья своего
Блистает он чинами и звездами,
Он и богат, и знатен, и силен,
Чего ж ему, о чем же думал он?
Быть может, он воспоминал тоскливо
Прекрасные, былые дни свои
И молодость, когда он цвел счастливо
Избытком сил для жизни и любви;
Когда он бойко, славно рисовался
Перед полком; иль негой упивался
В шуму высоких, царственных потех,

Где он имел решительный успех
У первых лиц, где был он несравненно
Умен, и мил, и ловок, и остер
И привлекал к себе огнистый взор
И сладку речь красавицы надменной.
Быть может, он воспоминал те дни
И думал: «Ах, зачем прошли они!»

Они прошли как сон пустой; а ныне
Куда судьба его перенесла!
Он здесь один, и словно как в пустыне,
И кучами кругом его дела
Прескучные; он толку в них не видит
И знает, что добра из них не выдет;
Тоска ему, невыносимо дик
Его большой Бузанский пашалык:
Сама его столица, как могила.
Здесь он завял и сердцем и умом
В глуши. Да нет, он думал не о том.
Забота в нем кипела и бродила
Важнейшая: он преисполнен был
Дум глубочайших. Вот он позвонил.

И перед ним, нагнувшись и блистая,
Лакей как тут. «Крумахера ко мне!»
Лакей ушел. Забота вот какая
Смущала князя: в этом Бузане,
Где всё еще и пошло и уныло,
Полезно бы, прекрасно б даже было,
Притом же и не слишком мудрено
Бульвар устроить! Так и решено.
Покончена работа черновая,
Лишь осенью деревья насадить;
Но вдруг приказ: бульваром поспешить!
И чтобы он к шестнадцатому мая
И непременно весь отделан был.
Об этом князь бумагу получил
За чаем; он задумался над нею:
«Срок очень мал! Всего-то восемь дней!
Так как мне быть, когда же я успею?
Где я возьму такую тьму людей?
Бульвар велик; нет, это слишком скоро!
Стоят жары, теперь садить неспоро,
Деревья будет нужно поливать

Весь день,—да где их столько и набрать?
Лес за семь верст! И лес какой же? Хвойный!
А липы редки в этой стороне,
А нужны липы; что же делать мне?
Ну как тут быть?» Князь думал беспокойно,
И мысли в нем, одна другой черней,
Как волны вод, когда ревет Борей.

Вошел Крумахер. Чинно поклонился.
Князь объяснил ему и прочитал
Бумагу. Тот ничуть не удивился
Разумному приказу и сказал:
«Так надобно, не мешкая, за дело —
И чтоб оно без устали кипело:
Прикажете, я завтра же начну
Распоряжаться, мигом поверну
Работу к спеху: множество народу
Собьем из подгородных деревень;
Велим ему работать целый день
Вплоть до ночи, возить к деревьям воду,
И для поливки буду высылать
Моих пожарных».— «Трудно лип достать,
Их сотни две потребно для бульвара»,—
Заметил князь. «И это ничего:
Нас липы не задержат; сад у Кнара
Весь липовый; достанем у него.
И липы все, как на подбор, прямые
И чистые; ну, именно какие
Нам надобно. Я сам к нему зайду,
И завтра же; есть липы и в саду
Жернова, их мы тоже пересадим
На наш бульвар, и будет он как раз
У нас готов. Могу уверить вас,
Не беспокойтесь: славно дело сладим!»
И князь сказал: «Поди же торопись,
Любезнейший, и всем распорядись».

Ушел Крумахер. Князь легко и плотно
Поужинал, потом на ложе сна
Лег и заснул, как отрок беззаботный.

Какая ночь: весенняя луна
То, ясная и яркая, сияет
В лазурном небе; то она мелькает

В летучих и струистых облаках,
Как белый лебедь, спящий на волнах.
Какая ночь! Река то вдруг заблещет,
И лунный свет в стекле ее живом
Рассыплется огнем и серебром;
То вдруг она померкнет и трепещет,
Задернута налетным облачком.
Земля уснула будто райским сном.

Вот лунный свет прекрасной вешней ночи
И в спальне князя весело блестит,
Его целуя и в уста и в очи;
Сон видит князь: с министром он сидит
И объясняет складно и подробно,
Как было трудно, вовсе неудобно,
В такую пору, только в восемь дней,
Бульвар устроить: и согнать людей,
И лип найти, и подвозить к ним воду,
Песок возить, укатывать катком;
Но он таки поставил на своем
И, так сказать, преодолел природу.
Бульвар готов, а прежде тут была
Пустая площадь, и трава росла!

И видит князь, как он министра водит
По дивному созданью своему:
Министр доволен, весело он ходит,
Все хорошо, все нравится ему,
Все сделано отлично, превосходно,
Как надобно, и князя всенародно
Он тут же и не раз благодарит,
И князь в восторге. Он едва стоит;
Он очарован ласковым воззреньем
Вельможных глаз на слабый, малый плод
Его трудов, усилий и хлопот;
Он поражен приливом и волненьем
Сладчайших чувств; он ими поглощен —
И три раза́ он видит тот же сон.

2

Аптекарь Кнар, с своей женой Алиной
И кучею детей, спокойно жил.
Его семьи счастливою картиной

Все любовались; он жену любил
Сердечно, и такою ж отвечала
Она ему любовью; управляла
Хозяйством восхитительно; была
Добра, умна, чувствительна, мила.
Его жена любила так же нежно
И постоянно липовый свой сад,
Приют своих семейственных отрад.
Она об нем заботилась прилежно,
И процветал Алинин сад, предмет
Ее живой заботы многих лет.

Она его в наследство получила
От матери покойной, и сама,
Еще при ней, деревья в нем садила —
Не просто; нет, она была весьма
Замысловата: при саженье сада
Не только что прогулка иль прохлада
Приятная была у ней в виду;
Нет, ей хотелось, чтоб в ее саду
Произрастал, красиво зеленея,
Альбом родных и милых ей людей,
Чтоб легкий шум густых его ветвей,
При месячном сиянье тихо вея,
Напоминал ей сладко, вновь и вновь,
Ее семью, и дружбу, и любовь.

И эту мысль она осуществила
Прекрасно. Вот Адам Адамыч Бок,
Бандажный мастер; вот его Камилла
Эрнестовна; вот Франц Иваныч Брок,
Сапожник, и жена его Бригита
Богдановна, и дочь их Маргарита,
И муж ее Петр Федорыч Годейн,
Штаб-лекарь; вот Иван Андреич Штейн,
Кондитер и обойщик; вот почтмейстер
И кавалер Крестьян Егорыч Шпук,
Вот Фабиан Мартынович фон Фук
И Александр Вильгельмович фон Клейстер —
Два генерала; вот и две жены
Двух генералов, бывшие княжны
Мстиславские: Елена и Полина,—
Красавицы! А вот семейный мир
Хозяйки: вот ее мама́, Кристина

Егоровна; папа́, аптекарь Шмир,
Иван Иваныч; дядя Карл Иваныч;
Вот муж, аптекарь Николай Богданыч
Кнар; дети: Лиза, Лена, Макс, Андрей,
И прочие... В дни юности своей
Она сама здесь некогда гуляла,
Влюбленная, и томною мечтой
Питалася, беседуя с луной
Задумчиво, и «Вертера» читала.
Здесь вместе с ней жених ее гулял
И в первый раз ее поцеловал.

И с той поры, в тот час, когда сменяет
Шумливый день ночная тишина,
И небосклон румяный потухает
За дальними горами, и луна
Слегка осветит дремлющие сени
Заветных лип, и сетчатые тени
Падут на луг,— Алина здесь блуждать
Любила, и душой перелетать
В минувшее, и чувствовать уныло,
Что сердцу милых многих, многих нет,
Что эта жизнь полна пустых сует,
И веровать, что будет за могилой
Иная жизнь и лучшая, иной
И вечный свет, небесный, неземной!

Так этот сад хозяйке драгоценен.
Прекрасный сад! Он застенен горой
От северного ветра, многотенен
И далеко от пыли городской.
Как живо улыбается Алина,
Когда ее семейная картина
И двое-трое милых ей гостей
В ее саду, в тени его ветвей,
Сидят, пьют кофей, муж спокойно курит
Табак; с ним тихо говорит Конрад
Блехшмидт, портной, его табачный брат;
С мамзелями невинно балагурит
Танцмейстер Кац, а с Миною фон Флит
Он вечно шутит: как он их смешит!

Был вечер. Кнар, с своей женой Алиной,
Сидел у растворенного окна.

Он занимался важно медициной
И рылся в толстой книге, а жена
Чулок вязала, между тем глядела
На улицу, которая кипела
Народом и телегами, и сам
Крумахер горделиво по толпам
Расхаживал; полиция кричала
И гневалась жестоко на народ.
«Ах боже мой! Крумахер к нам идет!
Что это значит?» — жалобно сказала
Алина и хотела выйти вон;
Но в дверь стучат. Так точно,— это он.
И муж ее немедленно смутился,
Насупился и книгу отложил.
Крумахер величаво поклонился
И сел. Сначала он заговорил
О том, что хороша теперь погода.
Обыкновенно в это время года
Бывает грязь и дождик ливмя льет;
Что в городе сгорел свечной завод,
И сильный ветер пособлял пожару,
А затушить не можно было: тут
И заливные трубы не берут;
Потом он ловко перевел к бульвару
Свои слова и наконец довел
Их и до лип, а тут он перешел
И к липам Кнара. Нужно непременно
Их на бульвар, и скоро, перевесть,
Чтоб к сроку был готов он совершенно.
Князь приказать изволил! — Эта весть
Хозяину пришлася не по нраву:
Насилие, неуваженье к праву
Он видел в ней; Алина же чуть-чуть
Не обмерла, не смела и дохнуть;
Но Николай Богданыч приободрился,
Вскочил со стула, выступил вперед
И объявил, что лип он не дает,
Во что б ни стало. Он разгорячился
И ну твердить: «Где ж правда, где закон?»
Таким ответом крайне удивлен,
Крумахер скоро вышел. Очевидно,
Мирволил он аптекарю, щадил
Его: он с ним нимало не обидно,
Спокойно, даже мягко говорил,

И то сказать — Кнар человек известный,
Почтенный немец, говорят, и честный,
И многими уважен и любим:
Зачем его дразнить или над ним
Ругаться! Пусть живет благополучно.
Но вообще Крумахер был не так
Учтив, был груб и резок на кулак,
И речь его бежала громозвучно,
Как быстроток весенних, буйных вод,
Сердитый, пенный, полный нечистот.

А между тем аптекарь расходился.
Ведь сад — его, принадлежит ему,
Принадлежит по праву. Он решился
Лип не давать никак и никому.
Князь приказал! Князь человек военный,
Однако же, как слышно, просвещенный,
Он этого не сделает. О нет,
Ты лжешь, Крумахер! Завтра же чем свет
Иду сам к князю, смело, откровенно
С ним объяснюсь и липы отстою:
Я защищаю собственность мою!
Я прав и в том уверен несомненно.
И с этой мыслью Кнар пошел ко сну,
Поцеловав чувствительно жену.

3

Бузанский полицмейстер собирался
В объятия Морфея: он курил
Гаванскую сигару, раздевался
Прохладно и квартальным говорил:
Калинкину (Калинкин был вернейший
Его подручник, ревностный, грубейший;
Он мог назваться правою рукой
Крумахера): «Послушай, ты, косой,
Похлопочи, чтоб дело сделать с толком:
Ты должен непременно до зари
Управиться; а главное, смотри,
Чтобы все шло без шума, тихомолком.
Пожалуйста, получше все уладь!
А ты, Мордва, изволь-ка завтра встать
Пораньше да к Жернову отправляйся

С рабочими и вырой сотню лип —
И на бульвар вези их; ты старайся,
Чтоб корни были целы и могли б
Они приняться; выбирай прямые
И чистые деревья, молодые
И ровные, рабочих понукай
Как можно чаще,— наш народ лентяй,—
Ступайте же». Крумахер потянулся,
Прилег к подушке, раза два зевнул
Глубоко и приятно — и заснул,
И захрапел. Поутру он проснулся
До петухов. Лазурный неба свод
Был чист и ясен. Солнечный восход
Багряными, златистыми лучами
Блистательно его осиявал;
Багряными, златистыми столбами
Река блистала: ярко в ней играл
Прекрасный день. Вдоль берега туманы
Еще дымились; рощи и поляны
Сверкали переливною росой
И зеленели. Воздух, теплотой
И свежестью весны благоухая,
Был тих и сладок; жаворонок пел,
И благовест над городом гудел,
К заутрени протяжно приглашая
Благочестивый православный люд...
Крумахер встал и глядь: к нему ведут
Купца Жернова. «Это что такое?» —
«Лип не дает, кричит и гонит вон!» —
«Лип не дает! Нет, это, брат, пустое!
Ты лип нам дашь, ты мало, знать, учен:
Буянить вздумал. Ты не уважаешь
Начальников, полиции мешаешь!
Ах ты, разбойник! Мы тебя уймем».
(И ну его гордовым чубуком!)
«В тюрьму его! Там будет он смирнее —
В тюрьму его! Да насчитать ему...»
(И отвели несчастного в тюрьму.)
«А ты, Мордва, ты, право, не смелее
Моих индеек, баба, размазня!
Хорош квартальный,— ты срамишь меня!
Нет, у меня б Жернов не раскричался,
Не пикнул бы. Иди же ты назад!
Стыдись, братец, кого ты испугался?

Бородачей, купчишки,— плох ты, брат!
И больно плох, и время упускаешь
По пустякам. Иди же и, как знаешь,
Как я велел, все сделай поскорей,
Да, ради бога, будь ты посмелей!»
Мордва ушел. Работою живою
Давным-давно бульвар уже кипел,
На нем и ряд деревьев зеленел
Посаженных, и тенью их густою
Играл прохладный, вешний ветерок,
И падала роса их на песок.

Дышать прохладой сладостного мая
Пошла Алина; дети вместе с ней.
Кнар собирался к князю, размышляя,
Как он пойдет и просьбою своей
Предохранит свой сад от господина
Крумахера. Вдруг слышит крик; Полина
И Макс бегут, и плачут, и кричат:
«Папа́, папа́, иди скорее в сад;
Мама́ больна, в сад воры приходили
И взяли наши липы». Он бежит,
И что ж он видит: замертво лежит
Его Алина. Тот же час пустили
Ей кровь, да кровь едва-едва текла:
Несчастный муж!— Алина умерла!

Бульвар кипит работой. Горделиво
Князь и Крумахер смотрят на него.
И подлинно: все делается живо.
Помехи нет ни в чем, ни от кого.
Приехали и с липами Жернова,—
Сегодня же и садка вся готова:
Останется лишь разровнять песок
И поливать. Бульвар поспеет в срок,
И даже прежде срока. В самом деле,
Бульвар, еще до срока, в жаркий день
Уже манил гуляющих под тень
Своих ветвей... И не прошло недели,
Как и прелестный, райский князев сон
Сбылся точь-в-точь, каким приснился он.

1846

Жизнь
Николая Языкова
по документам,
воспоми-
наниям

Николай Михайлович Языков родился 4-го марта (ст. стиля) 1803 года в Симбирске. Отец Языкова, Михаил Петрович, зажиточный помещик и гвардии прапорщик в отставке, умер 52-х лет, в 1819 году; мать поэта, Екатерина Александровна, урожденная Ермолова, умерла в 1831 г.

(М. И. Семеновский. 1867.)

От племянника поэта Павла Александровича Языкова нам непосредственно известно, что поэт провел свое детство при родителях в родовом их имении селе Языкове Карсунского уезда Симбирской губернии, в 65 верстах от Симбирска.

(В. Я. Смирнов. 1900.)

В версте от большого московского тракта из Симбирска в Карсун (уездный город Симбирской губернии), на берегу реки Уреня, живописно раскинулось село Языково. <...> Барский деревянный дом красиво господствует над окружающею местностью, и с террасы его открывается обширный вид на соседние поля и перелески. <...> В два этажа, он построен отцом поэта Михаилом Петровичем в форме «покоя» с коридорами и двумя просторными для служб и приезда гостей флигелями. Со стороны сада фасад украшен семью колоннами дорического стиля и каменною лестницею. Двор обнесен решеткою с каменными столбами и параллельно постройкам обсажен вязами, образующими внутри тенистую площадку. <...> Из прихожей посетитель входит в довольно

обширный зал.<...> Каменная церковь круглой формы, как и соединенная с нею колокольня, окружена рядом колонн и отстоит от дома в недалеком расстоянии. Построена она, как и дом, отцом поэта, прах которого в общем семейном склепе покоится вместе с прахом жены. <...> В настоящее время от сада и его густой тени осталось очень немногое. Сохранились две-три аллеи акации, под горой несколько старых, доживающих свой век деревьев. Видны еще признаки прудов с островками и на одном следы беседки, а на другом почтенных размеров береза и ветла. Водоемы эти наполнялись свежею проточною водою из верхнего пруда, на берегу коего была оранжерея. Вода из прудов сбегала в реку Урень, который ниже, в свою очередь, был запружен и, прилегая к саду, образовывал ту светлую водную поверхность, обсаженную по берегам густою зеленью, о которой упоминается в стихах.

(В. Н. Поливанов. 1896.)

В 1814 году Языков... был отправлен в Петербург и определен для образования в Горный кадетский корпус. <...> Это было закрытое и притом высшее специальное учебное заведение. <...> При Горном корпусе основаны были низшие общеобразовательные классы с гимназическим курсом, причем ученики этих классов назывались кадетами, а в старших, специальных классах — унтер-офицерами. Общеобразовательные классы Горного кадетского корпуса подразделялись на три отдела: а) «Нижние кадетские классы», в которых изучались арифметика, русский, французский, немецкий языки и рисование; б) «Средние кадетские классы», в которых проходились русская грамматика, история, география, геометрия, алгебра, закон божий, латинская, французская и немецкая грамматики и рисование; в) «Верхние кадетские классы», в которых изучались ботаника, зоология, химия, математика, черчение планов, логика, риторика, российская история и география, поэзия, мифология, латинский, немецкий и французский языки. В специальных или унтер-офицерских классах кроме логики, риторики, немецкого и французского языков проходились специальные науки: металлургия, химия, пробирное искусство, геогнозия: маркшейдерское искусство и проч. Кроме того, воспитанников корпуса обучали музыке, пению, танцованию и фехтованию. <...> Языков был отдан в Горный

кадетский корпус потому, что в нем обучались старшие его братья — Александр Михайлович... и Петр Михайлович (1798—1851), впоследствии известный геолог, собравший в Симбирской губернии великолепную коллекцию окаменелостей и напечатавший несколько своих научных исследований по геологии.

(В. Я. Смирнов. 1900.)

На умственное развитие отрока Языкова имел большое влияние корпусный учитель русского языка Алексей Дмитриевич Марков. <...> Он давал частные уроки русской словесности Языкову. Знакомя своего питомца Языкова с классическими произведениями отечественной словесности, Марков... более всего заставлял его читать, изучать и даже переписывать стихотворения Ломоносова и Державина.

(В. Я. Смирнов. 1900.)

АТТЕСТАТ. Воспитывавшемуся в Горном кадетском корпусе пансионером Николаю Языкову в том, что он по представленному при определении его в Корпус свидетельству есть из дворян, сын гвардии прапорщика; от роду имеет 15 год; определен в Горный кадетский корпус полупансионером 9 октября 814, перемещен в пансионеры 1 генваря 1816 года, поступил в нижние классы, потом, переходя в средние, обучался в оных с успехами: очень хорошими — Поэзии, Французскому языку, Российской и Всеобщей истории, Ботанике и Зоологии; хорошими — Всеобщей географии, Физике, Химии, Фортификации и Архитектуре; довольно хорошими — Статистике, Частному Римскому и Российскому правам, Логике, Риторике и Минералогии; средственными — Высшей математике, Немецкому языку и Закону Божию; также обучался рисованию и танцованию. Но предположенного курса учения не окончил, а потому и не имеет права воспользоваться Высочайше дарованными ныне сему Корпусу преимуществами. Во время пребывания его в Корпусе был поведения хорошего. Ныне же по прошению из оного Корпуса уволен, во свидетельство чего и дан ему, Языкову, сей аттестат из Комитета Горного кадетского корпуса за подписанием присутствующих в оном и с приложением корпусной печати. СПб., августа 21 дня 1819 года.

Директор: Е. Мечников.
Командир: Петр Медер.

Надворный советник и кавалер: Карл Гец.

Обергиттенфервальтер: Гр. Остермейер.

«Общество в поощрение возникающих дарований молодого поэта, воспитанника Горного кадетского корпуса, помещает стихи сии в своем журнале».

(Примечание редакции к стихотворению Н. Языкова «Послание к К...у» // Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей российской словесности. 1819, т. 5, № 4, с. 90—93.)

Прошло недели две после приезда из Языкова, а учебные приготовления Николая Михайловича не подвигались вперед (он оставил институт и поехал на родину готовиться к поступлению в Петербургский университет.— *В. А.*). «Я никак не могу,— пишет он от 30.XI. 1820,— здесь (в Симбирске.— *В. А.*) заниматься». <...> Его приводит в отчаяние, что в той комнате, где он рассчитывал уединиться, идут толки о хозяйстве: о заводе, хлебе, винных бочках, отжигательницах и т. д. <...> Александр Михайлович написал Николаю Михайловичу, что с аттестатом из Горного корпуса можно поступить в Санктпетербургский университет. Николай Михайлович обрадовался этой возможности.

(Д. Н. Садовников. 1880.)

Летом 1821 года Николай Михайлович в Петербурге. «Давно, давно, и много прежде,— пишет он,— говорено было о намерении отправить меня в Дерпт; теперь этот план, может быть, исполнится в скором времени». <...> Тем временем в Петербурге: «Восемь человек профессоров, разумеется лучших,— пишет Николай Михайлович,— назначены к выгону... что ж после этого останется в университете, и зачем будет в оный определяться?»

(Д. Н. Садовников. 1880.)

Большая часть времени моего проходит в сочинении стихов. Проклятая страсть к поэзии! Я чувствую, что она много у меня отнимает хорошего, и, может быть, и всегда будет то же. Но что делать, пусть это так и останется.

Справедливо сказал Шиллер, что страсть к поэзии сильна и пламенна, как первая любовь. Не знаю, какова первая любовь, но совершенно чувствую справедливость этого выражения.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.X.1821.)

А. Ф. Воейков ввел начинающего юношу-поэта в свой литературный кружок. <...> Здесь Языков познакомился с бароном Дельвигом. <...> Воейков же убедил молодого человека отправиться для продолжения образования в Дерптский университет, снабдив его рекомендательными письмами. В конце 1822 года Языков прибыл в Дерпт.

(В. Я. Смирнов. 1900.)

Я прибыл сюда вчера в полночь; утром, по долгом искании, нашел Борга, который принял меня как родного и с которым я надеюсь заняться порядком. Наше (т. е. мое) путешествие было не совсем благополучно, особливо для меня: во-первых, мы простояли 12 часов в Ямбурге по причине остановки льда на Луге; во-вторых, со мною случилось то, чего еще ни разу не случалось по здешнему тракту. Вот в чем дело. Дилижанс забыл меня ночью в Геве, откуда я принужден был верхом 22 версты догонять моих товарищей; признаюсь, что никому не желаю иметь в жизни такую донкишотовскую ночку. <...> Передо мной ехал мой вожатый, который весьма торопил своего коня. <...> Я, как кажется, не простудился, несмотря на то, что имел хороший случай даже замерзнуть. <...> Сделайте милость, пришлите мне книг, напр. Блера или Лагарпа, и Корнеля с примечаниями. <...> Всего нужнее «Новые образцовые стихотворения», «Шильонский» и «Кавказский» пленники, ибо ими интересуется Борг. <...> Кажется, я скоро научусь здесь по-немецки. <...> Пришлите мне книг много, и нельзя ли купить хотя романы Вальтера Скотта. <...> Здесь совершенно другой мир, другие люди, даже наружность людей инаковая: все немецкое — табак и кофе.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.XI.1822. Дерпт.)

Воейков сильно мне покровительствует: он предварительно известил о мне своих здешних знакомых и родню, которые меня принимают с разверстыми объятиями. <...> Сердечно благодарен всем, кои подали мне смелую мысль переменить мою жизнь, вялую и унижающую внут-

реннего человека, на деятельную, благородную и прекрасную блестящими видами будущего! Я чувствую в себе большое преображение.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 13.XI. 1822. Дерпт.)

Завтра (воскресенье) приходит сюда петербургская почта: я надеюсь получить мои учебные книги. <...> Они совершенно обеспечат мои занятия, усилят мой язык в разговорах и, что всего лучше, объяснят некоторые места в стихотворениях Кёрнера, которого я уже и теперь читаю с большим удовольствием, а тогда буду даже переводить некоторые пьесы — разумеется, стихами — и присылать тебе. <...> Пришли Корнеля... я решился перевесть «Радогуну». <...> Сильно займусь латынью и немецким, и тогда давай бог чернил и перьев! <...> Пиши ко мне о театре: я очень желаю знать, что делается там, где я находил лучшее из удовольствий. Каратыгин, как помнится, очень хорош в «Сыне любви». <...> У него, точно, много таланта; жаль только, что природа не вовсе образовала его для театра: у него лицо не героическое, обыкновенное, незначительное — а это важная вещь для актера. <...> Кто ж будет учить Каратыгина, когда Катенин запрещен в столицах?.. Дай бог, дай бог ему Гнедича!.. <...> Борг готовит к изданию вторую часть своих переводов из русских авторов. Сделай одолжение... не забудь прислать Озерова и «Руслана». <...> Барону Дельвигу мое почтение. <...> Вальтер Скотт мне очень нравится; в его романах есть что-то новое, необыкновенное и много занимательного. <...> К этому письму прилагается мое новое стихотворение; если ты найдешь его хотя немного достойным бога, которому жертвуют поэты, то отдай Воейкову (стихотворение «Моя родина».— *В. А.*) <...> Ты советуешь мне сочинить что-нибудь поважнее; я сам давно об этом думал и уже начал пьесу, к которой приложу полное старание. <...> Заглавие этому большему из моих пиитических детей «Гаквин»: будет нечто скандинавское ...главное, например план, содержание — уже есть. Студенты, коим я рекомендовался от Воейкова, люди более светские, нежели образованные, и вовсе не пиитические; с ними невесело.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. XI.1822. Дерпт.)

Признаюсь, что иногда, разумеется от непривычки, моя голова кружится после ночных бдений, но это прой-

дет и ничего не значит перед пользою моральною. <...> Скоро я привыкну заниматься с такою же ревностию, как прежде отвыкал — и тогда давай бог ноги на Парнас, за седящею на высоте! <...> Пиши же о театрах, как обещал: часто ли ты видишь Семенову? и как идет у ней с Каратыгиным? За что запретили Катенина? и надолго ли? не вышел ли из печати его «Цид»? Если да, то пришли мне.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. XII. 1822. Дерпт.)

Сердечно благодарим молодого поэта за сей прекрасный подарок отечественной публике. Предсказываем ему блистательные успехи на поприще словесности. *Издатели.*

(Примечание А. Ф. Воейкова к стихотворению Н. М. Языкова «Языкову А. М., при посвящении ему тетради стихов моих», напечатанному в журнале «Новости литературы». 1822, № 2.)

Видел ли ты, какое великолепное примечание сделал Воейков к моему стихотворению? Ей-богу, это мне очень неприятно; его родня и знакомые мучат меня приветствиями слишком лестными... Сюда скоро будет и жена его; здесь говорят об ней как о явлении необыкновенном; посмотрю и напишу же. Перевощиков человек очень ученый по литературе... Я с ним хорошо познакомился. Он говорит про Пушкина, что в его поэмах видно большое дарование, но что они не имеют полного эстетического достоинства; что в поэзии так же, как в сапожном искусстве, труднее скроить верно, чем сделать хороший рант.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 12.XII. 1822. Дерпт.)

Ты ошибаешься, думая, что твои строгие суждения о стихах моих мне неприятны — совсем нет: я во всем с тобою согласен; знаю, что моя Муза еще так молода, что часто завирается. Перевощиков точно то же говорит мне о моих сочинениях; говорит, что у меня не все свое, но что есть много и собственно мне принадлежащего. <...> При первой денежной возможности ты пришлешь мне *Историю* Карамзина... Пришли *Сокращенную русскую историю* Строева — она есть у нас — и какую-нибудь *Логику*, хотя Якоби... Также *Всеобщую историю* Кайданова.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 17.XII. 1822. Дерпт.)

Напрасно думаешь ты, что похвалы Воейкова могут испортить меня; я им вовсе не верю, ибо знаю, что такое Воейков вообще и что в особенности журналист, который нуждается в материалах... Вовсе не раскаиваюсь в моих чувствованиях к старине русской; я ее люблю и не согласен с тобою в том, что она весьма бедна для поэта; где же искать вдохновения, как не в тех веках, когда люди сражались за свободу и отличались собственным характером? Притом же воспевать старинные подвиги русских — не значит перелагать в стихи древнюю нашу историю; историческое основание не помешает поэту творить и, напротив, придает еще некоторую особенную прелесть его вымыслам, усиливает его идеи. <...> Я еще темный человек в эстетике и сужу о поэзии только по инстинкту. <...> Я хочу написать небольшую повесть в стихах, которой содержание будет взято из древней русской истории. Перевощиков мне советует исполнять мои пиитические обещания... В моем ремесле посредственность не годится; испытаю свои силы, и если увижу, что я не в состоянии догнать славу, то брошу поэзию и буду — не знаю чем... Буду писать несколько месяцев для практики и не печатать... Я уже начинал было кое-что переводить из Кёрнера, но, ей-богу, не могу — и вот почему: когда я хочу выразить мысль чужую, то мне в ту же минуту представляется собственная, и я уже думаю о своей. <...> Я давно получил басни Крылова, и Борг перевел уже из них несколько... его переводы чрезвычайно близки. <...> Говорят, вышла «История Малороссии» Каменского; пришли мне ее при случае. Вот еще что: не вышли ли *Древние русские стихотворения* Цертелева? Мне их будет нужно, даже издание оных Калайдовича... Пришли поскорее «Цида» и альманах: мне весьма и тот и другой любопытны... Читал ли ты новую пьеску Пушкина «К войне»? Стихосложение, как всегда, довольно хорошо: зато ни начала, ни середины, ни конца — нечто чрезвычайно романтическое...

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20. XII. 1822. Дерпт.)

Книги от тебя я получил. <...> «Сида» я тоже получил... нашел только 11 стихов, достойных Корнеля... Зато сколько истинной тредьяковщины, сколь противуязычия, даже странностей в словоковеркании?.. Жаль, что теперь не имею Корнеля: я бы перевел что-нибудь из «Сида» для спора с Катениным; мне жаль этого благородного

рыцаря, когда он изъясняется слогом Василия Кирилловича. <...> Пришли... «Опыт о русском стихосложении» Востокова.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27. XII. 1822. Дерпт.)

Пришли же мне *Историю* Карамзина и, если можно, собрание русских сказок Чулкова: это важная вещь для меня, не так ли? Да не так, скажешь ты. Но оставим до поры спор об русской старине, которая так не по нутру твоей филантропии.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.I. 1823. Дерпт.)

«Полярная звезда» мне очень понравилась: это большое похищение у журналистов наступившего 1823 года; только не по нутру мне суждение Бестужева о русской литературе; он присвоил себе право судить об том, что, кажется, гораздо выше градуса его познаний, как ни притворяется заслуженным воином сей бирюч нашей прозы и поэзии. <...> Я живу теперь на другой квартире, тоже подле Борга, только с другой стороны... Комнатка очень малая и в полном смысле на чердаке... А лестница совершенно пиитическая: узка и крючковата, как дорога к Парнасу. Мне очень нравится мое уединенное жилище; заглядеться некуда: окно на двор, заставленный дровами, а загуляться по комнате даже невозможно, ибо надобно было бы поворачиваться после каждых двух шагов. Ярманка здесь уже началась... Я куплю себе только одно маленькое бюро и запас табаку: первого здесь прежде ярманки не мог я найти, а второй теперь дешевле... Вложи при случае в одну из отправляемых книг портреты Державина (не старческой) и Семеновой... это будет висеть на стене моей комнаты и развеселять мои уединенные занятия.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 10.I. 1823. Дерпт.)

Ах, если бы ты знал все мои литературные планы! Но они, по большей части, так значительны, что моя Муза еще не смеет за них вполне приняться. <...> Ты сильно восстаешь на «Полярную звезду». Мне кажется, в ней есть и хорошее, например — большая часть стихов Жуковского, Гнедича; а проза далеко отстала от поэзии, особенно дрянь «Письма» Греча: ни мыслей, ни интересу, ни даже порядочного слога! Не забудь же прислать

мне «Историю» Кайданова и «Географию» Арсеньева: это необходимо.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.I. 1823. Дерпт.)

Я не участвую ни в балах, ни в собраниях, ни в танцах, ни в фантах; мне кажется, что, танцуя, вытряхаешь ум из головы: этому примеров очень много.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 29.I. 1823. Дерпт.)

Немецкий язык есть истинно алмазный ключ к прекрасному и высокому. Я еще не вовсе могу пользоваться этим ключом. <...> Мы с Боргом переводим на немецкий из «Истории» Карамзина; сверх того у меня остается мало времени, потому что я занимаюсь еще латинским, историею... и даже математикою.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.II. 1823. Дерпт.)

Н. М. ЯЗЫКОВУ

СОНЕТ

Младой певец, дорогою прекрасной
Тебе идти к парнасским высотам,
Тебе венок (поверь моим словам)
Плетет Амур с Каменой сладкогласной.

От ранних лет я пламень не напрасный
Храню в душе, благодаря богам,
Я им влеком к возвышенным певцам
С какою-то любовию пристрастной.

Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и грусть и наслажденье,
И первый я его услышал пенье

И за себя богов благословил,
Певца Пиров я с музой подружил
И славой их горжусь в вознагражденье.

А. А. Дельвиг. 1822.
Труды Общества любителей российской словесности, 1823, кн. 1

Поблагодари от меня Дельвига за сонет, ко мне адресованный. <...> Скажи почтенному барону, что я поста-

раюсь ответить тою же, хотя не одинакой, низшей пробы, монетою на его сонет. <...> Я теперь только начал читать романы Вальтера Скотта... мне кажется, что они скоро могут наскучить всегда однообразным способом автора изображать характеры и приготовлять издалека неожиданные происшествия. Пришли мне Ламартина: он, кажется, есть в моем шкафе... Торжественно и радостно объявляю тебе,— что бы ты думал?.. я читаю «Дон Карлоса», «Дон Карлоса»!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 11.II. 1823. Дерпт.)

Знаешь ли, какое действие надо мной произвел даже один еще «Дон Карлос» Шиллера? Я решился быть трагическим поэтом; напишу одно явление и пришлю тебе на пробу: ты скажешь мне или *ну,* или *стой* — первое толкнет меня вперед, а последнее совершенно своротит мою пиитическую телегу с шоссе трагедии. Мне кажется, что из всех слав поэта, слава поэта-трагика яснее, блистательнее и обширнее... выключая эпопеи.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. Февраль 1823. Дерпт.)

Он был всех нас богаче: ему доставляли из дому ежегодно, кажется, до 6 тысяч рублей... Из нас редкие могли проживать тысячи полторы или две в год, а многие казенные стипендиаты довольствовались 400 руб. асс. Несмотря на это, у Языкова никогда не было денег. <...> При получении денег он тотчас же раздавал их своим заимодавцам и снова жил на пуф, т. е. в долг. Некоторые из его приятелей брали чай, сахар, а главное — ром и вино, на его счет, по его к купцам запискам, а иногда и без записок. Поэтому он жил совершенно буршем: на квартире его были такие же березовые плетеные стулья, крашеные кровать и столы, как и у всех нас; он носил всегда очень поношенный мундирный сюртук и студенческий плащ, или так называемый воротник, не доходящий до колен, который обыкновенно во время зимы пристегивается к студентской шинели, но у Языкова шинели не было, и в сильные морозы ходил он в одном воротнике, так же как и летом. Бывало спросишь его: «Что ты давно не писал к своим в Симбирск?» — «Нет денег; дай двугривенный, так напишу». Как-то раз нанял он комнату без отопления; дров обыкновенно в долг не давали, но он заменял их водкою. <...> Надобно сказать, что Языков вообще не выносил теплых комнат: от полнокро-

вия ему всегда было жарко, и он начинал уже страдать головными болями. При нем был крепостной человек, под названием Чухломской, который обращался с ним очень нецеремонно: часто пропадал на целый день, оставляя Языкова без обеда и чая. <...> Мало того, что этот Чухломской не приносил ему никакой пользы, но Языков часто платил за него трактирные долги. <...> Вообще Языков не был словоохотен, не имел дара слова, редко вдавался в прения и споры и только отрывистыми меткими замечаниями поражал нас. Мы все его любили за его редкую доброту и гордились его поэтическим талантом, ожидая от него нечто великого. Сам он редко говорил о своих стихах и не любил читать их. <...> Все его стихи, даже самые ничтожные, выучивались наизусть, песни его клались на музыку и с любовью распевались студенческим хором. Вообще без Языкова наша русская, среди немцев, колония, слушая немецкие лекции, читая только немецкие книги, была бы совершенно чужда тогдашнему литературному в России движению, но он получал русские журналы, альманахи, вообще все новое и замечательное в русской литературе.

(А. Н. Татаринов. 1870-е.)

Я очень хорошо познакомился с Жуковским... Он меня принял с отверстыми объятиями (в обоих смыслах), полюбил как родного; хвалил за то, что я не вступил в университет в начале текущего года, ибо (по словам его, а я им верю) чем дольше пробуду в Дерпте, тем больше и проч. Он мне советует, даже требует, чтобы я учился по-гречески; говорит, что он сам теперь раскаивается, что не выучился, когда мог. <...> Жуковский очень прост в обхождении, в разговоре, в одежде, так что, кланяясь с ним, говоря с ним, смотря на него, никак не можно предположить то, что мы читаем в его произведениях. <...> Сюда еще приехал один ежели не поэт, то большой стихотворец: кто бы ты думал? Илличевский.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.III. 1823. Дерпт.)

Здесь случилось происшествие, неприятное почти целому городу: умерла от родов сестра Воейковой, жена профессора Мойера... Она была женщина чрезвычайно хорошо образованная. <...> Я пишу стихи на ее смерть.
(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 21.III.1823. Дерпт.)

Вчера был у Жуковского; он необыкновенно печален вследствие смерти г-жи Мойер, проживет здесь еще с месяц: итак, я надеюсь иногда проводить это время довольно приятно; он со мной обходится очень дружественно, и я даже не знаю, чем заслужил такую его благосклонность.

(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 10.IV. 1823. Дерпт.)

Я видел его тогда у братьев в вакансии. <...> Ходил я к братьям Языковым, собранным тогда вкупе. Жили они тогда в Конюшенной улице, в чересчур неприхотливой квартире с окнами на двор. <...> Двое старших, Петр и Александр, начали и кончили свое образование в Горном кадетском корпусе. <...> Из всех трех только старший, Петр, занялся серьезно науками... Но Петра Языкова тотчас по выходе его из корпуса с чином гиттенфервальтера обуяла страшная лень и навела на него спячку. По целым дням лежал он, бывало, в халате на своем диване той обширной комнаты, в которой также на диванах проживали, вернее сказать — пролеживали свои дни — и два меньшие брата. Но два последние ежедневно выходили на божий свет из этой норы. <...> Образ жизни их всех был самый оригинальный. После отца осталось им огромное состояние, но ни один из них им не пользовался как бы следовало, не то чтобы по скупости, а по одной присущей им лени, лишавшей способности чего-либо захотеть или иметь для собственного комфорта. Так, например, прогнав от себя спившегося крепостного поваренка, обедали они из ближайшего русского трактира, скорее харчевни; ленивый же их собственный слуга приносил им поесть без разбора, что попадется; мне, часто у них обедавшему, очень редко случалось есть за их столом что-нибудь хорошо поданное и не совсем простылое. Когда, бывало, уговоришь Петра после долгих усилий подняться с дивана и выйти на божий свет прогуляться, сонный слуга Моисей почти целый год времени употреблял на чистку платья и сапог, чтобы одеть своего барина. Платье его по целым неделям бывало не чищено, и выходил он обыкновенно из своих трущоб, осыпая бранью возмутителей его покоя. Александр Языков... менее поддавался комнатной халатной жизни, погружался в глубокомысленное чтение и, если не ошибаюсь, брал частные уроки у трех замечательных тогда петербургских

профессоров — Германа, Арсеньева и Галича. <...> Профессор Галич даже посвятил своему ученику Александру Языкову книгу о философии. <...> Петра Языкова, как отличного воспитанника, в котором министерство финансов хотело иметь дельного человека, причислили к департаменту, обещали ему видное штатное место, но он выпросился в отпуск в симбирское свое имение, совсем позабыл про свою службу, и, что всего курьезнее, его служба забыла про него на целые десять лет. По приезде в Симбирск его женили — кто и как — вряд ли и он сам про то знал — в семье генерала Ивашева, на сестре декабриста этой фамилии, девушке образованной и решительной.

(Свербеев Д. Н. Записки. Т. 2. 1899.)

Благодарю за Томаса Мура. Особенно *мелодии* его мне нравятся и вовлекают меня в соблазн сделать то же для русских песен. <...> На днях начну учиться по-гречески.

(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 1.VIII. 1823. Дерпт.)

Моя переборка на новую квартиру задержала мой ответ на ваше письмо. Вот вам некоторое понятие об новом моем местопребывании: оно в лучшей части города, два окна на площадь, комната светла, опрятная, не на чердаке, и я в ней расположился очень удобно и совершенно в своей тарелке; главная же выгода ее в том, что она весьма близко от университета. <...> Петр меня спрашивает: как читает лекции Паррот? Это человек необыкновенной учености, сильно любящий свою науку; говорит весьма точно и весьма пространно... часто возвышается даже до поэзии... при всякой оказии делает опыты; жаль только, что их видят из 150 человек не более 30: для этого сделана в физическом кабинете маленькая загородочка, и когда обступят его кругом (а студентов большая часть длинных), хоть брось глаза, так ничего не видишь, ежели не успел сперва соскочить с лавки. Он сидит во время лекции весьма торжественно: на высокой довольно кафедре, под бюстом Невтона, и при всякой оказии обращается к нему с вопросом, с сильными выражениями. Мне весьма понравились его уроки; я Петру обещаюсь прислать сюрпризом его «Разговоры о физике»; в следующем семестре он, кажется,

будет читать физику земли: говорят, что это чрезвычайно любопытно.

Всех более из профессоров меня восхищает Эверс; его лекции составляют самую приятную, можно сказать амврозическую, пищу моего ума: читает просто, ясно и необыкновенно выразительно; его искусство выражать характеры людей очень сильно. Когда он говорил об Годунове, то я признаюсь, что до тех пор никогда не думал, чтоб можно было так подействовать на мое воображение рассказом очень простым. Достойно замечания, что он признает Димитрия I Иоанновича самозванцем. Теперь я вижу, что эпоха самозванцев может служить богатым предметом для историка, и жду с нетерпением Карамзина; эта же эпоха может дать хорошие материалы для романиста исторического, потому что нравы сего времени необыкновенно ясны в русской истории, а происшествия самые романтические. Одно суеверие русских во всякого нового самозванца — может быть, изображающее их даже любовь и почитание к царской крови,— есть уже сокровище для искусного пера.

Перевощиков читает историю русской словесности... и очень хорошо: он человек копотный, рассказывает всю подноготную ясно и даже иногда красноречиво. Язык русский — по крайней мере, на словах — знает очень хорошо и никогда ни на шаг не отдаляется от своего предмета. <...> Он меня избавил добровольно от двух лекций в неделю, когда он занимается с студентами переводами на русский с немецкого, и переводами довольно мелочными, и для того, чтобы я лучше занимался в это время стихотворениями; он мне даже дал тему на некоротенькое сочинение: это — представить Баяна на развалинах Владимира во время татар (а почему же Владимира?), мечтающего о прежней славе России, сетующего. <...> Он предлагает мне подражать в сем случае Грею, который написал в этаком же случае «Барда» и не взял его с собою в храм бессмертия, по суду критиков,— и мне подражать этому утопленнику в Лете! <...> По совету Перевощикова тут должны быть изображены характеры просто, с историческою, с математическою точностию, а это выйдет в стихах (хотя бы и возможно лучших) краткая русская история. <...>

У меня с Воейковой теперь весьма сильная дружба, и не знаю, почему именно теперь это случилось. <...> Я ей показываю и даже вписываю в альбом мои стихи.

<...> Пришли мне «Братьев-разбойников»... я тебя отблагодарю за это неожиданною присылкою запрещенной книги.
(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 29.VIII. 1823. Дерпт.)

Я написал еще около десятка студентских песен: они, ей-богу, не стоят ни переписания, ни весовых денег, как ни малозначительны последние. Впрочем, ежели вам любопытно видеть мою музу и в бархатной шапке, с дубовою ветвию, то напишите только: пришли — и пришлю.
(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 9.IX. 1823. Дерпт.)

Я теперь чрезвычайно занят все-таки язычными занятиями. Ежедневно имею два урока приватных по сей части, т. е. либо греческий и латинский, либо греческий и немецкий, так что у меня остается не более двух часов в день на занятия сладчайшие, несмотря на то, что ложусь довольно поздно и встаю рано. Все время проходит в учении слов, грамматике и приготовлении переводов. Стихов писать вовсе некогда. <...> Жаль, что я теперь не излишне богат деньгами. Здесь представляется прекрасный случай купить дешево хороших книг на многих языках: через несколько дней будет аукцион библиотеки в прошлом месяце умершего профессора Лампе. <...> Я постараюсь как-нибудь перевернуться по сему случаю.
(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 26.IX. 1823. Дерпт.)

Из русских Параше я предлагаю читать хотя Карамзина, Жуковского повести... Здесь носится слух, что новое издание стихов Жуковского скоро кончится печататься — так это бы и купить для ней. Прошу тебя, займи ее особенно Крыловым: это такой автор, которого нельзя довольно хвалить и который всех настоящих и прошедших поэтов русских умнее. Пусть она учит его наизусть.
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 3.X. 1823. Дерпт.)

Пушкин, как слышно здесь, написал еще две или три поэмы; пришли мне их имена. <...> Замечу вам мимоходом и на ухо, что я, грешный, не понял в отрывке из

Пушкина, присланном мне Погожевым, что значит стих: «Где под влиянием луны...»,— не можете ли вы как-нибудь, проселочною дорогою, узнать, что выражается этою романтико-темною загадкою? Только, пожалуйста, ни гугу, что я это желаю знать: ибо тогда мои самозваные пестуны причислят меня к школе староверов и могут лишить своего благорасположения.

(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 10.X. 1823. Дерпт.)

На днях попались мне твои прелестные сонеты — прочел их с жадностью, восхищением и благодарностью за вдохновенное воспоминание дружбы нашей. Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной Музе Баратынского.

(А. С. Пушкин — А. А. Дельвигу. 16.XI. 1823. Одесса.)

Езоповы басни я получил давно. <...> Я намерен купить все переводы с греческого Мартынова: они, как кажется, очень близки к подлинникам и, следственно, могут быть мне очень полезны. Державин с примечаниями и неимение оного до сих пор у меня подстрекают мое желание подписаться при возможности. <...> Я должен выписать из Петербурга «Историю средних веков» Рюса и «Статистику» Гасселя. Эверс по ним читает, а их все-таки никогда нет в лавках.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 15.I. 1824. Дерпт.)

Вы напрасно ужасаетесь при чтении описания моих студентских приключений: они на меня не имеют почти никакого влияния. Мне при начале моего вступления в университет было гораздо труднее самостоятельствовать, чем теперь: тогда нужно было наблюсть большую политику, не удаляться и не очень приближаться к студентам; теперь же они меня любят, но узнали, что мне не так-то нравятся их пьяные забавы и проч. Говорят, что у меня характер слишком тих для участвования в полной мере во всех их делах. Короче, я умел (и это вещь важная) поставить их от меня в почтительном отдалении. При сем помогла мне несколько и молва о моих поэтических талантах: так, например, часто то, за что с другим была бы дуэль, мне извиняется как поэту, с которым званием, они думают, сопряжены обыкновенно некоторые странности. <...> Измайлов мне уже начал

присылать «Благонамеренный»; он пуст, как безвоздушное пространство; зато, как говорит Очкин, сколько бумаги для подтирки!.. Я едва ли не подпишусь при возможности и на «Мнемозину», что в Москве издает с кем-то Кюхельбекер. Слышно, что у Булгарина откроется война с Вяземским: ибо последний (каналья!) в биографии Дмитриева предпочитает его Крылову; это безбожно и безвкуспо.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 3.II. 1824. Дерпт.)

Что касается до меня по части сердечных чувствований, то вот что я сам в себе заметил: в то время, когда здесь нет Воейковой, я охотно посещаю Дирину, пишу даже ей стихи и вообще чувствую что-то ни на что не похожее; но Воейкова приезжает сюда всякий раз для меня торжественно; при ней все прежнее исчезает во мне, как снег перед лицом солнца, и я делаюсь частым ее зрителем и посетителем. <...> Вчера был я у Воейковой, и она взяла с меня обещание кончить моего *Баяна* к 17 мая; я уверен, что употреблю все старание исполнить требование особы во всех смыслах прекрасной. Не знаю, успею ли в этом, но ты сам согласишься, что существуют такие уста и такая очаровательность взгляда, которым ни в чем настоящем и будущем отказать невозможно. <...> Мои занятия идут хорошо; через неделю начну читать Гомера. <...> Мне жаль, что я имею очень мало времени для знакомства с немецкою литературою; представь себе: от 8 утра до 1 ч в университете, от 3 до 4 урок латинский или немецкий (не чтение, а письмо на немецком), от 4 до 5 опять в университете, от 5 до 6 греческий (четыре раза в неделю); итак, мне почти каждый день должно приготовляться к двум урокам. <...> Когда писать стихи, без которых — что я такое? и для которых, как ни говори, а я сам чувствую, непременно нужен большой навык — не то они будут и не плавны, и трудноплавки? Воейкова привезла сюда известие, что X и XI томы «Истории» Карамзина скоро выйдут (я уже подписался), что сочинения Жуковского, новое издание, тоже почти готовы. <...> Ты, верно, видел в «Новостях литературы» на нынешний уже год мои элегии.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.II. 1824. Дерпт.)

Я читал в списке весь «Бахчисарайский фонтан» Пушкина: эта поэма едва ли не худшая из всех его

прежних; есть несколько стихов прекрасных, но вообще они как-то вялы, невыразительны и даже не так гладки, как в прочих его стихотворениях. Что-то каков будет его роман в стихах «Евгений Онегин»? Его тоже, как и «Бахчисарайский фонтан», вперед расхваливают: чтобы тоже не обмануться! Читал ли ты новую басню Крылова «Кошка и соловей»? Прелесть: видно, что его воображение не охладело от лет, не так, как у Дмитриева. <...> Ты писал мне, что тебе кажется нынешняя «Полярная звезда» хуже прошлогодней,— да и в той что же было слишком хорошего? Если у тебя с собой Шиллер, то сравнивал ли ты перевод Жуковского из 4 действия «Орлеанской девы»? Русские стихи прекрасны, сильны и живы, но всё не то, что шиллеровские, в которых видно гораздо более вдохновения и поэзии высочайшей. <...>

Стихи льются, когда пишешь для понимающей прекрасной особы; я тоже пишу и для других красавиц, но они редко меня понимают или совсем меня не понимают и всегда хвалят, между тем как я чувствую, что они не чувствуют,— и тогда я не трубадур, а труба дур! <...>

У меня есть в голове план для небольшой или, может быть, большой поэмы; это именно «Баян»; начало вы читали; за ним должно следовать сражение: герой поэмы — певец и воин — остался раненый на поле битвы; его берут в плен, везут в Византию; он служит в греческом войске императору, сражается в Сицилии, в Италии, и возвращается после, венчанный славою, в Киев, где находит свою любезную изменницею; он бросается в Днепр — и конец! Может быть, этот план покажется вам слишком простым или слишком романтическим, но мне хотелось бы описать нравы тогдашних греков, Сицилии и проч.; это прекрасный предмет для хорошей музы, но для этого надобно бы прочесть целого Лебо и Гиббона... Теперь же могу только написать одно сражение. <...> Между тем жду с нетерпением X и XI томов Карамзина; в них-то, судя по IX, должен явиться он в полном блеске: один Годунов есть уже предмет, достойный пера красноречивейшего, а сам Перевощиков говорит, что красноречие есть свойство Карамзина. <...> В этих двух томах — богатый источник для драматической поэзии. Едва ли не можно из Годунова сделать трагедию, подобную «Валленштейну» Шиллерову. О господи! как бы мне поскорее кончить изучение греческого и латинского языков, прочесть Шекспира, Кальдерона и Гете и

еще раз Шиллера! <...> Или всё — или ничего, мои почтеннейшие! В поэзии всего несноснее посредственность; веселее читать Хвостова — тогда, по крайней мере, смеешься,— но читать какого-нибудь Плетнева, Туманского и многих других — это скучно как нельзя больше: что называется, ни молока, ни шерсти — ни большого ума, ни большой глупости!

(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 2.III. 1824. Дерпт.)

Вчера получил я X и XI томы «Истории» Карамзина и теперь с жадностью читаю эти любопытства, полные доказательства великого таланта нашего Ливия. Дай бог, чтоб он, сколько можно, продолжал писать русскую историю, хотя бы до смерти Петра; впрочем, Эверс говорит здесь, что он сам слышал от Карамзина, что последний намерен кончить свой труд началом Романовых дома; жаль, да и почему бы, кажется, не писать ему и первых двух царствований этой венчанной фамилии?

(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 23.III. 1824. Дерпт.)

Теперь занимаюсь чтением Ливонских историй, чтоб поближе познакомиться с нравами и обыкновениями рыцарей, долженствующих явиться в свет русской литературы в стихах моей музы. Жаль, что не имею «Истории крестовых походов» Мишо: в ней, верно, мог бы я найти много для меня теперь нужного, а ее нет в здешней университетской библиотеке. <...> Я скорее брошу в жизни все, что можно бросить, чем стихи. Хороши ли, худы ли они — только я счастлив, когда пишу их, пишу много — следственно, часто бываю счастлив, а этого и довольно для меня. <...> До сих пор я мог делать, что хотел... потому что не живу под началом, а имею особенную комнату, в своих руках деньги и окружен теми же студентами, которые и после будут мне товарищами, но не сделался ни пьяницей, ни дуэлянтом, ни и проч.

(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 6.IV. 1824. Дерпт.)

Помнишь ли, как хвалил Гофман здешнего профессора филологии Моргенштерна? Я его уже три месяца слушаю; предмет очень любопытный — римские древности, но он так скучно, так вяло, так педантически и при-

том несвязно (часто начнет период — и не кончит, заговорит об Фоме, а кончит об Ереме) читает, что, ей-богу, очень, очень трудно постоянно его слушать; видно, что его ученость — обширнейшая, но еще виднее, что он не умеет ее хорошо употреблять и, чего совершенно нельзя ожидать на лекциях, слишком занят собою: причесывается как Иисус Христос, выговаривает слова как-то нараспев и чрезвычайно многословен, при всей начитанности древних, столь чуждых этого порока. Эверс теперь читает нам историю средних веков — и читает в прямом смысле слова по Дрешу, которого я имею. Видно, что в этих лекциях он, так сказать, не господин своего дела — не то, что в русской истории прошлого года; тогда его слушали с жадностью, и комната была как полная чаша, а ныне чуть хороша погода — того и гляди, что сидят перед ним человек десятка два. <...> В нынешнем семестре мне очень нравятся лекции географии проф. Энгельгардта: тут дело идет не о городах, морях, реках и болотах, а об нравах, обыкновениях, вере и проч.; не знаю, что будет дальше: до сих пор все продолжается об Азии. <...>

Я уже получил от Слёнина «Бахчисарайский фонтан» (какое глупое предисловие!). Прежде читал я его в списках, и при этом в женских, а женщины не знают ни стопосложения, ни вообще грамматики — и тогда стихи показались мне, большею частию, не дальнего достоинства; теперь вижу, что в этой поэме они гораздо лучше прежних, уже хороших. Жаль, что Пушкин мало или, лучше сказать, совсем не заботится о планах и характерах и приводит много положений совсем ненужных и лишних: напр., зачем сидит Гирей? зачем так много рассказывать об евнухе? зачем купаются жены Гирея? Притом характер несколько ясный только один — Марии, а важнейшие лица, сам хан и Зарема, один вовсе не изображен, а другой чуть-чуть, а этого мало для полного прекрасного целого. Впрочем, какая красота в описаниях, какая живость красок! <...>

Очень рад, что у тебя есть «Путешествие в Тавриду» Муравьева-Апостола; я прочту его, когда приеду к вам: в нем должно быть много остроумия и истинной учености. Жуковский подарил мне новое издание своих стихотворений; я очень рад: это доказывает нечто для меня не худое и сохраняет в моем кармане тридцать рублей денег. Слепец Козлов сочинил новую и очень длинную

балладу «Венгерский лес»; она здесь ходит по русским рукам, писанная; женщины ею восхищаются, а мне кажется (несмотря на женщин), что это просто дрянь: рассказ вял и слишком подражателен Жуковскому; впрочем, есть несколько довольно сильных стихов. <...>

Я еще написал нечто для «Северных цветов» Дельвига и отправляю ему сегодня. <...> Теперь я буду составлять план для моей повести о ливонских рыцарях; я в Симбирске, т. е. в деревне, займусь его исполнением: там, верно, буду иметь более предметов и причин для вдохновения. <...> Я теперь читаю «Эмилию Галотти» Лессинга и критику на нее Энгеля; та и другая мне чрезвычайно нравятся.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 12.IV. 1824. Дерпт.)

Спешу порадовать весточкой. На сей неделе молодой Лев Пушкин получил письмо от славного своего брата из Одессы. Он читал нам его при Ник. Дмит. Киселеве. Наш Бейрон восхищается вашими стихами и пророчествует вам мирты, розы, лилии и вечнозеленые лавры. <...> Между тем издатель *Полярной звезды* и издатель *Северных цветов* задразнили меня: вы им, вместо крашеных яиц, прислали прекрасных стихотворений, а мне ни яичка, ни гостинчика. За что я, древнейший и лучший друг вашей Музы, нахожусь у вас в опале? Порадуйте какою-нибудь пригоженькою игрушечкою! а между тем позвольте напечатать стихи к маленькой Кате Мойеровой, которые читал я у Александры Андреевны.

(А. Ф. Воейков — Н. М. Языкову. 21.IV.1824. СПб.)

Вчера приехал сюда Жуковский и с ним Батюшков; последний будет здесь лечиться. Дай бог ему возврата на прежний путь, а есть надежда: здесь медики знатные; недавно уехал отсюда здоровым тоже сумасшедший — один флигель-адъютант государя. <...>

(Н. М. Языков — А. М. и П. М. Языковым. 11.V.1824.) Дерпт.)

Новостей литературных я мало знаю. Слышно, что Пушкин прислал в Петербург 1 часть своей поэмы в роде «Шильдгарольда» и «Дон Жуана» — «Онегина», что оная заключает описание Крыма и Бессарабии. «Цветы» Дельвига расцветут для публики с будущего года. Рылеев кончил своего «Войнаровского» и скоро напечатает. Знаешь

ли, что лорд Байрон умер? Я недавно читал его трагедию «Сарданапал» — и от нее в восторге. Читал также и «Каина», но он на меня не сильно подействовал. Здесь теперь Жуковский, он завтра едет в Петербург. Батюшков же отправляется в Германию, в Зонненштейн, где какой-то известный лекарь имеет целый пансион сумасшедших и их вылечивает. Здешние медики отказались от него. Воейкова прислала мне прекрасную белую книгу для стихов моих: ее возьму с собою и буду пополнять в Симбирске, где надеюсь ревностнее заняться моею Музою.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 24.V.1824. Дерпт.)

Я совершенно готов к отъезду. Все дела мои приведены в порядок; выписки из Ливонских летописей оканчиваются и поедут со мною к вам, где Муза моя, опираясь на них, надеется сочинить повесть. <...> Вот тебе стихи мои, под заглавием: *Муза...*

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.VI. 1824. Дерпт.)

Языков — молодой студент Дерптского университета — имеет слог поэтический; он еще не написал ничего важного, но во всем, что написал, видно дарование истинное, настоящее.

(Жуковский В. А. Обзор русской литературы 1823 года. Написано в 1824-м.)

«Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой. <...>»

Уговори Языкова да отдай ему мое письмо; так как я под строгим присмотром, то, если вам обоим за благо рассудится мне отвечать, пришли письма под двойным конвертом на имя сестры твоей Анны Николаевны.

(А. С. Пушкин — А. Н. Вульфу. 20.IX.1824. Михайловское.)

Александр Сергеевич вручил мне это письмо... Отдай тут вложенное письмо Языкову и, ежели можешь, употреби все старание уговорить его, чтобы он зимой сюда приехал с тобой. Пушкин этого очень желает... Просит ответ от Языкова скорее.

(Анна Николаевна Вульф. Приписка к предыдущему письму.)

К ЯЗЫКОВУ

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе.
Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой
И возвратился б, оживленный
Картиной беззаботных дней,
Беседой вольно-вдохновенной
И звучной лирою твоей.
Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни.
Услышь, поэт, мое призванье,
Моих надежд не обмани. <...>

(А. С. Пушкин. 20. IX. 1824. Михайловское.)

Юный, вдохновенный певец отечественных доблестей, Языков, как веселая надежда, пробуждает в сердце вашем прекрасные помыслы. Он исполнен поэтического огня и смелых картин. Слог его отсвечивается красотами первоклассных поэтов. Его дарование быстро идет блистательным путем своим. Он сжат, ровен и силен. Чистота души и ясность мыслей пленительны в его стихах.

//(Плетнев П. А. Письмо к графине С. И. С. 1824// Северные цветы на 1825 г.)

Теперь я сильно занимаюсь Ливонскою историею: читаю, выписываю, справляюсь и, кажется, скоро буду в состоянии писать о меченосцах, как господин своего предмета. <...> Моя Муза — слава богу... послал я Бестужеву мое первое чувство по прибытии в Дерпт <...> теперь посылаю Бестужеву же отрывок из повести «Разбойники»:

пусть она никогда существовать не будет целиком, но мне легче было написать несколько стихов к началу, сделанному в Симбирске, чем писать вовсе новые.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.I.1825. Дерпт.)

Вот тебе, любезная Пируша, мои первые стихи из Дерпта; это — нечто о моем пребывании в Симбирске:

«Краса полуночной природы,
Любовь очей, моя страна!
Твоя живая тишина,
Твои лихие непогоды,
Твои леса, твои луга,
И Волги пышные брега,
И Волги радостные воды —
Все мило мне, как жар стихов,
Как жажда пламенная славы,
Как шум прибережной дубравы
И разыгравшихся валов! <...>»

(Н. М. Языков — П. М. Языковой. 25.I.1825. Дерпт.)

Мне присылают «Московский телеграф»: слог дубовый, и, кажется, ничего важного не выйдет. <...> «Северный архив» заключает в себе много любопытного и дельного. Впрочем, эти присылки имеют для меня ту невыгоду, что за них должно платить стихами, а у меня едва ли скоро будет что-нибудь журнальное, мелкое: я решился непременно написать повесть. <...>

Не знаю, скоро ли буду в духе ответить Пушкину.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.II.1825. Дерпт.)

Очень радуюсь, что Грибоедов переводит «Фауста», желаю и надеюсь успеха, но могу сказать утвердительно, что он переведет его не для печати: я даже не знаю, какую сцену может пропустить цензура. Кланяйся и отдай мое почтение Грибоедову и Одоевскому: ведь ты их часто видишь. <...> Комедии первого о сю пору только ожидаю. <...> Ты, кажется, хотел начинать покупать исторические книги; рекомендую тебе всеобщую историю Роттека: я влюблен в него... Не запрещен ли он в Петербурге?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 24.II.1825. Дерпт.)

Любезный Алексей Николаевич — благодарю вас за воспоминанья. Обнимаю вас братски. Также и Языкова —

послание его и чувствительная элегия — прелесть — в послании, после *тобой хранимого певца,* стих пропущен. А стих Языкова мне дорог. Перешлите мне его.

(А. С. Пушкин — А. Н. Вульфу. III—IV.1825. Тригорское.)

Очень хорошо бы было, когда б вы исполнили ваше предположение приехать сюда... хотя я не имею чести знать Языкова, но от моего имени пригласи его, чтоб он оживил Тригорское своим присутствием.

(П. А. Осипова. Приписка к предыдущему письму.)

Скажи Амплию, чтоб он поблагодарил от меня Рылеева за «Думы» и «Войнаровского»: последний точно стоит благодарности, есть места восхитительные.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 18.III.1825. Дерпт.)

Я получил «Полярную звезду». Повести Бестужева кажутся мне лучшими прежних, гравюры тоже. <...> Всего важнее в «Полярной звезде» перевод Гнедича из «Илиады»; мой товарищ Степанов, знаток языка греческого и Гомера, прыгал от радости, сверяя перевод с подлинником.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1. IV. 1825. Дерпт.)

Благодарю за «Чернеца»... есть прекрасные места, много чувства.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 26.I. 1825. Дерпт.)

В замечаниях Грибоедова на «Арана», которые мне Очкин так подробно сообщил, есть дельное; впрочем, я ожидал от Г. большей основательности в суждении его о древних писателях. <...> Еще мне не нравится то, что у нас теперь один Байрон на языке... что всякого почитают его подражателем или желающим идти по его дороге. После Троицы я кончу «Арана»; тогда и мне самому, и тебе виднее будут его недостатки и план, которого не хочу тебе теперь объявлять, потому что он еще не тверд в голове моей и может вовсе измениться: тогда постараюсь, сколько возмогу, исправить все неисправное — и давай бог ноги в публику!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 3.V.1825. Дерпт.)

Даже наружная свобода студентов стесняется теперь слишком сильно: все, как в кадетском корпусе, определе-

но, от фуражек до штанов, и за всем так строго смотрят, что можно подумать, что государство наше и держится только формами.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 10.V.1825. Дерпт.)

Статский советник, цензор и кавалер Александр Иванович Красовский известен каждому по трусливому своему характеру, по эпиграмме князя Вяземского и посланиям, в которых его изобразил Александр Пушкин. <...> Сей непростительно осмотрительный человек сам недавно чуть-чуть не попал в беду. <...> Он пропустил «Песнь новгородцев», стихотворение Н. М. Языкова (см. «Северную пчелу», 1825 г., май, № 60). Злоумышление, подстрекаемое злоречием, разгласило, что в этой песне под именем древних новгородцев намекается на лица и обстоятельства нынешнего времени. Сего довольно: министр народного просвещения (Шишков) и военный генерал-губернатор (Милорадович) требовали ответа у цензора. Он славно отделался: вчера, 7 июля (1825 г.), сам читал мне ответ, поданный им Александру Семеновичу (Шишкову), и письмо, по сему же случаю написанное к правителю его собственной канцелярии князю Платону Александровичу Ширинскому-Шихматову. Ответ прекрасный. <...> Красовский доказал выписками из «Истории» Карамзина и других летописателей, также из «Пролога», что содержание «Песни новгородцев» Языкова есть историческое и что точно рать Суздальского великого князя Андрея Боголюбского была ослеплена так, что воины, в мраке ничего не видавшие, поражали друг друга. В сей-то песне, по мнению злокозненных толкователей, находился намек на Новгород нынешний и на известного вельможу (Аракчеева). <...> Второе нападение или вопрос заключается в том, для чего в упоминаемой песне Языкова язык не XII столетия, а нынешнего времени? Красовский и тут мастерски отделался, сказав, что песнь Игоря (сочинение Бояна) была переложена на наш язык многими сочинителями недавно в стихи и прозу на нынешнее разговорное наречие, объясняя, что первый оной прелагатель был министр народного просвещения А. С. Шишков, и также в свое время преложена синодальным обер-прокурором графом Мусиным-Пушкиным. Я бы на сей вопрос коротко и ясно заключил словами велеречивого Тредьяковского, что язык славянский тяжело ныне слышится ушам на-

шим. И подлинно, в наше время никто не станет читать стихов, написанных языком XII столетия.

(Д. И. Хвостов. Запись от 8.VII.1825. СПб.)

У меня готово канвы еще на три новогородские, но писать их незачем: если уже первая не прошла сквозь тиски цензуры, то следующие и подавно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.V.1825. Дерпт.)

Министр, наконец, осмотрел здешний университет. <...> В последний день его здесь пребывания профессоры у него обедали: в это время студенты принесли ему «виват»; в числе представителей сего знаменитого сословия был сильно действующим я, нижеподписавшийся. Дело состояло в том, чтобы войти к министру и объяснить ему кратко-приветственно, что значит их собрание и крик торжественный. Шишков был чрезвычайно доволен; поручил мне сказать моей собратии, что это ему очень приятно, что он благодарит студентов.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 7.VI. 1825. Дерпт.)

Запрещенные книги, коих имена написал (ты) в моем бумажнике, будут выписаны; теперь я заметил перемену — и важную — в моем книгопродавце: он уже знает, что эти книги запрещены, но по дружбе ко мне, как выражается, берется на свой страх мне их доставить. <...> Я читал Погодина; он просто компилятор: своего мнения, своих доказательств и ссылок у него вовсе нет; он читал только Шлецерова «Нестора», первый том Карамзина, Лерберга, Френа и Эверсовы разыскания... и с каким-то рабским подобострастием идет шаг за шагом за своими учителями. <...> Читаю Моне «Северную мифологию»: мне он чрезвычайно нравится; любопытно, какова у него будет славянская?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.VIII.1825. Дерпт.)

Вздор Шихматова и «Путешествие по Тавриде» я получил; благодарю, особенно за последнее. <...> Разбор поэмы «Петр Великий» — просто пустословие: красоты Шихматова, которых Кюхельбекер не доказывает, все заимствованы или из Священного писания, или из Ломоносова и Державина и, следственно, не дают Шихматову права назваться оригинальным. <...>

Я посылаю на сей почте Рылееву следующие стихи;

они тоже отрывок из повести, которой канва еще недавно существует в голове моей; на ней вышит только сей отрывок. Не знаю, что будет дальше, т. е. кончится повесть или нет, а в ней предполагается описать суеверие эстов, которое мне недавно стало несколько яснее знакомо по Моне:

«Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих вод, как шар огня,
Встает в торжественном покое:
Его красой озарена,
Цветами радуги играя,
Лежит равнина водяная,
Необозрима и пышна. <...>»

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.VIII.1825. Дерпт.)

Здесь как-то я сильнее духом — это, конечно, от жития, почти чуждого суете мирской и ограниченного кругом мною самим избранным, следственно, свободного, самобытного. Мое тело, всегда верное своему Правителю-духу, вместе с ним и слабеющее и крепнущее, теперь тоже несравненно деятельнее, способнее отыскивать надлежащее, обнимать предметы и, в некотором смысле, возвышать в поэзии свои ощущения! Мои занятия идут вернее прежнего.

(Н. М. Языков — Н. Д. Киселеву. 19.VIII.1825. Дерпт.)

Сюда приехал из Пскова студент здешнего университета, приятель Пушкина; говорит, что Пушкин уже написал два действия своей трагедии «Годунов», что она будет прекраснее всего, им доселе писанного, что «Цыгане» скоро напечатаются, что Пушкин не хотел лечиться у Мойера потому, что надеялся получить позволение ехать для излечения за границу, что он пишет новую поэму «Эвнух», и проч. и проч. <...>

Я покупаю порядком исторические книги, которые Эверс в продолжение лекции рекомендует. <...> Особенно по лифляндской истории у меня собирается хороший запас для будущих поэм и трагедий. Теперь читаю Тибулла. Он мне чрезвычайно нравится; могу сказать, что его понимаю и что переводы из него Дмитриева и даже Батюшкова похожи на оригинал, как земля на небо, как худое на хорошее.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.VIII.1825. Дерпт.)

Вы, верно, уже получили от Дюка комедию Грибоедова «Горе от ума»; напиши, как она подействовала на бездейственные умы в Симбирске? Это — произведение, делающее честь нашему времени и уму русскому, какая галерея характеров, истинно комических, списанных с природы! какой язык прекрасный и непринужденный, неистощимое остроумие и великое искусство схватывать положения самые смешные из быта русских бояр! <...> Читай ее чаще и учись смотреть на свет глазами Грибоедова — тогда только ты увидишь его, как он есть.

(Н. М. Языков — П. М. Языковой. 27.VIII. 1825. Дерпт.)

Мне очень любопытно видеть «Историю Греции» — даже предполагая, что она компиляция; нужно иметь ее, как, верно, лучшую Кайданова и, следственно, лучшую на русском. Очень радуюсь, что Мартынов будет продолжать свои переводы и что он принимается за прозаиков. <...> Я купил себе Бейрона на немецком: говорят, хорошо переведен и стихами. <...> На сих днях я познакомился с Висковатовым, известным переводчиком и сочинителем многих трагедий на русском театре. Он очень любопытен в рассказах своих, когда не доходит слово до его произведений: ибо в таком случае декламирует во множестве стихи свои, очень доволен ими и, следственно, скучен. <...> Нельзя ли прислать мне Грамматина издание «Слова о полку Игоря»: этим ты очень меня обяжешь. <...>

Теперь у нас критическое время для фуражек: до сих пор студенты все-таки носили какие угодно, красные, зеленые, голубые — теперь правительство уже решительно истребляет эти явные признаки либерализма и готовности к возмущению против законных властей. Полиция университетская и городская ходит по городу и снимает запрещенные фуражки. <...> Я хожу в мундирном сертуке: здешняя полиция получила приказ снимать платье со студентов, не по форме одетых, и отдавать бедным. Каково?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.IX. 1825. Дерпт.)

Благодарю тебя за все, что ты для меня делаешь. Кальдерон мне чрезвычайно нравится — и чем больше читаю его, тем более уверяюсь, что Кюхельбекер его не читал, сказывая, что у Шихматова много с ним сходства. У Кальдерона какое-то особое воображение, огромное и всеобъемлющее. Он краток и пространен в одно время; каждая

мысль выражается чрезвычайно кратко, а мыслей у него море. Он на меня сильно действует. <...> Признаюсь, что читаю его с бо́льшим удовольствием, нежели Шекспира: хотя у Кальдерона нет такого искусства в изображении характеров, зато он богаче образами, вовсе оригинальными.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 12.IX.1825. Дерпт.)

Грибоедов хорошо, поэтически изобразил нравы Москвы белокаменной, и я не могу перестать читать его комедию и удивляться величине его сатирического таланта. Жаль, что произведение, делающее честь нашей литературе, не может быть напечатано в наше прозаическое время.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 4.X.1825. Дерпт.)

Сегодня посылается книга стихов; примите ее благосклонно. Тут все, что я здесь написал. <...> Заметьте, что эта книга есть единственный экземпляр большей части стихов, в ней находящихся. <...> Еще раз благодарю за В. Скотта; он меня побуждает написать повесть в этом же роде. В голове моей уже готово много новых мыслей и выражений сильных для оной, много планов; покуда ни один еще не выбран, а действие должно происходить в Ливонии; тут явятся и рыцари меча, и Иван Васильевич,— как ты об этом думаешь? Мне давно хочется попробовать свои силы об сочинение пространнейшее прежних, хотя для практики к будущему. <...>

Я здесь в великой славе и благоволении. Вот пример: генерал Кнорринг, муж века отцов наших, в деревне которого (Ка́мби) жила летом Воейкова, предлагает мне на будущее лето переселиться к нему для уединенного беседования с Музою. <...> Старик добрый, одинокий, и хорошая история недавно прошлого времени Екатерины и Павла.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 17.X.1825. Дерпт.)

Не вышли ли «Басни» Крылова? Я их давно жду с нетерпением.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 26.X.1825. Дерпт.)

Читал ли в «Соревнователе» хоры из Кюхельбекеровых «Аргивян»? В них места достопочтенные. А каковы его духи? Стихи или проза, красота или посредственность, ум

или сумасбродство — эти области так близки одна к другой, что люди неопытные в географии вкуса переходят из одной в другую, сами того не замечая.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 14.XI.1825. Дерпт.)

Происшествие 14 декабря прекратило выход «Полярной звезды» — следственно, альманахов па сей год, по крайней мере в Петербурге, менее прежнего; как бы на замену этого для любителей словесности русской вышло собрание стихотворений А. Пушкина. <...> Скоро явятся и басни Крылова. <...>

Не упусти из виду «Эстетику» Галича: она вещь важная для занимающихся литературою или вообще изящными искусствами; прочти ее с наибольшим вниманием: она изострит твой вкус, прояснит понятия о прекрасном и, возвысив душу, доставит множество удовольствий.

(Н. М. Языков — П. М. Языковой. 30.XII.1825. СПб.)

Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И полны истины живой
Текут элегии рекой.
Так ты. Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего
Поёшь, бог ведает кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

(Пушкин А. С. Евгений Онегин, гл. 4, XXXI. Конец 1825. Михайловское.)

Думаем, что и в вашу глушь дошел слух о треволнении 14 Декабря прошлого 1825 года. Татаринов расскажет вам многое... мы же, со своей стороны, ограничимся двумя пунктами. 1. Степан Семенов привезен сюда яко арестант и содержится в крепости за связи с Трубецким и пр. <...> 2. Да и Очкины оба, наши приятели, чуть было не пострадали задами. Их хватали за знакомство с одним из участников в деле 14 Декабря, заставили переночевать у квартального, возили по всем полицейским ин-

станциям, наконец допросили во дворце — и отпустили: ибо в их бумагах и словах, кроме вздора, ничего не нашли... <...> Я оставался здесь, так сказать, за болезнию (горло болело), но теперь все исправляется, и скоро, встрепенувшись, помчусь в Дерпт.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 22.I.1826. СПб.)

Мои занятия начались благополучно, особливо по части языков и литературы иноземной. <...> Мне теперь ничто не мешает делать мое дело: живу далеко от университета; это освобождает меня от ненужных посетителей; слушание лекций занимает у меня только три часа в день поутру — и то кроме субботы, которая по уставу о моих занятиях вся посвящена Музам.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 14.II.1826. Дерпт.)

«Годунова» Пушкина еще никто не читал из моих здешних знакомых, хотя все уже хвалят. <...> «Эду и Пиры» Баратынского я получил дарственно от г-на Аладьина; и та, и те мне вовсе не нравятся: в первой слишком мало поэзии, слишком много непристойного, обыкновенного и, следственно, старого; есть несколько хороших картин — и всё; и последние не имеют того дифирамбического вдохновения, которое должно бы управлять поэтом, воспевающим пиры, и к чему ирония — тоже не вижу. <...> Я, кажется, на лето переееду отсюда в соседнюю деревню Камби.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 17.III.1826. Дерпт.)

Аладьин мне дарит все новое в нашей литературе; вчера получил я от него басни Крылова; они меня восхищают: он довольно поправил в прежних, и новые все тут. Заметь в басне «Дуб и Трость» стих, стоящий целого Дмитриева:

«Брега бурливого Эолова владенья»,—

это вещь Гомеровская, божественно!

(Н. М. Языков — родным в Симбирск. 4.IV.1826. Дерпт.)

Поздравляю вас всех, мои почтеннейшие, с праздником Христова Воскресения! <...> Я получил уже «Северные цветы»; в них есть кое-что хорошее; проза, кажется, вообще лучше прошлогодней: например, одна статья Дашкова о Иерусалиме стоит целого альманаха. <...> Стихи вообще плохи: нет ничего, на чем бы оста-

новиться — разумеется, выключая отрывок из «Илиады». <...>

21 сего месяца был у студентов праздник основания университета... много было пьяных до упаду — я не из их числа. Я, правда, пострадал, но слегка: прыгая через огонь, опалил брови и поджег фуражку; надобно все испытать — не так ли, друзья мои?

(Н. М. Языков — родным в Симбирск. 25.IV.1826. Дерпт.)

Вот тебе новость о мне самом: в начале летних каникул я поеду на несколько дней к Пушкину; кроме удовлетворения любопытства познакомиться с человеком необыкновенным, это путешествие имеет и цель поэтическую: увижу Изборск, Псков, Печоры, места, священные музе русской, а ты знаешь, как на меня они действуют!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.V.1826. Дерпт.)

Позднее всех установилась корпорация «русского землячества» под названием «Рутения». Это было в 1826 году. До того времени в Дерптский университет вообще мало поступало студентов из уроженцев действительно русских (т. е. не остзейских и не польских) губерний; а в упомянутый год сразу оказалось их около двух десятков. <...> Прежде всех, бессомненно, следует назвать Николая Михайловича Языкова... который и был избран первым старшиною (senior) этого русского землячества.

(Арнольд Ю. К. Воспоминания. 1892.)

За прудом, на громадном пространстве, раскинут великолепный сад. <...> Тут указали мне «зал» — так называемую площадку, тесно обсаженную громадными липами; в этом «зале», лет 30 тому назад, молодежь танцевала; об этом же «зале» упоминает и Языков в одном из своих стихотворений. Полюбовался я и горкой среди сада, верх которой венчается ветвистым дубом; по четырем углам этой насыпной горки стояли ели, под которыми леживали Пушкин и Языков; ели те еще при жизни их были срублены. <...> Недалеко виднеются жалкие остатки некогда красивого домика, с большими стеклами в окнах. Это баня: здесь жил Языков в приезд свой в Тригорское в 1826 году, здесь ночевывал и Пушкин. А вот и спуск к реке Сороти; на высоком, зеленом, в

высшей степени живописном берегу этой реки, в саду, та именно «горка», о которой так часто вспоминает Языков в стоих стихах: это площадка, осененная деревьями; ниже к реке были липы — их теперь нет; подле были березы, исписанные стихами и прозой,— березы тоже состарились, и их срубили; над самой рекой была ива, купавшая ветви свои в волнах Сороти и весьма нравившаяся и Языкову и Пушкину, но и ивы нет... Но что осталось, так это дивный, необыкновенно очаровательный вид с «горки» на окрестности. Здесь, на этой площадке, все обитательницы Тригорского и их дорогие гости пили обыкновенно в летнее время чай и отсюда восхищались прелестными окрестностями. Внизу — голубая лента Сороти, за ней, вдали,— село Дериглазово; там — пашни, поля, вдали темный лес, вправо дорога в Михайловское, а на ней столь знаменитые, воспетые Пушкиным три сосны.

(М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. 1856.)

Об знакомстве моем с Пушкиным и о пребывании в Тригорском я уже писал вам довольно подробно; могу прибавить только то, что последнее мне было так приятно и сладостно, что моя Муза начала уже воспевать оное в образе небольшой поэмы, пламенно и торжественно.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 11.VIII. 1826. Дерпт.)

Три дни сряду, за три дни перед настоящим, праздновалась и здесь коронация. Много было огня, вензелей. <...> Народ был кормим и напаиваем на счет города — очень хорошо и не в шутку, так что двое, слишком торжествовавшие, положили животы свои за радость о новом царе. В первый день иллюминация была не так повсеместна и блистательна, как в два другие; многие даже из богатейших и знаменитейших особ поскупились и не осветили домов своих — ан вышел грех: ночью первого дня им разбили все стекла каменьями, палками, грошами. <...> После этой общественной и почтенной справедливости все было освещено как нельзя лучше, и все успокоились... Ночь суда была очень занимательна... везде крик, треск, поборные песни, звон и брызги стекол, грохот и обломки ставней.

(Н. М. Языков — матери. 14.IX. 1826. Дерпт.)

Вот новость: Пушкина привезли на казенный счет в Москву, и он освобожден. Это хорошо, но вот что худо —

и чрезвычайно: вышел и начинает приводиться в действие новый устав о цензуре — совершенная инквизиция; а этого никак нельзя было ожидать. <...> Кроме того, что сей устав мог бы подписать и монарх Высокой Порты, в нем еще обнаруживаются и глупость, и невежество — необыкновенные спутники угнетения в нашем веке, когда все стараются прикрывать личиною благорасположения к просвещению и общему благу. Странно и досадно — и несносно!

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 23.IX.1826. Дерпт.)

Сделай милость, пришли мне, если можешь достать, писем казненных и в Сибирь отправленных несчастных: это любопытно и в политическом, и в психологическом отношении; я имею только два из них — Рылеева к жене и Якубовича к отцу.

Нынешнее полугодие достопамятно мне и тем, что я начал учиться по-английски. Язык чрезвычайно легкий; кое-что уже понимаю, и если бы мне можно было посвятить ему достаточное количество времени, то, например, через год выучился бы ему лихо!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 17.X. 1826. Дерпт.)

От этой сидячей жизни, сильно противоречащей моему полнокровию, произошло следствие очень неприятное и самое скучное: у меня начала болеть голова необыкновенно сильно. <...> Для противудействия сему недугу мучительному мне предписано ходить как можно больше (прежнее полугодие я учился рубиться — это лучше всякого пешеходства двигает тело — и жил полный здравия); таковое хождение, при котором не должно быть обращаемо ни малейшего внимания на погоду — ступай да ступай,— отнимает у меня часа три, и самых лучших. <...> Вот уже три недели, как продолжаются постоянно мои пешешествия — и, кажется, помогают, слава богу!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 29.X. 1826. Дерпт.)

После выхода в свет нового устава о цензуре даже приготовление к экзамену сделалось гораздо труднее прежнего: из здешней библиотеки нельзя получить ни одной порядочной книги по истории, ни по наукам политическим вообще; все таковые запрещены до крайности, должно будет ограничиться одними тетрадями профессо-

ров... Таковое приготовление будет чрезвычайно сухо, бессовестно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 3.XI.1826. Дерпт.)

Милый Николай Михайлович — сей час из Москвы, сей час видел *ваше* «Тригорское»,— спешу обнять и поздравить вас. Вы ничего лучше не написали, но напишете — много лучшего. Дай бог вам здоровья, осторожности, благоденственного и мирного жития!

(А. С. Пушкин — Н. М. Языкову. 9.XI.1826. Михайловское.)

Вот я в деревне. Доехал благополучно. <...> Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. <...> Москва оставила во мне неприятное впечатление. <...> Здесь нашел я стихи Языкова. Ты изумишься, как он развернулся, и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать. Аминь, аминь глаголю вам. Он всех нас, стариков, за пояс заткнет.

(А. С. Пушкин — П. А. Вяземскому. 9.XI.1826. Михайловское.)

Пушкин возвратился в свою деревню; он писал мне раз оттуда и обещает еще написать много о Москве; хочет напечатать «Годунова», говоря, что царь освободил его от цензуры. Честь и слава Гнедичу: день выхода в свет его «Илиады» можно праздновать, как это делалось в Германии во имя Фосса. Не слыхать ли, когда придет этот день? и не продолжит ли Гнедич переводить далее Гомера? Ведь, кажется, были слухи, что Крылов переводит «Одиссею». Справься: это важно и достолюбопытно!

Тик и Шлегель издали совокупно свои переводы Шекспира: не имеешь ли ты желания возыметь их?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 28.XI.1826. Дерпт.)

Николая Михайловича я впервые увидел 6-го декабря 1826 г. ...это было на торжественном обеде, а затем бале, данных творцом недавно только появившегося первого русского социально-юмористического романа «Похождения Ивана Ивановича Выжигина», т. е. Ф. В. Булгариным, в подгородной своей мызе Карлове в честь приезжего «знаменитого гостя, друга и покрови-

теля своего» (как он выразился в тосте) Николая Ивановича Греча.

Тогдашний карловский помещичий дом был весьма просторный: весь бельэтаж... занимал сам Булгарин с своею семьею, а в нижнем этаже помещались его пансионеры, русские студенты: Языков, братья Греч и братья Прокофьевы. Н. М. Языкову в то время было 22 либо 23 года. Наружностью своею представлял он настоящий тип великорусского молодца приволжского края. Роста он был больше чем среднего, широкоплеч и с выдающеюся вперед грудною клеткою, а лицо у него было кровь с молоком. Затем открытый широкий лоб под густыми кудрями светло-каштанового цвета; слегка вздернутый нос; добродушно улыбающийся, довольно широкий рот с пухлыми губами и небольшие, плутовски-веселые серые глаза. Нрава он был отличнейшего: остряк и балагур от природы, любил он подшучивать; но шутки его бывали всегда благодушно-наивные и никогда не пошлые, да и сам он не обижался дружеским подтруниванием, так что нельзя было не любить его. Вообще Языков был превосходный товарищ, бравый бурш всею душою, мастер фехтовать и далеко не враг веселых пирушек. <...>

Если, с одной стороны, «буршам Рутении» центром товарищеских сходок служили фехтовальный зал корпорации и квартира сеньора, т. е. Языкова (а после Ник. Прокофьева) в нижнем этаже Карловского «дворца», то, с другой стороны, общественная жизнь русской колонии в Дерпте сосредоточивалась в салоне гостеприимного семейства профессора русской словесности Перевощикова. Весьма поместительная его квартира находилась как раз насупротив главного университетского здания, в первом этаже огромного казенного дома.

(Ю. К. Арнольд. Воспоминания. 1892.)

Благодарю тебя, любезнейший брат, за деньги. <...> Манихеи — так называются здесь кредиторы,— узнав на почте еще прежде того, кто получает деньги, что оные приехали, осаждают несчастного с раннего утра до поздней ночи; теперь же, перед праздниками, люди сии еще свирепее и наступательнее обыкновенного! Я должен был вследствие вышеозначенного отдать все, что получил, до копейки, остаться здесь на праздники голым, подобно соколу, и сидеть да ждать погоды. <...> Сделай

милость, сбери свои все силы ныне и пришли мне в январе же круглым числом тысяч пять; это необходимо более, нежели необходимо для спокойствия моего приготовления к экзамену. <...> В противном случае я не могу и полурешительно сказать, когда кончу мое пребывание в Дерпте.
(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 28.XII.1826. Дерпт.)

Осаждаемый толпою манихеев, сижу в запертой комнате и никого к себе не пускаю. <...> Состояние незавидное и вовсе не поэтическое. <...> Сделай одолжение, попроси и ты за меня брата Петра как можно скорее кончить мое несносное положение: видно, мои просьбы на него действуют слабо.
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 22.XII.1826. Дерпт.)

Письмо ваше получил я во Пскове и хотел отвечать из Новагорода — вам, достойному певцу того и другого. Пишу однако ж из Москвы — куда привез я ваше *Тригорское.* Вы знаете по газетам, что я участвую в «Московском вестнике», следственно, и вы также. Адресуйте же ваши стихи в Москву на Молчановку в дом Ренкевичей, оттуда передам их в храм бессмертия. Непременно будьте же наш. Погодин вам убедительно кланяется. Я устал и болен — потому вам и не пишу более. Вульфу кланяюсь. <...> *Тригорское* ваше, с вашего позволения, напечатано будет во 2 № «Московского вестника». Рады ли вы журналу? пора задушить альманахи — Дельвиг наш. Один Вяземский остался тверд и верен «Телеграфу» — жаль, но что ж делать.
(А. С. Пушкин — Н. М. Языкову. 21.XII.1826. Москва.)

Вот тебе на всякий случай абрис будущей моей жизни. Выдержав здесь кандидатский экзамен, я съезжу на несколько месяцев к вам в Симбирск, оттуда возвращусь в Петербург, где прослужу отечеству только время, потребное для получения чина (несмотря на мое сильное неуважение к суете мирской, где в первую голову чины и почести являются взору беспристрастного мыслителя, все-таки мне надобно иметь хоть какой-нибудь чин, чтоб не остаться бесчинным в мнении людей даже необразованных, которым нельзя пренебрегать в наших странах полудиких). После этого начнется мое бытие торжественное, поэзия моей жизни: я перееду навсегда, навсегда

жить в деревню, с книгами, с пылким желанием и крепкими силами далее просвещаться, буду проводить время в занятиях великодушных, в жертвах учению и музе, совершенно свободный. <...> Время запляшет по моей дудке. <...>

Пушкин в большой милости у государя. <...> Он хочет напечатать свою трагедию «Борис Годунов», которую мне читал; она лучше всего, что он сочинил доселе, удивительно верно изображает нравы тогдашнего времени — и вообще подвиг знаменитый.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 29.XII. 1826. Дерпт.)

Пушкин находится теперь в Москве; пишет мне, что мое «Тригорское» будет напечатано во 2 № «Московского вестника», и приглашает прочие мои будущие стихи туда же. Он, видно, принимает деятельное участие в сем журнале; не в охулку сказать почтенному поэту, а участвовать в журнале — дело не поэтическое; журнал в быту литературном то же, что почтовая телега в мире вещественном. <...>

Нет ли у вас чего нового по части театра? Не напечатан ли «Аристофан» Шаховского? <...> Что же Дельвиговы русские песни? «Илиада» Гнедича и прочие торжества литературные, обещанные к Новому году? Самым разительным примером галиматьи в мыслях и выражении может служить «Путешествие» в стихах соч. Вяземского, напечатанное в «Телеграфе». Господи, твоя воля! что это за вздор, за глупость, за околёсная!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.I. 1827. Дерпт.)

Благодарю за «Северную лиру». Ты справедливо заметил, что в Москве поэзия далеко отстала от петербургской; даже Раичев перевод Тасса плаксивым размером ясно доказывает эту печальную истину. Что за вздор стихотворит М. Дмитриев! В прозе есть кое-что и хорошее. <...> Давай собирать книги по русской истории. <...> Каков «Московский вестник» вообще? Его здесь нет ни у кого; впрочем, надеюсь, что Погодин будет мне присылать оный.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.I. 1827. Дерпт.)

Благодарю тебя за присылку денег. <...> Дерпт мне уже надоел. Все одно и то же, немцы да немцы! Первое

обстоятельство родит тоску и скуку, а вторые вовсе не любезны нашему брату русаку.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 2.II. 1827. Дерпт.)

Ко мне пристает с просьбою о стихах Орест Сомов: тоже издает альманах. У меня ничего нет. <...> Видел ли ты в № 1 «Сына Отечества» отрывок из драматической поэмы «Ижорский»? Ведь это остаток после Кюхельбекера. Он мне читал его еще запрошлым летом: кончил ли? Любопытно, что вышло? Он хотел сделать из него Фауста.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. II.1827. Дерпт.)

На прошлой неделе получил я переводы Мерзлякова и «Андромаху». <...> Ну, брат, знаешь ли, что со мною сделалось в рассуждении двенадцатилетнего труда Катенина? Я точно восхищался ею, когда, помнишь, слушал Грудева, ее читающего (при слушании вовсе неприметны и грубость слога, и неточность выражений, и многословие неуместное); теперь же вот как я ее понимаю: отделкой характеров она ничуть не превосходит трагедий Озерова — еще едва ли Пирр Озерова не ярче нарисован,— а слогом отстает от него на целое столетие, напоминая времена Сумарокова. Что всего лучше в ней и несравненно лучше, чем у Озерова во всех его трагедиях, так это — план, хотя и в нем нет ничего гениального.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.II.1827. Дерпт.)

Для составления библиотеки по части русской истории нам нужно будет купить «Вестник Европы» (с тех пор, как его издает Каченовский): в нем часто находятся статьи многозначительные, даже и в текущие годы, а в прошлых еще более. <...> Поздравь Илличевского с его решительным выступлением в свет литературный.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.III. 1827. Дерпт.)

Здесь носится слух, что Гнедич опасно и неисцелимо болен; если это правда, то оплачьте музы смерть любимца своего: он принес уже и мог еще принесть необычайную пользу нашей литературе!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 13.IV. 1827. Дерпт.)

Жду с нетерпением выхода в свет стихотворений Катенина; правда, что у него везде слог топорной работы,

зато много национального и есть кое-где сила — вот главное!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.IV. 1827. Дерпт.)

У меня есть много вопросов, ожидающих твоего ответа; все они почти политические, и для того я в моих почтовых письмах ни строки не посвящаю сей любопытной части моего любопытства, откладываю до свиданья: почтовая бумага коварна.

Что ты мне ничего не написал о «Цыганах» Пушкина?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.V. 1827. Дерпт.)

«Цветы» Дельвиговы на нынешний год я видел; они хуже, особенно прозою, прошлогодних, а в стихах, кроме отрывка из «Онегина» — ночная беседа Татьяны — и «Рыбаков» Гнедича, вновь напечатанных и приумноженных, нет ровно ничего достопримечательного. Жаль Веневитинова: у него талант решительный.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 27.IV. 1827.)

На вопрос, что я теперь делаю, отвечаю: пишу стихи! Для таковых занятий благородных — здесь полное удобство и холь благодатная. Я так доволен собою, что не думаю вовсе ни о прошедшем, ни о будущем; живу так безмятежно, что, в прямом смысле, не слышу бега часов. <...> И благодарю небо за все счастие, истинно горацианское! Да будет же препрославлено время, мною здесь проводимое! Теперь воспеваю урочища камбийские — места, священные мне по некоторым воспоминаниям и довольно способные (своими красотами дикими и величественными, за недостатком лучших) изображаться стихами.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.VIII. 1827. Ка́мби.)

Вам уже известно, любезная маменька, что я переселился на лето из Дерпта в деревню, лежащую от него верст двадцать. Эта моя отшельническая жизнь продолжалась бы значительно на всю осень и, может быть, на зиму, ежели бы не было многих неудобств в моей квартире, составляющей часть избы чухонской. Теперь собираюсь снова в Дерпт. <...> Здесь... кругом лес, в нем грибы, белки и совы; под горой ручей холодный как лед, возле него скамья для спанья после сельского обеда, над нею тени дерев и шорох листьев, так сладко и так упои-

тельно сливающийся с говором воды, что спишь словно в раю! Местоположения здесь вообще прекрасны, и все чрезвычайно молчаливо, потому что крестьяне живут врассыпную, один от другого далеко, для удобнейшего обрабатывания полей и безопасности в случае пожаров, а самое поместье составляется только из дома господского, его принадлежностей и двух мельниц. Я видел несколько раз муку здешних крестьян — взглянуть совестно: это самая грубая мякина пополам с песком; каковы же хлеба из нее выходят?

Само собою разумеется, что я жил не на этакой пище: меня кормил за весьма умеренную плату управитель.

(Н. М. Языков — Е. А. Языковой. 1.IX. 1827. Ка́мби.)

Здесь невозможно работать стоя и ходить по комнате, зане она низка, и о бревенчатый потолок часто можно вышибать все мысли из головы, даже моей, а заниматься сидя или лежа мне нездорово и скоро усыпляет. Впрочем, время, мною здесь проведенное, бессовестно было бы назвать потерянным: я много кой-чего (для меня как поэта) прочел, обдумал и (через три дня) переезжаю в Дерпт совершить все мои поэтические замыслы. <...> Воейкова уже отправилась в Италию; оставила мне альбом, который должен буду весь заместить моими стихами.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.IX. 1827. Ка́мби.)

Здесь теперь находится, проездом из чужеземии, Жуковский. Он поздоровел чрезвычайно; расспрашивал меня о литературных делах Пушкина: я рассказал, что мне известно, и Жуковский поручил мне позвать Пушкина в Питер для прочтения «Годунова». Доведи до его сведения это обстоятельство; кланяйся ему от меня.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 13.X. 1827. Дерпт.)

Письмо твое, с приложением двух пьес Пушкина, я получил с большим удовольствием, потому что мне давно хотелось знать, что именно написал наш Байрон к государю, ныне благополучно царствующему. Между нами будь сказано: «Стансы» его слишком холодны; солдатская песня в своем роде лучше, но и в ней есть кое-что неприличное: стихи для рифмы, выражения неуместные. Правда ли, что Пушкин сочиняет историю Петра 1-го? Не тиснет ли он «Годунова»? <...> У меня еще лежит

на сердце обещание облагодетельствовать «Невский альманах»: Аладьин мне так много дарил книг во весь 1827 год, что мне, ей-богу, перед ним совестно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.IX.1827. Дерпт.)

В последний год своего пребывания в Дерпте он нанял квартиру почти за городом и поселился там вместе с Петерсоном, чтобы подалее от соблазнов приготовляться к экзамену. <...> Николай Михайлович с какою-то детскою радостью рассказывал нам, что у него с Петерсоном всю ночь кипит самовар, и они, по очереди, до̀ восхода солнца, читают вслух Карамзина! Но добро бы читали, а то, кажется, они более рассуждали о великом значении славян, о будущности России, о тупости немцев и бойкости русских и пр. <...> Между тем Языков начинал страдать приливами к голове, хотя по-видимому казался очень здоровым: он был толст, краснощек, моложав и силен, но от всякого внутреннего движения кровь кидалась ему в голову, и часто, среди веселой беседы, когда он расхохочется, должны мы были обливать его холодной водою; будучи от природы очень смешлив, он всячески удерживался от хохота и зажимал себе рот платком. <...> Попойки также вредили его здоровью, и он старался избегать их, но почти всегда увлекался нашими неотступными просьбами. <...> Языков всегда был очень застенчив и даже дик, в особенности в дамском обществе, и во все время моего пребывания в Дерпте он вовсе не бывал в дамском кругу уже и по той простой причине, что у него часто не бывало и приличного для сего костюма. Правда, что большая часть его дерптских элегий обращена к Воейковой, которую я не застал в Дерпте, но я слышал, что, видавшись с нею часто, он, как стыдливый юноша, всегда молчал и конфузился, и только дома, по ее заказу, писал стихи в альбом. <...> Знаменитая же его *Лилета* тоже при мне не была уже на сцене; если я не ошибаюсь, то под этим именем воспевал он уже несколько устаревшую, толстую, хотя и красивую, разносчицу яблок и слив, конечно, никогда не читавшую стихов Языкова. Воспетая в нескольких стихотворениях Марья Петровна была очень хорошенькая, молоденькая дочь русского купца, с которой Языков едва ли когда-либо говорил. <...> Не только университетские лекции и книги образуют человека, но самая студенческая жизнь; даже сходки и пирушки некоторым

образом способствуют его развитию, дают крепкую веру в просвещение, в прогресс человечества. <...> В последнее время на всех наших сходках, в особенности по настоянию Языкова, пелись, вместо немецких, преимущественно наши народные и цыганские песни. <...> Впрочем, и немцам нравились наши напевы. Мы иногда катались на лодках вдоль по Эмбаху, и по берегу всегда следовала за нами толпа народа, с жадностью слушая то заунывные, то разгульные наши хоры. На всех пирушках всегда пелись с особенным восторгом и песни Языкова. <...> Вообще, своею поэзией он облагораживал наши часто грубые и однообразные оргии. Так, например, канун нового, 1828 года был нами отпразднован особенно поэтически. <...> Решили, что я должен представлять Новый год и декламировать стихи, тут же почти экспромтом продиктованные мне Языковым, и каждому из присутствующих раздать по записочке, шуточным предсказанием судьбы его в наступающем году. Эти предсказания почти все также были написаны Языковым. Между тем в другой комнате Петерсон писал стихотворное приветствие Старого года. <...> За несколько минут до 12-ти часов, когда Старый год в изношенном халате, с длинной седою бородою начал уже декламировать стихи свои, Языков, разгоряченный вином, срывает с меня сделанную из золоченой бумаги корону, надевает ее на себя, сбрасывает панталоны и рубашку, утверждая, что Новый год не знает моды, и, совершенно голый, шатаясь, врывается в другую комнату к изумленным товарищам. Гомерический хохот и рукоплескания его приветствуют, и он тоном пьяного мужика начинает:

«Свободно, весело пируя,
Встречаете вы Новый год!
Я Новый год, и здесь хочу я
Встречать свой собственный приход».

<...> Мы пировали до рассвета, и, конечно, каждый из нас, благодаря Языкову, целую жизнь будет помнить встречу 1828 года. В конце этого года посетил Николая Михайловича брат его Александр Михайлович.

(А. Н. Татаринов. 1870-е.)

Ты когда-то просил меня достать тебе Сегюрову «Историю войны 1812 года»; я ее теперь читаю: она не стоит чести стоять в нашей библиотеке. <...> Зато теперь

же в моих руках «История американской революции» Рамзая — книга золотая, священная книга народов, главная, необходимая, дополнение настоящего и пример будущего!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 10.I. 1828. Дерпт.)

Читаю русские сказки: жаль, что это собрание их чрезвычайно глупо, бестолково, неполно и переиначено на новый лад. Из них можно составить предприятие знаменитое — только надобно прежде перечитать все другие собрания сего рода, чтоб узнать истинный дух старины глубокой, напитаться им и явить свету произведение самостоятельное, своенародное. Подумай об этом и закупи, что можешь, по этой части; также песенников и проч.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 18.I. 1828. Дерпт.)

VI и V главы «Онегина», «Аристофана» и стихотворения Баратынского я получил; из всего этого мне кажется лучшим «Аристофан»; об «Онегине» мое мнение согласно с твоим, а в Баратынском мне всего более нравятся следующие сильные истиною два стиха:

«Еще не породив прямого просвещенья,
Избыток породил бездейственную лень!»

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 13.II. 1828. Дерпт.)

Честь и слава тебе за покупку сказок и песенников русских; к этому богоугодному собранию не худо было бы присовокупить Грамматина «Слово о полку Игореве» и его же «Рассуждение о древней русской словесности». У тебя ведь есть, кажется, «Разговоры о Новгороде» Евгения, его же о Киеве и проч.?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 18.V. 1828. Дерпт.)

Вульф пишет мне, что ты повез с собою великое множество летописей, сказок, записок о жизни Петра Первого, песенников; что никогда московский дилижанс не был так грузен, как везя твою промыслительную особу: благодарю тебя всею душою и всеми помышлениями моими, потому что в некотором смысле принимаю, так сказать, на свой счет оный благодетельный запас книжный!

Сейчас получил письмо твое из Москвы; радуюсь, что ты доехал туда весело и беседовательно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.V. 1828. Дерпт.)

Завтра отправляюсь в Печоры для исторических наблюдений, обозрений, для освежения духа своего на Руси православной, протрясения тела.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.VI.1828. Дерпт.)

Мое путешествие или, лучше сказать, пешешествие в Печоры совершилось благополучно: мой товарищ по сей части, юноша пыщ или дутик, Наумов — экономный от природы и кропотливый — нанял лошадей самых негодных, чухонских, кожа да кости, ростом с мышей, неповоротливых, принимающих удары кнута и крик возницы за шутку. Дорога большею частью песчаная. Надобно было, и приятнее было, идти пешком, даже иногда несмотря на всю свирепость солнцепёка: иначе — нельзя было отвечать за здоровье или жизнь лошадей. <...> Так мы ехали по горам и долам, лесами и болотами! Местоположение Печор чрезвычайно живописное: монастырь находится на отлогостях оврага, где течет ручей Каменец; стена монастырская, под которую ручей приходит, сохранилась довольно целою; на горе дубы столетние, в горе пещеры четырехсотлетние; богатая ризница, достопримечательные дары царей и цариц: например, седло Ив. Вас. Грозного, ложе, труба, ложки, братины, кольцо Анастасии, деньги и то, и то. <...> Жаль, что в это время архимандрит был в отсутствии: без него нельзя было рассмотреть, так сказать, собственноручно оные вещи, а теперь только сквозь стекло: а это мало взору наблюдателя древностей!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 26.VI.1828. Дерпт.)

Не знаю, доставил ли вам барон экземпляр «Цветов» нынешнего года, в котором есть и ваша одна пьеса, к покойной няне Пушкина, сообщенная нам самим Пушкиным и напечатанная по его желанию. Как бы то ни было, прошу вас принять прилагаемый экземпляр от меня, в знак уважения моего к поэту и новой попытки волокитства за прелестной, резвой его музой. Дельвиг, находящийся в отлучке отсюда с самого генваря месяца, поручает мне в письмах своих передать вам его поклон и просить вас от его имени удостоить «Северные цветы» свежими цветами дерптской вашей флоры, Пушкин также поручает вам клапяться; он просит вас доставить ему какое-то послание об арабах.

(О. М. Сомов — Н. М. Языкову. 2.X. 1828. СПб.)

Поутру пришел ко мне Аладьин и принес письмо от Языкова — удовольствие неожиданное и удвоенное новым посланием ко мне, которое он написал по случаю намерения моего ехать на войну. Если бы такое желание и не таилось во мне, то одного подобного вдохновенного привета довольно бы было, чтобы воспламенить меня.

(А. Н. Вульф. Дневник. 10.X. 1828. СПб.)

Письмо твое, «Онегина» и «Череп» я имел удовольствие получить. <...> Я прочел недавно Клингерова «Фауста»; он мне очень понравился и, может быть, сильнее на меня подействовал в некотором смысле, чем Гетев.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. XI. 1828. Дерпт.)

Здесь проехал в чужеземию некто Соболевский, московский юноша, приятель Пушкина; он обрадовал мою совершенно пустую, бесталанную жизнь теперешнюю известием, что Пушкин написал новую прекрасную, все его прежние превосходящую, поэму «Мазепа», множество баллад, песен, сказок и т. д., что «Северные цветы» на 1829 будут исполнены его стихами; что Дельвиг на меня сердится за мое непроходимое молчание на Парнасе, что Гнедичев перевод «Илиады» скоро явится в свет, что Погодин перестает заниматься изданием «Московского вестника», Шевырев печатает свой перевод «Валленштейна», что Воейков прибавил еще несколько лиц (Греча, Булгарина и даже дам некоторых) в свой «Дом сумасшедших».

(Н. М. Языков — братьям. 8.XI. 1828. Дерпт.)

Скажу вам, что мы затеваем к светлому празднику еще небольшую книжечку: «Подснежник». <...> Там будут и Пушкин, и Баратынский, и Грибоедов, и Вяземский... надобно, чтоб и вы там были. Если вам полюбится цель сего издания, то пришлите нам несколько стихотворений.

(О. М. Сомов — Н. М. Языкову. 15.I. 1829. СПб.)

Наконец, убедился я в невозможности порядочно приготовиться к экзамену... а кое-как не хочу его выдержать,— я, нижеподписавшийся, решился спастись отсюда в Симбирск, где месяца в два могу надеяться кончить оное, ежели нужно, приготовление благополучно и экзаменоваться, например, хоть в Казани. Кроме того, что

здесь мой дух упал до точки замерзания, что я, чем дольше здесь, тем дальше от цели,— еще и мое здоровье требует большой поправки, возможной только в благорастворении воздуха, при хорошем движении. <...> Знаю, что вы против этой решительности сказать можете; знаю, что я не могу опровергнуть всего этого, но мне теперь не до диалектики: я спасаюсь. <...> Книги мои отправлю к Комовскому или Очкину, а весною можно их будет и в Симбирск, вниз по матушке по Волге. <...> Я так надеюсь на скорое мое воздвижение, что уже купил себе на дорогу фуфайку и картину Иоанна Богослова — для украшения моей будущей обители в Языкове.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 29.I. 1829. Дерпт.)

Тебе уже известна, мой почтеннейший, моя решительная воля об оставлении Дерпта; надеюсь, что вы не откажетесь и не замедлите способствовать моему, без похвальбы сказать, спасению. Везде, где бы то ни было, я могу лучше работать, думать и писать, жить и действовать; везде, кроме Дерпта, буду здоровее телом и духом: так сильно все здешнее, чисто прозаическое, мирское меня отуманило, отвратило отсюда все мои помышления, надежды и занятия. Чего бы ни стоило, в смысле денежном, сие мое освобождение, все-таки оно будет дешево в смысле чисто нравственном и высоколитературном; сверх того, смею вас уверить, что моя будущая жизнь сторицею вознаградит все издержки теперешние: мои требования на счастие, ей-богу, не выходят из быту деревенского. Вот польза утопания в суете мира сего! <...> Мне бы только добраться до Языкова: уж там-то я застихотворствую! Эта надежда меня теперь утешает, как ребенка.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.II. 1829. Дерпт.)

Кланяйся Пушкину. Первое мое дело литературное в Симбирске будет отповедь к нему о моем житье-бытье.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 9.II. 1829. Дерпт.)

Вчера писал я к вам, почтеннейший Николай Михайлович, о смерти любимой и уважаемой всеми А. А. Воейковой; сегодня должен быть снова вестником ужасного происшествия... я говорю о Грибоедове — чины, кресты, деньги, звание имп. полномочного министра и молодая

прелестная жена — право не шутка! Но увы! всеми этими благами он наслаждался слишком недолго.

(Е. В. Аладьин — Н. М. Языкову. 16.III. 1829. СПб.)

Я уже писал к вам, что до Москвы доеду с Петерсоном; путь нам пойдет через Псков, Новгород и проч. На первый, а может быть, и на другой — есть у меня поэтические виды; если будет возможно, то постараюсь и матушку-Москву осмотреть как можно подробнее: она достойна этого, есть живая история старины русской и всегда будет священна нашему брату, поэту российскому!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.III. 1829. Дерпт.)

Петерсон доказал Языкову, что будет «поэтичнее и народнее» скакать на русской тройке. Человек 20 из его товарищей провожали его до Верро, за 60 верст. Там целый день пировали мы на чистом воздухе и выпили огромное количество горского, ибо Николай Михайлович непременно желал, чтобы на его проводах пили только русское вино. Возвращаясь из Верро, в большой чухонской фуре, покрытой холстом, мы во всю дорогу пели одну только прощальную песнь Языкова. Многие плакали, и если кто-нибудь из нас затягивал что-либо другое, то тотчас же прерывали его, и снова раздавался грустный напев:

«В последний раз приволье жизни братской...»

(А. Н. Татаринов. 1870-е.)

Поздравьте меня, мои почтеннейшие и любезнейшие, родные и братья! Наконец, я покинул Дерпт и уже совершил половину пути моего в Симбирск, так сказать — на родину, в ваши объятия! Вот уже 11-й день, как я живу в Белокаменной: прохладно, приятно и вольно! Вы знаете, что я уехал сюда с Петерсоном, моим дерптским однодумцем, товарищем и другом; он поселил меня здесь в дом к своим родным, где я нашел так много ума, образованности и любезности, что только одна надежда найти у вас и того, и другого, и третьего не менее еще стремит меня на берега Волги-матушки широкой. <...> Адрес: Его благородию Ивану Васильевичу Киреевскому, в дом Елагина, в приходе Трех Святителей, у Красных ворот, в Москве.

(Н. М. Языков — родным. 30.V. 1829. Москва.)

В мае 1829 года Языков приехал в Москву. И. В. Киреевский привез его к Погодину, который отметил в своем «Дневнике» по поводу этого знакомства: «Очень прост и не виден», но вскоре они хорошо познакомились и сдружились. На лето Языков уехал в свою симбирскую деревню, и Погодин писал Шевыреву: «Языков пробыл здесь больше месяца, и мы познакомились очень хорошо. Добрый малый и без всяких претензий. Повез много планов, между прочим, трагедии «Саул». Зимою Языков вернулся в Москву и стал помогать Погодину в издании «Московского вестника». Ко времени переезда Языкова из Дерпта в Москву относится примирение Погодина с Иваном Васильевичем Киреевским.

(Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. СПб., 1889.)

Я недавно познакомился с юными нашими стихотворцами Маркевичем и Языковым. Маркевич мне сказывал, что он сочиняет героическую поэму «Дмитрий Донской». Баратынский был здесь на короткое время.

(В. Л. Пушкин — П. А. Вяземскому. 11.VI. 1829. Москва.)

Время приступать к печати; значительная часть предположенных статей прозаических собрана уже; Пушкин дал мне две первые сцены из «Бориса». Но стихотворная часть, красуясь таким началом, горюет с нетерпения о достойном подарении, ибо для совершенства ее ей предназначен круг весьма ограниченный... и прибегает к вашей Музе, которая утешила ее прежде других. <...> С поэзией же вашей, Дельвига, Вяземского, Хомякова, может быть Баратынского, и проч. мне нечего будет опасаться.

(М. А. Максимович — Н. М. Языкову. 9.X. 1829. Москва.)

Позвольте сказать откровенно: за что кидать было вам «Пловца» — такую прелестную вещь — в массу всякой всячины. Когда получен он был, то все им так пленились, что Елагины и я решились единогласно просить Петерсона помедлить отдавать его Арапову, а у вас просить позволения напечатать в моем альманахе. <...> «Пловцу» вашему лучше сидеть в одной лодке с «Борисом» и прочая, чем погрузиться в хляби араповские; сделайте одолжение: решите с первою почтою — быть или

не быть? <...> Из прозаических статей у меня будут повести Погодина, Полевого... А. Веневитинова; письмо Вяземского, Киреевского, прекрасный обзор словесности, уже до половины написанный. <...> Стихи налицо: кроме Пушкина,— Вяземского 3 пиесы, Хомякова, Дельвига, Мерзлякова, «Песнь Клары» покойного Веневитинова, 4-я песнь «Храброва» Ф. Глинки, жду еще от Баратынского, по отзыву его к Киреевскому, да еще от Языкова.

(М. А. Максимович — Н. М. Языкову. 13.XI. 1829. Москва.)

Много утешения доставляла Погодину его дружба с Языковым. <...> Языков был ревностным сотрудником «Московского вестника». <...> Они вместе читали Гизо, беседовали о Ломоносове и о необходимости соорудить ему памятник, о Жуковском, вместе странствовали по монастырям и в Симонове заслушивались пением «Со святыми упокой...», смотрели оттуда на Москву. <...> Вместе посещают князя Вяземского, который к Языкову питал особое расположение. Языкову же поверял Погодин и свои литературные произведения и благодушно выслушивал от него беспристрастные отзывы.

(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 3. СПб., 1890.)

Говоря о писателях образцовых, коих имена блестели в литературе прошедшего года, можно ли не упомянуть об одной из лучших надежд наших? Немногие получили в удел такую силу и мужество, коими красуются произведения Языкова. Каждый стих его живет огнем, как саламандра.

(Киреевский И. В. Обозрение русской словесности 1829 года // Денница, 1830.)

Стихотворную часть украшает Языков.

С самого появления своего сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом. Кажется, нет предмета, коего поэтическую сторону не мог бы он постигнуть и выразить с живостию, ему свойственною. Пожалеем, что доныне почти не выходил он из пределов одного слишком тесного рода, и удивимся, что издатель журнала, отличающегося слогом неправильным до бессмыслицы, мог вообразить, что ему возможно в каких-то пародиях подделать-

ся под слог Языкова, твердый, точный и полный смысла.
(Пушкин А. С. О «Невском альманахе» на 1830 г. // Литературная газета, 1830, № 12.)

Мечтательность и практичность дружно уживались в широкой натуре Погодина. В то время, когда он предавался мечтам об уединении, путешествии, любви, в это самое время он купил себе прекрасный каменный дом с верными жильцами, стоящий на стрелке четырех улиц: двух частей Мясницкой, переулка Златоустовского и Лубянки. <...> На новоселье А. А. Елагина Языков и Петерсон принесли Погодину «хлеб, соль, вино и елей»; а Пушкин приходил поздравить с новосельем.
(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 3. СПб., 1890.)

В мае 1830 г. Погодин вместе с А. П. Елагиной и дочерью ее М. В. Киреевской, Языковым, Армфельтом и Петерсоном совершил пешее путешествие к Троице. «Прошед тридцать верст,— отмечает он в своем дневнике,— в Братовщине устал очень, отъехали девять, на третий день еще прошел тринадцать и уморился. Доехал с Языковым». С чувством благоговения вошел наш пилигрим в Троицкий собор. <...> Они осматривали ризницу, библиотеку, архив. <...> Вместе с Языковым в кибитке Погодин вернулся в Москву, и он жалуется, что его «растрясло». В Мытищах они «пили в память Екатерины» и Языков читал Погодину следующие стихи:

НА ГРОМОВЫЕ КОЛОДЦЫ В МЫТИЩАХ

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим:
Боги сжалились над ним:
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева;
Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол — и ключ кипучий
Покатился... Пей, Москва!

(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 3. СПб., 1890.)

Путешествие к Троице совершили мы благополучно и удовольственно: туда шли двое суток, осмотрели почти все и воротились посредством наемной езды, зане нас настигло ненастье.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.V. 1830. Москва.)

Помню я антресоли Хомяковского дома на Собачьей площадке, страшный шум и гам голосов, голубоватый огонек в большой белой миске и чрезвычайно симпатичного человека с детски красивым лицом и с постоянно открытым воротом рубашки, сидевшего на диване и помешивавшего ложкой в дымящейся миске: то был известный поэт, дерптский студент Н. М. Языков. Он варил введенную им жженку.

(Д. М. Погодин. Из воспоминаний. 1892.)

26 июня 1830 г. Императорский Московский университет праздновал 75-летие свое. Погодин был оратором — он прочел «Слово о значении университетов вообще и в особенности русских». <...> После речи Погодина рукоплескания начали А. А. Елагин и Н. М. Языков, а публика подхватила.

(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 3. СПб., 1890.)

Пушкин у Весселя часто бывает, он — большой забавник и доставляет нам много удовольствия.

(А. М. Языков — П. М. Бестужевой. Весна 1830. Москва.)

Я получил два прекрасные ваши подарка, почтеннейший Николай Михайлович, и вижу в них новое доказательство вашего благорасположения к «Литературной газете» и к людям, искренне вас любящим и умеющим ценить ваши дарования. <...> Барон Дельвиг, посылающий вам свою благодарность вместе с моею, говорит, что первые 7 стихов вашего «Пловца» гораздо лучше целого тома «Истории русского народа»,— сравнение довольно странное, но сказанное от души и без приготовления.

(О. М. Сомов — Н. М. Языкову. 2.VI. 1830. СПб.)

Ты напрасно вовсе чуждаешься петербургской шайки. Где же будет круг наш? Из кого его составим? Из нас двух да Аксакова? Более я не вижу, ибо Языков и Хомяков, верно, не прочь от Дельвига и Пушкина.

(С. П. Шевырев — М. П. Погодину. 7.VI. 1830. Рим.)

Радуюсь, что ты благополучно доехал до Симбирска. <...> Комовский доставил Погодину список книгам за 1829 год, сей последний в восторге: так-то беден он материалами для своего «Вестника». Трагедия его «Марфа» приведена к концу, он недавно читал ее в доме, меня приютившем: много шуму, беготни, толкотни, действий лиц исторических и великих в истории, все это стихами, языком неуклюжим, все это на живую нитку! <...> Сюда недавно приехала славная немецкая певица Зонтаг; всё, имеющее ухо, стремится ее слышать, и я уже успел не отстать в этом случае от просвещенной публики и насладился божественным голосом сего соловья Германии... из райка: все было занято и битком набито. Пушкин ускакал в Питер печатать «Годунова»: свадьба его будет в сентябре. <...> Здесь теперь Баратынский: он написал роман в стихах под заглавием «Цыганка».
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 23.VII. 1830. Москва.)

Несмотря на то что он Языков, он Языков только для понимающих. Для Булгариных он просто цель повыше других. Пусть их грязь не долетит до этой цели, но покуда летит, она заслоняет цель от взоров тех, кто внизу. <...> Пусть он воротится к своей «Ласточке». <...> Языкову крепкое рукопожатие за стихи. С тех пор, как я из России, я ничего не читал огненнее, сильнее, воспламенительнее. «Пловец» его мне уже был знаком,— это тот же, который хотел спорить с бурей, только теперь он дальше в океане.
(И. В. Киреевский — родным. VII. 1830. Мюнхен.)

Я все еще нахожусь в ожидании аттестата от Дерптского университета. <...> 26 июля скончался знаменитый Мерзляков — в бедности, так что на погребение коекак собрали.
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 3.VIII. 1830. Москва.)

Третьего дня воротился я из путешествия в Новый Иерусалим, продолжавшегося с неделю; ездил туда с Погодиным, воспользовавшись возвращением из Палестины, Сирии, Египта и проч. Андрея Муравьева: он объяснил нам все, что нужно, по части нашего Иерусалима сравнительно с истинным. <...> Видели архив, Никонову пустынь и проч.— все это чрезвычайно важно всякому русскому.
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.VIII. 1830. Москва.)

На похоронах у Василия Львовича (Пушкина) с Языковым.

(М. П. Погодин. Дневник. 23.VIII. 1830.)

Пушкин здесь: свадьба его еще не скоро совершится: недавно скончался его дядя В. Л. Пушкин, известный сочинитель Буянова. Все литераторы, находящиеся в Москве, провожали тело его в Донской монастырь, и на сих-то проводах Погодин, растроганный и умиленный очень приличною мыслью о бренности земных человеков, простер Полевому руку примирения — последствия еще не известны. <...> На сих днях я познакомился с человеком, известным в Европе по своим спорам о египетских иероглифах с Шампольоном,— и теперь сошедшим с поля сражения за неимением возможности печатать свои сочинения. Это Гульянов,— он живет теперь в Москве в бездействии по части книгопечатания, потому что уже не получает жалованья и, следственно, средств заниматься учеными изысканиями. <...> Он показывал нам несколько огромных кип тетрадей, им написанных о языкознании и Египте, рассказывал свою систему читать иероглифы и проч.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 28.VIII. 1830. Москва.)

Разговор о холере и здесь кипит. Сегодня поскакали, по именному повелению, в Саратов многие из здешних врачей — под предводительством Мудрова. <...> Пушкин уехал в Нижний осматривать деревню, ему отданную отцом, и заложить. «Годунов» на днях выйдет в свет: странная игра судьбы и шутка Аполлона! *Годунов* и *Марфа* — рядом выступают, вероятно, удивляясь своей современности! <...> Не знаю, за что Полевой назвал меня Беранже? Судьбы оного критика неисповедимы.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.IX.1830. Москва.)

Вам уже известно из «Московских ведомостей», что здесь делается. <...> Дом Елагиных находится в самом строгом оцеплении, никого не впускают и не выпускают, всех окуривают, кормят мясом, одевают как можно теплее и проч. и проч. <...> Посылаю список новой поэмы Баратынского, она вам понравится — есть много истинно прекрасного. Пушкин находится теперь в Нижнем. Погодин издает ведомость о состоянии здоровья города Москвы.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 4.X.1830. Москва.)

В торговой, вовсе не литературной Одессе, где после пламенных звуков Пушкина и слишком воздушных мечтаний Туманского, мгновенно согревших здешние расчетливые сердца, погасла всякая любовь к изящному и долго хлор, уксус и марганцовый окисл заступали место всякого вдохновения, мало-помалу родилась и созрела мысль — издать литературный альманах. Его предполагается напечатать к 1-му генваря 1831 года, но медленность типографии нашей заставляет меня в этом сомневаться. <...> Альманах сей намереваются назвать «Евксинскими цветами» и продавать в пользу Одесской публичной библиотеки. <...> Я имею намерение писать к А. С. Пушкину.

(М. П. Розберг — Н. М. Языкову. 16.X. 1830. Одесса.)

Сердечно радуюсь, что вы все здоровы... болезнь, кажется, начинает проходить, и мало-помалу все поправляются духом. <...> Наконец я получил аттестат от Дерптского университета.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 22.X. 1830. Москва.)

Канцеляриею Императорского университетского суда в соответствии с истиною аттестуется, что бывший студент философии Николай Языков в свое время при оставлении университета исполнил все требующееся и не был записан в книгу поведения.

(Дерпт. 10.IX. 1830.)

АТТЕСТАТ. По просьбе бывшего студента философии Николая Языкова, родом из Симбирска, о выдаче ему деканского свидетельства для получения увольнительного свидетельства дается ему просимый аттестат за подписом декана и приложением печати философского факультета в том, что, согласно предъявленных им специальных удостоверений, он с прилежанием слушал лекции по: энциклопедии философских наук, философскому учению о религии, логике, теоретической физике, римской истории (дважды), средневековой истории, новой истории, новейшей истории Европы, истории руссов, о современном состоянии европейских государств, о русском государственном устройстве и управлении, по европейскому международному праву, политической экономии, энциклопедии наук, относящихся к политической экономии (2 часть, один семестр), науке о торговле, римским древностям, истории живописи и архитектуры у древних народов, эстетике, ис-

тории русской литературы, объяснению избранных мест из русских поэтов и прозаиков.

(Дерпт. 12.IX.1830.)

Совет Императорского Дерптского университета дает свидетельство бывшему студенту философских наук Николаю Языкову, сыну гвардии прапорщика из Симбирска, в том, что он за время с 17 мая 1823 г., со дня своей иммatрикуляции[1], по 18 января 1827 г. надлежащим образом окончил полный свой академический курс. <...> Совет не может подать суждения о приобретенных им познаниях, потому что он не подвергал себя испытаниям, а потому и не может сообщить ему права на чин 12-го класса, даруемый действительным студентам. В отношении нравственности его поведение во время пребывания здесь было всегда безупречным.

(Дерпт. 12.IX.1830.)

Слава богу, холера в Москве проходит, и город ожил.

(М. П. Погодин — С. П. Шевыреву. 20. XI. 1830.)

После праздников, которых ждем с нетерпением, потому что при них обыкновенно бывают морозы, я начну приводить в действие желание мое решить судьбу моего в Москве: пора, пора!.. К Новому году все передряги, постигшие Москву, должны кончиться. <...> До сих пор здешняя зима походит более на осень или весну, нежели на бело; но мне все-таки жаль, что моя шуба не здесь. <...>

Пушкин здесь; он во время холеры сидел в деревне и написал множество стихов и прозы: две последние главы «Онегина», несколько отрывков драматических, критик, эпиграмм на Булгарина, статей полемических и проч. Вот каково!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.XII.1830. Москва.)

Вчера совершилась тризна по Дельвиге — Вяземский, Баратынский, Пушкин и я, многогрешный, обедали вместе у «Яра», и дело обошлось без сильного пьянства. «Литературная газета» кончается, а взамену ее вышепоименованные... главы нашей словесности предпринимают хоть с 1832 года издавать общими силами журнал. <...>

---

[1] Зачисление в студенты.

Благословляю сердечно твое намерение переселиться на берега пустынных вод, в широкошумные дубравы. <...> Глушь, и именно такая, в какую ты устремляешься, есть и, вероятно, вечно будет лучшим, чистейшим (хотя и несбыточным) желанием всего существа моего. В начале, или половине, или, наконец, в конце будущего февраля — надеюсь переехать от Елагиных.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 28.I.1831. Москва.)

«Годунов» уже есть у тебя, я же по этой части вот что сделаю: спишу места, пропущенные при печатании, и переплету воедино с печатным, куда что следует,— и наша библиотека украсится полным «Годуновым». <...> Я еще не оправился вовсе: я ведь месяц тому назад простудил голову — и лечу оную до сих пор шпанскими мухами, слабительными и проч. <...> Журнал Надеждина ты получаешь — «Молва» глупа до крайности. <...> «Годунов» раскупается слабо. Пушкин точно издал его слишком и слишком поздно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 11.II.1831. Москва.)

Познакомилась я с ним в самый день свадьбы Пушкина. Сидела я в тот день у Ольги. Вечером вернулся Павел Войнович и с ним этот самый Языков. Белокурый был он, толстенький и недурной. Они там на свадьбе много выпили, и он совсем как не в своем уме был. Как увидал меня, стал мне в любви объясняться. Я смеюсь, а он еще хуже пристает; в ноги мне повалился, голову на колени мне уронил, плачет: «Я,— говорит,— на тебе женюсь. Пушкин на красавице женился, и я ему не уступлю». Однако очень он меня тут огорчил. <...> Увидал он у меня на руке колечко с бирюзою. «Что это за колечко у тебя,— спрашивает,— заветное?» — «Заветное».— «Отдай мне его!» — «На что оно вам?»,— говорю. А он опять пристал, сдернул его у меня с пальца и надел себе на мизинец. Я у него отнимать,— он ни за что не отдает. «До гроба не отдам!» — кричит. И как я ни плакала, со слезами молила, он не отдал. Павел Войнович говорит мне: «Оставь, отдаст, разве думаешь, он и в самом деле?»

(Т. Д. Демьянова, певица-цыганка. 1875.)

«Годунов» сделал на меня то же впечатление, как и на вас: он в целом как-то слаб, эпоха, век, характеры выражены неполно; самые отдельные части представляют

только слабые очерки картин, которые не имеют сильного, общего, целого действия на воображение. Но, впрочем, это первый шаг, и большой! Язык готов, может быть, Пушкин обдумает еще что-нибудь подробнее, живее и проникнет глубже, что совершенно необходимо для картины столь разнообразной, обширной и трудной, как историческая драма.

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 23.II.1831. Москва.)

18-го числа сего месяца совершилось бракосочетание Пушкина. Говорят, что его супруга совершенство красоты. Когда увижу ее, опишу ее тебе с ног до головы; думаю, что и то и другое дела важные в быту супружеском. Накануне сего высокоторжественного дня у Пушкина был девишник, так сказать, или, лучше сказать, пьянство прощальное с холостою жизнию. Тут я познакомился с Денисом Давыдовым,— и нашел в нем человека чрезвычайно достойного любопытства во всех отношениях — несмотря на то, что в то же время он во мне мог найти только пьяного стихотворца. <...>

У меня есть большая просьба до тебя и брата Александра. <...> Вот в чем дело: Иван Чухломской, по общему свойству сердец человеческих, влюбился здесь в девственницу — дочь отца, не состоящего в рабстве,— требуется, чтоб и он не принадлежал господам; ты уже догадываешься, что я ему обещал по сей части, в чем состоит моя просьба. Как сделать это, во всех смыслах доброе дело? Да благословит бог сердца любящих!..

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 25.II.1831. Москва.)

Я купил для подарения тебе вещь важную, знаменитую, запрещенную: именно *историю революции французской* Тьерса — прими ее как знак моего желания видеть в твоей библиотеке хорошие книги и как знак моей благодарности к твоей особе. Вот что мне хочется сделать с самим собою: отложить попечение об экзамене, потому что, кажется, пора назвать глупыми все мои толки об нем и сборы к нему и определиться здесь куда-нибудь, хоть в Архив, примерно на год, прожить этот год в стихописании, а потом, получив чин, переселиться в деревню — видя в этом последнем слове глушь заволжскую, жизнь тихую, трудолюбивую и, следственно, благородную и прекрасную.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.II.1831. Москва.)

Дня через три я переселяюсь на свою квартиру; она стоит сто рублей в месяц, нанята помесячно, потому что мое намерение писать стихи необходимо поставляет меня, так сказать, в желание жить весною за городом: постараюсь на берегу Москвы-реки — там, откуда виды самые восхитительные, например в Тюфелевой роще или в слободе подле Симонова монастыря. Главное для меня теперь состоит в том, чтоб уединиться и писать стихи. Это главное. <...> Погодин покупает деревню за 49 верст от Москвы, где будет жить в трудах литературных. Он, кажется, влюблен. Это легко заметить из его повести «Адель», несмотря на ее нелепость.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 11.III. 1831. Москва.)

Загоскин возвратился сюда директором театра... он наследует Кокошкину, существу вовсе неразумному, пошлолому, подлому и ослу. <...> «Наложница» Баратынского вышла и уже ходит по Москве — прошу вас принять ее от меня. <...> Вероятно, ее разругают за одно заглавие наши *нравственные* журналисты.

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 21.IV.1831. Москва.)

Я, брат, теперь нахожусь в страдательном положении; вот уже две недели, как не встаю с одра болезни. <...> Я жительствую теперь в доме Малиновского (два шага от Красных ворот). <...> Как тебе нравится «Телескоп»? Он, кажется, получше «Телеграфа». <...> С этим письмом ты получишь «Наложницу»: ты не знаешь ее в таком виде, как она напечатана — многое переделано, переправлено и целая глава прибавлена. <...> Жуковский написал 11 новых баллад и несколько мелких стихотворений. Говорят, что они уже печатаются; а если еще нет, то, конечно, Елагина получит их в рукописи, и я тебе пришлю. <...>

Что же ты не похвалил мой псалом, напечатанный в «Деннице»? (В нем по трусости Максимовича поставлено слово «природа» вместо «свобода», и вышла бессмыслица.) Переехав на новую квартиру, я было принялся стихотворствовать — и довольно успешно, да не далеко успел: болезнь остановила. <...> Это был только разбег, первоход Музы. <...> На лето переселюсь я в деревню, принадлежащую Остерману-Толстому,— Ильинское. Туда отправляются через неделю Елагины. <...>

Для меня в истории главное факты, а взгляд да будет

у всякого свой, тогда только польза истории самодейственна, а вытвердить чудную идею, не переварившуюся на фактах, едва ли полезно, и мне кажется, что главное искусство истории состоит совсем не в соображении множества фактов и выведении из них мысли, а в расставлении и гармонивании фактов так, чтобы мысль сама собою рождалась в голове читателя — тогда только она будет ему своя, родная, вечная!
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.IV.1831. Москва.)

Нахожусь я в деревне, зовомой Ильинское, находящейся верстах в 20 от Белокаменной, на берегу Москвы-реки, на месте высоком, осененном различными древами садов и лесов. Я, брат, еще все только что оправляюсь, слаб и бледен. <...> «Рославлева» я тебе пришлю сам: зане я неосторожно поступил в отношении к нему, купив его. Ну, брат, кажется, Загоскину надобно бы перестать писать роман... есть порядочные, даже хорошие отдельные места, по связи с целым ни гугу, потому что нет целого; ни одного характера не только завлекательного, но и живо нарисованного. <...> Извещал ли я тебя, что Погодин сочиняет трагедию «Алексей Петрович», а какой-то Трилунный — роман «Димитрий Самозванец»?
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 14.VI.1831. Ильинское.)

Главное и единственное занятие и удовольствие составляют мне теперь русские песни. П. Киреевский и я, мы возымели почтенное желание собирать их и нашли довольно много еще не напечатанных и прекрасных. Замечу мимоходом, что тот, кто соберет сколько можно больше народных наших песен, сличит их между собою, приведет в порядок и проч., тот совершит подвиг великий и издаст книгу, какой нет и быть не может ни у одного народа, положит в казну русской литературы сокровище неоценимое и представит просвещенному миру чистое, верное, золотое зеркало всего русского. Не хочешь ли и ты участвовать в сем деле богоугодном и патриотическом? При тебе находится Мануков, писец отличный; употреби его, растолковав ему, в чем дело: пусть записывает слово в слово, что как поется, не ленясь записывать одну и ту же песню и несколько раз, когда, смотря по месту, найдет в ней какие-либо перемены. <...> Да нужно бы записывать и сказки. <...> А волжские песни? Что ж мы?
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 12.VII. 1831. Ильинское.)

Все Ильинское преторжественно собралось ко мне. <...> Спектакль был очень смешон; Свербеев и Мельгунов хохотали от души, и Свербеев уверяет, что у нас русских таких фарсов еще не было. Языков сперва очень струсил, но, отважившись выйти на сцену, играл своего халдейского принца прекрасно. Петруша в роли трактирщика был превосходен.

(А. П. Елагина — А. А. Елагину. 14.VIII.1831. Ильинское.)

Прошу вас доставить мне удовлетворительные сведения вот о чем: как получается позволение издавать журнал? Через какие мытарства проходит просьба и самое лицо просителя в собор властей предержащих? Каков должен быть собою таковой проситель: может ли он быть существо безызвестное в жизни нашей литературы или ему необходима молва человека, издавшего хоть какой-нибудь звук на Парнасе и проч.? Все это нужно мне ведать для некоторых соображений на будущий 1832 год, об которых напишу вам подробно в свое время.

Я завлек брата Александра в верное предприятие собирать заодно со мною, и еще кое с кем, русские песни: он уже начал сильно действовать — в местах самых надежных, на берегах Волги, Камы, Белой и проч. Под Москвою я собрал нынешним летом около полсотни. Каково? Если бог-вседержитель поможет этому благому начинанию, сделается на Руси дело великое — явится миру сокровище бесценное и самоцветное!

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 9.IX.1831. Москва.)

Я служу царю и Отечеству с 16 текущего месяца. Где служу? Ты знаешь где. Я, ей-богу, не хочу и не желаю никаких мирских почестей гражданских: это не моя атмосфера; чувствую, что я бы задохнулся в ней. Место, мною занимаемое, единственное в России уже и потому, что я его занимаю! Баратынский сидел на нем дома с честию: дослужился до 14 класса — и вышел вон! <...> «Европеец» начнется быть изданием с 1832 года. Издатель И. Киреевский, юноша, которого я знаю вплотную, люблю как человека, уважаю как писателя образованного, и мыслящего, и благонамеренного, и чистого!!

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 23.IX.1831. Москва.)

Мне приятно и сладостно познакомить с вами литературного доброго молодца, который вас уже уважает и ко-

торого знакомством и приязнью я могу гордиться как человек и писатель. Это И. В. Киреевский; он-то выступает, с 1832 года, на публичную службу русской словесности, возвергая на рамена свои временник, глаголемый «Европеец». <...> Он уже подал просьбу и программу в здешнюю ценсуру — и просит вас о пособии в Питере. Как пойдет это дело? Не можете ли, в случае каких-либо сомнений или вопрошений со стороны властей, вы их разрешать и отвечать, как можно полнее, вместо самого издателя?

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 23.IX.1831. Москва.)

В нынешнее время никто, кажется, уже не сомневается в важности памятников народной поэзии; посему читателям нашим, конечно, приятно будет узнать, что двое молодых литераторов занимаются собиранием в разных губерниях народных песен и, как мы слышали, труды их уже увенчались успехом: им удалось собрать значительное число песен, доселе не напечатанных. Критическое издание подобного собрания будет важным пособием при изучении не только истории русской литературы, но нравов, обычаев и поверий русского народа и самой истории нашего отечества.

(Северная пчела, 1831, № 212.)

Должно мне оправдать себя перед вами. Вы, верно, рассердились, увидев в «Пчеле» нескромное объявление о предприятии вашем и Александра Михайловича; но это не моя вина. <...> Когда получил ваше письмо, встретился я с Очкиным. Речь была об вас, об Александре Михайловиче. <...> Как же я удивился, как досадовал, прочитав в «Пчеле» то, что было говорено с глазу на глаз.

(В. Д. Комовский — Н. М. Языкову. 27.IX. 1831. СПб.)

Заняв мое место у Гермеса, ты обязан вполне заменить меня. Я служил два года. <...> Кажется, бог поэтов ныне не Аполлон, но Гермес: кроме тебя и меня служил у него когда-то Вяземский. Что ты поделываешь? И скоро ли будешь писать стихотворения? Пришли, что напишешь, это разбудит во мне вдохновение. Киреевский принимается за журнал. Весть эта очень меня обрадовала. Будем помогать ему всеми силами.

(Е. А. Баратынский — Н. М. Языкову. 28.IX.1831. Казань.)

Наш Парнас просыпается: Жуковский написал целый том новых стихотворений, Пушкин — повесть в стихах и еще пишет; и моя поэзия тоже не в бездействии пребывает: если благословение господне меня не оставит, то к 1-му генваря 1832 года у меня будет 2 000 стихов свежих — и выиграю заклад. Всего больше боюсь светской рассеянности: того и гляди затаскаюсь и растаскаюсь в ее шуме и блеске! Если совершится сие поэзии моей дельное дело, то я выдам в свет собрание моих стихотворений: это должно будет сделать и потому, что пора будет и довольно их, и потому, что на них есть особенный отпечаток и характер в них дышит такой, которого не должно быть в последующих. Пусть они и существуют особняком. Теперешние все любовные, винные (это не беда; у меня пьянство — своё: оно, так сказать, mare clausum [1] моей поэзии), но что ж мне делать: тороплюсь, большого начать не смею; жаль не вовсе ему предаться, а это невозможно: надобно писать на прохладе, не считая, сколько стихов на день и проч.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 30.IX.1831. Москва.)

Вчера главное управление цензуры разрешило издание «Европейца». Разрешение последовало очень благополучно, без малейших затруднений. <...> Через неделю должны появиться «Баллады» Жуковского и прозаические повести Пушкина под именем Белкина.

(В. Д. Комовский — Н. М. Языкову. 14.X. 1831. СПб.)

Да, государи мои, я хочу выдать собрание моих стихотворений: вообще пора — и потому особенно, что пора переменить мне направление моей поэзии. Так и будет с 1832 года. А что до сего времени написано, надобно напечатать особо, как своехарактерное, не имеющее сходствовать с будущими моими стихами и проч. <...> Теперь мое стихописание приостановилось по причине приезда Жуковского: все вечера уже не мои, а они-то и главное мне; утро годится только на правку того, что написано вечером, несмотря на то, что оно слывет мудренее, чем сей последний. Посылаю вам еще тетрадку стихов. <...> Здесь теперь все скачет, пляшет и веселится: то и дело балы, театр и проч., украшенные присутствием венценосцев. Наследник тоже здесь. Я имею счастие всякий день

---

[1] Внутреннее море *(лат.)*.

видеть Жуковского; он написал очень много нового: скоро выйдут (уже напечатаны: дело остановилось за гравюрою) его баллады — прежние и много новых; кроме этого, он рассказал стихами некоторые русские сказки: прелесть! Одна из них будет в первом № «Европейца». Пушкин печатает свои повести в прозе и написал тоже много нового и, между прочим, сказку под названием «Балда»! «Вечера на хуторе» — славная вещь. Полевой бранит их за то, что думает, будто их сочинитель Перовский. <...> Благодарю Ивана Денисовича за сказки и присказки, для меня им собираемые: нетерпеливо жду их в Москву.

(Н. М. Языков — братьям. 4.XI. 1831. Москва.)

На прошлой неделе я насладился слушанием истинно очаровательного пения соловья российского — Бартеневой — и обещался написать к ней стихи.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 11.XI.1831. Москва.)

Справьтесь... что стоют все годы журнала «Христианское чтение»: здесь его вовсе нет,— и еще: какой лучший перевод Библии на немецкий язык (Лютеров я знаю: это экстракт, и мне мало), какой лучший толковник Библии: фактический, не мистик и не мудрователь; нет ли полного словаря библейского, если можно, тоже чисто исторического, чисто археологического, чисто географического. <...> Все это мне нужно, важно, необходимо и любо возыметь: потому что с 1-го января 1832 года моя муза должна преобразиться: я перейду из кабака — прямо в церковь! Пора и бога вспомнить! <...> А каков Гоголь-Яновский? Он мне очень нравится. Может быть, и за то, что житье-бытье парубков чрезвычайно похоже на студентское, которого аз есмь пророк!

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 11.XI.1831. Москва.)

Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета,
Когда смиренная диета
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,
Когда, от бурных увлечений

Желанным отдыхом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
Или бездушным журналистом;
Приходит все своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастия поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы музы молодой.

Вот тебе, милый Языков, несколько неладных рифм, которые однако ж показывают, что я о тебе думал. Когда-то увидимся! <...> Киреевский мне обещал прислать твои новые пьесы, и всё не присылает. <...> Я любовался на твою печать: мысль очень счастливая и смелая. Свети им твоя поэзия: она украсит всякий подсвечник.

(Е. А. Баратынский — Н. М. Языкову. 23.XI.1831. Казань.)

Сердечно благодарю вас, любезный Николай Михайлович, вас и Киреевского, за дружеские письма и за прекрасные стихи, если бы к тому присовокупили вы еще свои адресы, то я был бы совершенно доволен. Поздравляю всю братию с рождением «Европейца». Готов с моей стороны служить вам чем угодно, прозой и стихами, по совести и против совести. Ф. Косичкин до слез тронут вниманием, коим удостоиваете вы его, на днях получил он благодарственное письмо от А. Орлова и собирается отвечать ему; потрудитесь отыскать его (Орлова) и доставить ему ответ его друга (или от его друга, как пишет Погодин). Жуковский приехал; известия, им привезенные, очень утешительны.

(А. С. Пушкин — Н. М. Языкову. 18.XI.1831. СПб.)

Как тебе понравились «Повести Белкина»? Мне так не очень: «Выстрел» и «Барышня-крестьянка» лучше прочих, а прочие не стоят письма и тем паче печати. Баратынский тоже пишет повести в прозе: его будут гораздо лучше, он вообще мастер рассказывать. Например, прежде, нежели мы видели «Выстрел», он рассказал его здесь удивительно ладно и стройно, неизмеримо лучше, чем в печатном оный написан. Пушкин издает третью часть своих стихотворений. Погодин возвратился из Питера с шишом: ни да, ни нет. Неизвестно еще, что будет с его «Петром», который пойдет под высочайшую волю. Хомяков пишет трагедию «Дмитрий Самозванец», его «Ермак» уже напечатан. <...> Сергей Глинка издает свои записки, говорят, чрезвычайно любопытные. Полевой продал роман свой Ширяеву за 10 тыс. р. Орлов пишет тоже роман «Настоящий Выжигин». <...> «Европеец» будет славная штука, все лучшее в нашем кругу литературном в нем участвует. <...> Бальзака «Картины частной жизни» переводит на русский Авдотья Петровна. Я жду окончания перевода, и пусть Котел читает на русском, не все же на заморских наречиях. <...> Приезжай издавать мои стихотворения. <...> Что делать, что много пьянства и буянства в моих стихах, зато у меня и то и другое оригинальнее и *гуще,* нежели у прочих воспевателей питья и гульбы, как мне заметил Бартенев.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 18.XI.1831. Москва.)

«Обзор русской истории от смерти Петра I до воцарения Елисаветы» — вещь довольно хорошая, потому что почти всего этого не бывало на русском. <...> Ах, господи! я все еще и без тех книг, которые уже имею! Когда-то с ними увижусь и соединюсь! Что ни говори, а из одной библиотеки для чтения Ширяева, где нет ни одной порядочной книги, не много почерпнешь и ничего не выпьешь. <...>

Едва ли есть под небесами — и дай бог, чтоб не было его,— человек, так сильно не умеющий домовничать, а следственно, и жить вообще, как я. <...> Благодарю за русские песни.

«Северные цветы» явятся в начале декабря — это тризна по Дельвиге: они издаются в пользу его детей и брата.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.XI.1831. Москва.)

«Горе от ума» здесь играют вполне, выпускается только самонеобходимейшее; публика толпится за билетами и

хлопает неумолчно, даже немцы хвалят остроты Грибоедова на иноземцев и им восхищаются.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 9.XII.1831. Москва.)

Мой прежний товарищ А. Степанов, юноша, воспитанный в Германии во всем пространстве филологии латинской и греческой, теперь находящийся в Витебске учителем, составил греческую грамматику, историю латинской литературы и составляет греко-российский словарь. Вот каковы наши дерптские! Я буду издавать сии труды благословенные!

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 9.XII.1831. Москва.)

Да, я было расписался не на шутку, но теперь это дело приостановилось: прежде ему помешал приезд Жуковского. <...> Вот еше приехал Пушкин.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 16.XII.1831. Москва.)

Я видел представление «Горя от ума». Оно здесь идет нестерпимо худо: почти все актеры, не исключая и Щепкина, играют плохо: всех плоше Мочалов — Чацкого, один только полковник Скалозуб очень и очень хорош. Несмотря на все это, публика жадно смотрит сию первую русскую комедию: театр всякий раз полон. <...>

На днях у меня был Орлов — известный соперник Булгарина: лицо очень назидательное: он принимает за чистые деньги статьи Косичкина, собирается писать «Историю русского народа» с тех пор, где остановился Полевой; видно, что он вечно пьян; знает по-латыни, по-немецки и по-французски, пишет единственно для пропитания — и пользуется великою известностью в распивочных и гостином дворе. <...> Он воспитывался в Московском университете,— прежде жил уроками. Наружность его — не гениальна: вспомни стих Сумарокова: «Известно, что у пьяной рожи Огонь пылает из-за кожи»; черты лица непривлекательные: глаза, углубленные под нависшие брови, и чело неоткрытое, волосы черные, склокоченные копной. Говорит он неумно, глух и неповоротлив от природы, а не от застенчивости. <...>

Пушкин здесь. Он только и говорит, что о *Петре,* которого не возлюбляет; он много, дескать, собрал и еще соберет новых сведений для своей «Истории», много, тоже дескать, открыл, уже сообразил, осветил и проч. Стихов написал, кажется, немного; сказки его, сколько я могу су-

дить об них по несколько стихов, им читанных, далеко отстали от Жуковского: это не его род; у Жуковского — точно неподражаемое искусство рассказывать просто и поэтически приключения самые простые, а это, брат, важная вещь — и иногда главное! В одном из первых №№ «Европейца» ты увидишь его сказку о мышах и лягушках (он ее не кончил и не кончит): посмотри, как все это прекрасно! Вообще по языку чудо в нашей словесности.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.XII.1831. Москва.)

«Вечера на Диканьке» сочинил Гоголь-Яновский. <...> Мне они по нраву: если не ошибаюсь, то Гоголь пойдет гоголем по нашей литературе: в нем очень много поэзии, смышлености, юмора и проч.

«Лейтенант Белозор» меня восхитил. Какой мастер своего дела А. Б., какая широкая кисть и какой верный взгляд и искусство ставить предмет перед глаза читателя живо, ярко и разительно. Что перед ним или даже далеко лет за 8 прежде этот Белкин? Суета сует и всяческая суета. Пушкин сегодня отправился обратно в Питер.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 22.XII.1831. Москва.)

«Петра», трагедию Погодина, не позволено печатать, а «Марфу» собираются здесь на театре поставить в бенефис Щепкина. Само собою разумеется, что выгода будет большая: предмет русский, как бы он обработан ни был для сцены, все-таки собирает толпы зрителей, как видно по «Пожарскому» Крюковского.

(Н. М. Языков — братьям. 29.XII.1831. Москва.)

Языков расшевелил меня своим посланием. Оно — прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие! Такая свежая чувствительность! Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней настоящее вдохновение!

(Е. А. Баратынский — И. В. Киреевскому. 1832. Казань.)

В Новый, 1832-й год вышел 1-й нумер этого журнала, который открывался статьею самого Киреевского — «Девятнадцатый век»; затем идут: сказка Жуковского «О спящей царевне»; статья Д. Н. Свербеева об Июлиане, «О слоге» Вильмена, элегия Баратынского:

«В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей...»;

послание Языкова к Е. А. Свербеевой и его стихотворение «Ау!», отрывки из писем Гейне, «Обозрение русской литературы за 1831 год», о письмах из Парижа Людвига Берне. В смеси помещены: литературные новости, о Северо-Американском сенате, из Жан-Поля, «Горе от ума» на московской сцене и письмо из Лондона.

За первым вышел второй... который начинался произведением Жуковского «Война мышей и лягушек», за коим следовали: повесть Баратынского «Перстень», «Воспоминание» Языкова об А. А. Воейковой, автобиография Карла Марии Вебера, стихотворения Языкова «Конь» и «Элегия» («Ночь безлунная звездами...»), послание Баратынского к Н. М. Языкову, письмо Гейне, «Современное состояние Испании», стихотворение Хомякова «Иностранке», продолжение «Обозрения русской литературы за 1831 год», о Бальзаке. В смеси помещено: письма из Парижа, Берлина, о русских альманахах на 1832 год, антикритика, по поводу помещенного в «Телескопе» разбора «Наложницы» Баратынского, о небесных явлениях. Цензором «Европейца» был С. Т. Аксаков.

По выходе первой книжки Погодин, в день рождения А. П. Елагиной, у нее обедал и спорил с И. В. Киреевским по поводу его утверждения, что «Россия должна все перенимать у иностранцев».

(Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 4. СПб., 1891.)

«Северные цветы» к тебе едут; они не очень задорны, несмотря на все старание их издателя Пушкина и на то даже, что это тризна по Дельвиге. <...> Пушкин что-то чванится с Киреевским, стихов не дает, а только обещает всего, всего и проч. Статья Киреевского об «Горе от ума» задорит и сердит многих москвичей — и немцев. <...> «Стрельцы», как мне кажется, вздорное произведение, а Масальский — наследник бездушия и пошлости Булгарина в романе. Жаль, что у нас исторические предметы — и самые важные, своехарактерные и действительные — попадают в руки бесталанных головушек! <...> Надежда на Марлинского, который, ей-богу, и пишет лучше и имеет больше таланта романтического, чем все иные-прочие, знаменитые и простые.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.I.1832. Москва.)

ЯЗЫКОВУ

Бывало, свет позабывая
С тобою, счастливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни вётреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятным божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вожделенья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает;
Лишь для любовника она
Наряд Менады надевает;
Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру,
Наперснице души твоей
Дай диадиму и порфиру;
Державный сан ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и свою.

Вот что внушило мне твое послание, исполненное свежести, и красоты, и грусти, и восторга. <...> Твои студенческие элегии дойдут до потомства, но ты прав, что хочешь избрать другую дорогу. С возмужалостью поэта должна мужать и его поэзия. Без того не будет истины и настоящего вдохновения.

(Е. А. Баратынский — Н. М. Языкову. Помета Языкова: «Получено 1832 г., января 13».)

Вчера получил я «Христианское чтение» и уже начал питаться им в удовольствие и во благо души моей. Оно

книга чрезвычайно важная: все в ней дельно, умно, учено и изложено сильно и чисто; многому доброму можно или паче должно из нее научиться. Теперь для полного развития моих поэтических намерений недостает мне только хорошего перевода и толкования на Библию — из немецких, «Церковной истории» Иннокентия (ее нельзя купить покуда: скоро выйдет новое издание) и «Миней». Но и все это приобрету со временем, которое скоро наступит, потому что связано с изданием моих стихов вакхических. <...> Погодин готовится сочинять оперу, и я ему помогать буду. Завтра начнется наш труд — или мой: зане Погодин пишет стихи чрезмерно скоро, а мне мои достаются не даром.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 13.I.1832. Москва.)

Вот что нового: Устрялов издал 1-ю часть собрания известий иностранцев о Дм. Самозванце; я тебе пришлю ее: вещь высокой важности! Евгений печатает свою «Историю Пскова» — тоже подвиг великий. Иакинф перевел китайский роман, отрывок из которого ты видел в «Северных цветах», и этот роман тоже скоро начнут печатать. Брат Петр, как сам извещает меня, отрыл в Симбирске голову мамонта и еще огромный остов какого-то допотопного зверя — весь целый. Все это дела достославные. <...> Полевой резко защипывает «Повести Белкина»; он вообще свирепеет не по дням, а по часам, делается все важнее и решительнее в приговорах и все выше и выше поднимает свой медный лоб.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.I. 1832. Москва.)

Я наконец получил рукопись всех моих прошлых потех парнасских, теперь занимаюсь их переправлением, переписыванием, приведением в порядок.

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 22.I. 1832. Москва.)

В этом пакете посылаю к вам, почтеннейший Николай Михайлович, целую тетрадь замечаний о. Иакинфа, с его же письмами, из коих некоторые нужны вам будут для соображений; в одном же есть еще короткое известие о Миссии Российско-Китайской. <...> Я между тем пишу для «Европейца» повесть. <...> В статье Иакинфа попросите И[вана] В[асильевича] поправлять неточности и неровность слога,— он сам об этом просит.

(О. М. Сомов — Н. М. Языкову. 26.I.1832. СПб.)

Я теперь погружен всеми моими помышлениями в мои прежние стихотворения: переделки много — и необходимой, так, напр., должно выкинуть из них сколько можно больше самохвальства, если нельзя уже всего — и проч., а это не шутка, однако ж недели через две, вероятно, они будут готовы и в новом виде — и так далее.

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 28.I.1832. Москва.)

Многое придется вынимать: много было хорошо прежде, а теперь хоть брось. Но, несмотря на всех сих искидышей, все-таки выйдет книжка довольно толстая: чрезвычайно разнообразная содержанием, пестротою вдохновений, чувств и воззрений на жизнь и тем лучше, тем похожее на сие время действования моей Музы!

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 3.II.1832. Москва.)

По секрету. Пошли за Киреевским и скажи, что на его «Европейца» собирается гроза. Донесли о худом направлении мыслей журнала, обнаружившемся в статье «19-й век» и разборе комедии «Горе от ума». Государь читал эти статьи. Вероятно, дадут ход этому обвинению. <...> Я уверен, что это Булгарина — Полевого штука.

(П. А. Вяземский — В. Ф. Вяземской. 6.II. 1832. СПб.)

«Европеец», кажется, прекратился. Его величество сильно разгневался на издателя и на цензора Аксакова за статью о «Горе от ума», особенно за то, что там говорится о немцах; приказал было издателя привезть в Петербург для садки в Петропавловскую, а цензора водворить на гауптвахту, но, бог весть почему, смягчился, и дело кончится обыкновенным запретом. Жуковский пишет к Киреевскому, что ежели он, Киреевский, напишет оправдательное письмо к Александру Христофоровичу, то журнал может продолжиться: но что за охота писать, сидя под придирками жандармов. Не знаю, на что решится Киреевский. Нет никакого сомнения, что это штука Булгарина. <...> Свербеев сильно перетрусился известием о судьбе «Европейца», ведь его перевод был в 1 №. Он вздумал, что всех участников в сем гибельном деле, по крайней мере, пересекут или сошлют в монастырь и крепость, если уже не повесят. Такова сила общего мнения.

Я спрашивал Дюка о С. М. С[еменове]. Он мне ничего не ответил, вероятно, убоявшись почтовой бумаги: напишите об нем все, что знаете, с верной оказией. Здесь гово-

рят, что он находится в крайней бедности, и вследствие сего юноша кн. Трубецкой — родной брат того — собирает ему вспоможение; я, вероятно, скоро буду в состоянии участвовать в сем деле богоугодном, зане на днях продам собрание моих стихотворений и разживусь хоть немного!!!

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 18.II.1832. Москва.)

Что с бедным Языковым, больным и пораженным смертию матери? Уведомь меня о нем.

(Е. А. Баратынский — И. В. Киреевскому. 1832. Казань.)

От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик. <...> Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. <...> Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая.

(Е. А. Баратынский — И. В. Киреевскому. 14.III.1832. Казань.)

«Европейца» запретили вот почему: государь император, читая 1 № сего журнала, заметил, что в нем говорится о политике, что в статье «XIX век» автор под словом «просвещение» разумеет «свободу», под выражением «искусно отысканная средина» — конституцию и, наконец, в статье о «Горе от ума» под именем иностранцев — русских губерний Лифляндской, Курляндской и проч. Это же сказано в официальном бумагоприслании в здешнюю цензуру из Петербурга от Александра Христофоровича. Цензуре приказано смотреть наистрожайше и за всеми прочими журналами, особенно за «Телеграфом» и «Телескопом», в коих, дескать, тоже замечается направление либеральное. Само собою понятно, что во всей этой штуке участвует Фаддей. <...> Мои стихотворения вышли чрезвычайно окарнанными из-под пера Льва Цветаева: этот Лев — Осёл! Не знаю уже, почему не пропустил он «Ливонию». Слово «свобода» я должен был везде заменить другим, где было только можно, я ставил «природа» и проч. <...>

Через Москву проехал Иакинф. Я познакомился с ним у Погодина, где по сему важному случаю было собрано все литераторство московское. Он человек чрезвычайно умный, знающий Китай, как «Отче наш»; похож на портрет свой, приложенный к запискам о Монголии. Странно и многим соблазн видеть монаха, вкушающего мясо в пост, и курящего трубку, и пьющего вино: он еще носит одежду инока. Везет в Петербург огромное собрание рукописей тех стран неизвестных и свой перевод истории Китая в XII томах. Каковы наши! С Иакинфом возвращаются и студенты миссии, они все научились по-китайски.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 30.III. 1832. Москва.)

У меня было намерение издать собрание моих стихотворений. Цензура не пропустила; но рука времени так пригладила вольные кудри моей музы, что она больше походит на рекрута, нежели на студентскую прелестницу, и я решился подождать других обстоятельств.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 30.III. 1832. Москва.)

Не хочешь ли участвовать в способствовании Венелину издать 2-ю часть о болгарах? Поездка его в Болгарию была очень счастлива: все его предположения о гуннах подтвердились решительно, и в истории средних веков произойдет переворот чрезвычайно важный.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 13.IV. 1832. Москва.)

Замечательно глупо толкование Булгарина о Пушкине — пошлость нестерпимая.

(Н. М. Языков — Ф. В. Чижову. 14.IV. 1832. Москва.)

Я занимаюсь уже приготовлением экипажа, разных разностей и всякой всячины к моему путешествию: бричка... является очень удобною для сего моего важного предприятия, которое есть подвиг. Не знаю еще покуда, которого числа совершится мой выезд из Белокаменной, не знаю, одинок ли и тих поеду я, канцеляристом, существом вовсе безоружным против всех притеснений, задержек и проч., или под генеральскою фирмою Д. Давыдова: на днях оба эти вопроса разрешатся.

(Н. М. Языков — П. М. Языкову. 27.IV. 1832. Москва.)

Что поделывает Языков? Этот лентяй из лентяев пишет ли что-нибудь? Прошу его пожалеть обо мне: одна из

здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которое я должен отвечать.

(Е. А. Баратынский — И. В. Киреевскому. 16.V. 1832. Казань.)

Милый друг и брат Языков! <...> Славное вы дело сделали, что собрали так много песен, а мне это стыдно, что я еще до сих пор не собрал ни одной. Однако и я не отстану и скоро примусь за дело.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову в с. Языково. 9.VII. 1832, с. Ильинское.)

Мы покуда все еще занимаемся переводом гомеопатических таблиц Гартлауба, тем паче, что ежедневно и решительными опытами удостоверяемся в истине великого закона природы, открытого бессмертным Ганнеманом. Мы уже одолели головные, глазные и ушные боли. <...> Работа довольно трудная.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 11.VIII. 1832. Языково.)

Пушкину позволено издавать газету; он приглашает Киреевского и меня в нее; не знаю, как первый, а мне не с чем покуда, а это покуда может быть очень долго.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 24.VIII.1832. Языково.)

Что ты делаешь в своей Волжской стороне и скоро ли собираешься опять в Москву, на государственную службу? <...> Что до меня касается, то я теперь совершенно углубился в народные песни и сказания... собрал около 70 песен... собрал 14 стихов, которыми смело могу похвастаться. Эти стихи, которые поют старики, старухи, а особенно нищие, и между нищими особенно слепые,— вещь неоцененная! Кроме их филологической и поэтической важности из них, вероятно, много объяснится и наша прежняя мифология.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 9.IX.1832, с. Ильинское.)

Не знаю, что сказать вам об печатании собрания моих стихотворений: не лучше ли отложить его — даже хоть в долгий ящик? Впрочем, и это дело вовсе зависит от брата Александра, потому что я сам имею честь от него же зависеть: им, так сказать, живу и движусь!

Сердечно благодарю вас за известие о печатании по-

вестей А. Б[естужева] и повестей же Даля; одну из сих последних (именно о сержанте) я знаю: тут есть дух русский. <...> Не забудьте поручить Смирдину доставить для нашего обихода экземпляра 3 повестей Бестужева и Даля — при первом их появлении.
(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 20.X.1832. Языково.)

Когда же ты к нам возвратишься? <...> Без тебя здесь и скучно и пусто и недостаточно. <...> Повести Луганского не только вышли, но уже и запрещены. Вышли сочинения Д. Давыдова.
(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 16.XI. 1832. Москва.)

Я принялся за «Простонародную книгу о Мире» и уже написал 10 глав оной. <...> Но как ее печатать без вашего просмотрения и благословения? Между тем пока вы еще в деревне, то я попрошу вас подметить разные народные слова и мнения, до природы касающиеся. Так, например: как называются разные созвездия? <...> Особенно было бы важно заметить их мнения и замечания о влиянии Луны. <...> Пригласите и брата вашего на помощь. <...> Буду вас ждать да поджидать, чтобы прочесть вам свою книгу, которая у меня приписана *крестьянину Науму*, которого бог умудрил разумом, а он свой разум просветил наукою. Вы однако ж не думайте, чтоб я чересчур простонародничал в изложении: я избрал средину. <...> Голоса малороссийских песен гравируются, а аранжированы Алябьевым. Тексты песен содержат 500 нумеров. Смирдину предлагал я, но он не купил, ибо, говорит, не разошлось первое издание. <...> Ваш отпущенник определился в Клуб официантом, живет у меня.
(М. А. Максимович — Н. М. Языкову. 20.XII. 1832. Москва.)

Не ослабевай и ты в деятельности на сем поприще всенародной литературы,— если будешь в Репьёвке, то особенно приударь: там вообще рапсодов много и сановитая древность процветает.
(Н. М. Языков — П. М. Бестужевой. 1833. Языково.)

Нашла старушку просвирню, великую песенницу, и буду ее водить для списывания песен. <...> Песни собираются; почти все старики и старухи пересказали.
(П. М. Бестужева — Н. М. Языкову, с. Репьёвка. 1833.)

После рождества, получив рукопись, я отправил ее на другой же день к цензору; а сегодня возвращена мне первая половина. <...> Завтра начнется набор у Плюшара; формат такой, в каком изданы баллады Жуковского; бумага такая же. <...> Предполагаю: напечатать 1200 экз. и за каждый назначить 5 или 7 рублей.

(В. Д. Комовский — Н. М. Языкову. 4.I.1833. СПб.)

Недели две тому назад я наконец в первый раз слышал (у Свербеева) тот хор цыган, в котором примадонствует Татьяна Дмитриевна, и признаюсь, что мало слыхал подобного! Едва ли, кроме Мельгунова (и Чаадаева, которого я не считаю русским), есть русский, который бы мог равнодушно их слышать. Есть что-то такое в их пении, что иностранцу должно быть непонятно и потому не понравится. <...> Татьяна Дмитриевна поручила тебе кланяться.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 10.I.1833. Москва.)

Получили, получили и благодарим, благодарим! Все хорошо, все красота! Шрифт, бумага, формат, приличные в надлежащих местах виньетки, безошибочность букв и препинаний, словом, все, без малейшего исключения — превосходно! Я не ожидал явиться в публику в виде столь щегольском, можно сказать — изящном. И вот всем этим я обязан вам, вам одному! <...> Прошу вас подписать на... экземплярах: такому-то, такой-то, от автора. В Петербурге: Крылову, Пушкину, Вяземскому, Гнедичу, Хвостову, Гоголю, Далю, Воейкову, Марлинскому, Очкину. В Москве: Петру Вас. Киреевскому, у Красных ворот в доме Елагиной 11 экземпляров. В Дерпте: 3 экз.— ее высокородию Екатерине Афанасьевне Протасовой; ее высокоблагородию Марье Николаевне Рейц; его высокоблагородию Карлу Федоровичу фон-дер Боргу; его благородию Емельяну Карловичу Андерсу 4 экз. В Одессу: его высокоблагородию Михаилу Петровичу Розбергу и его превосходительству Анне Петровне Зонтаг. В Херсон: его высокоблагородию Владиславу Михайловичу Княжевичу.

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 14.II.1833. Языково.)

Если мы зададим себе вопрос: какое чувство преимущественно выражают стихотворения г-на Языкова? — то будем приведены в большое затруднение. Если спросим

себя также: какие идеи господствуют в звучных стихах г-на Языкова? — ответ будет не менее затруднителен. Но все еще скорее можно отыскать индивидуальность у сего поэта (ибо она должна быть, более или менее, у всякого пишущего), нежели открыть какие-нибудь идеи в ста шестнадцати напечатанных его стихотворениях. Господствующее чувство у него — какая-то живость, разгульность; но воображение его не поражается глубоко ничем и довольствуется впечатлениями легонькими, поверхностными. При этом стих г-на Языкова закален громом и огнем русского языка. Немногие из стихотворцев русских умели так счастливо пользоваться богатством выражений и неожиданностью оборотов нашего могучего языка! <...> У г-на Языкова нет впечатлений, которые показали бы нам его душу, нет индивидуальности поэтической. <...> Искать ли у него идей и вдохновений народных, русских, или современных, всемирных? Труд будет напрасен. Г-н Языков не подражает никому: в этом должно отдать ему справедливость; но зато он глядит и на все предметы равнодушно. <...> Главный предмет песнопений его — студенческая жизнь в Дерпте. Она заставила его написать довольно посланий к товарищам, к друзьям, довольно описаний празднества и подвигов студенческих. <...> Когда-то случилось дерптскому поэту съездить в Тригорское и погостить там у Пушкина. Сколько вдохновения доставили ему проведенные там часы! Старая няня, завтраки, пунш нового изобретения, шаткие столики и бревенчатые мостики, словом, все достопамятности Тригорского воспеты г-ном Языковым в нескольких стихотворениях. Кажется, это самое живое впечатление жизни его, перед которым уничтожается даже дерптская жизнь, хотя о ней он писал гораздо больше.

Что еще найдем мы у г-на Языкова? Несколько альбомных стихотворений, очень милых; несколько поэтических воспоминаний о старой Руси; несколько посланий задумчивых, прелестных. <...> Мы высоко уважаем дарование г-на Языкова и отдаем справедливость всем светлым сторонам его поэзии, может быть, более, нежели самые ревностные его хвалители. <...> Что нашли мы? Односторонность и какую-то холодность чувства; мало индивидуальности поэтической, но зато самобытность или, лучше сказать, незаимствованность картин; мы не нашли в нем никаких глубоких, многообъемлющих идей, но заметили язык и выражение истинно поэтические. Достоин-

ства г-на Языкова можно выразить тремя словами: он поэт выражения. Не у многих есть и это.

(Рец. Ксенофонта Полевого на «Стихотворения Н. Языкова». СПб., 1833 // Московский телеграф. 1833, № 6.)

Мы получили письмо от Жуковского от 29 генв., в котором он посылает тебе свое объятие.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 8.III.1833. Москва.)

Христос воскресе! — обнимаю тебя и поздравительно и благодарственно за Сочинения Языкова! Впрочем, на этот раз я тебя благодарю за появление Сочинений Языкова и наслаждение, доставленное мне их совокупностью, а еще не за экземпляр, которого я ожидаю от твоея великия и богатыя милости и с твоим рукоприкладством. <...> Присланные из Петербурга 11 экз. текли аки мед сладостный по моим усам, а в рот ко мне не попали, потому что было 11, а персон, ассигнованных на получение оных,— 12; и я только с тем согласился быть двенадцатым, чтобы уже без всякой совестливости требовать у тебя дополнительного двенадцатого экземпляра.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 12.IV.1833. Москва.)

Я наперед знаю, за что и как именно станут бранить меня наши строгие ценители и судьи. Видели ли вы в «Телеграфе» статью Н. Полевого о Жуковском? Взгляните и судите. Здесь получены и стихотворения П. Катенина; Полевой кинется на него, как цепная собака: он всегда бранил Катенина кстати и некстати, прямо и мимоходом: теперь нападет на все сполна!

Собирание *стихов* производится у нас ревностно и похвально, сообразно требованию нашего века, от которого так далеко отстал Жуковский, по уверению Полевого. <...> Нельзя ли доставить П. А. Катенину экземпляр моих стихотворений.

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 14.IV.1833. Языково.)

Много и много спасибо тебе за ревностное и благопоспешное действование твое в собирании стихов; дело достославное и стоящее благодарности добромыслящих современников и правосудного потомства. Я уже сношусь

по сей части решительно с П. Киреевским: трудно — и слава богу, что трудно! — найти на святой Руси человека, могущего столь добросовестно заняться распорядком, нашего и своего собственного, труда сего, как сей Петр Киреевский. Он есть Петр, и на сем камени должна соорудиться церковь, нами приготовленная! <...>

Петр Михайлович купил экземпляр стихотворений П. Катенина. <...> У Катенина много хорошего, несмотря на полное его неумение писать хорошие стихи: у него слова трещат, а лезут в стих. <...>

Водополье уже кончилось — оно и было недолго: всего-то дня три волны черные, пенистые и многошумные скакали в вешняки обоих прудов обильными водопадами. Поля уже начинают зеленеть, лес готовится распустить свои листья, все благоухает и цветет и возродится для счастия жизни.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 14.IV.1833. Языково.)

Здравствуй, друг Языков, да здравствуешь! это слово от полного сердца, проникнутого восторгом. Хотя стихи твои все почти были знакомы мне прежде, однако действие, которое производит твоя книга, совсем новое и неимоверное, как брови Татьяны Дмитриевны. Я читаю ее всякое утро, и это чтение настраивает меня на целый день, как другого молитва или рюмка водки. И немудрено: в стихах твоих и то и другое: какой-то святой кабак и церковь с трапезой во имя Аполлона и Вакха. То же действие, какое на меня производят стихи твои на Баратынского и Хомякова. Почти каждый день говорим мы об них и всякий раз находим сообщить друг другу что-нибудь новое. Недавно у последнего, т. е. у Хомякова, был прощальный ужин, после которого мы читали тебя до самого солнца, и в эту ночь, верно, не спал и ты.

(И. В. Киреевский — Н. М. Языкову. IV.1833. Москва.)

Сооружение памятника Карамзину привело в брожение всю крупную и дробную шляхту Симбирской губернии: все спешат жертвовать... образован комитет и дело идет живо. <...>

Читаем «Тасса»,— кто этот Кукольник: видно, что он птенец развивающийся, вроде немецких пламенных мечтателей. Ждем и надеемся от него больше и много. Поддерживайте его — ежели он под рукою вашею.

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 18.IV. 1833. Языково.)

Засвидетельствуйте мою благодарность мужу достославному и человеку европейскому отцу Иакинфу за историю Тибета (вы, верно, с ним лично знакомы) — и вручите ему экземпляр «Стихотворений Н. Языкова».

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 22.IV.1833. Языково.)

Не знаю, как и благодарить душевного моего поэта за присылку стихотворений его и вместе с ним лихого его послания! Я говорю «душевного» и «моего» не без основания. Никто более вас, любезнейший по уму и почтеннейший по возвышенным чувствам Николай Михайлович, не имеет дара волновать мою душу и владычествовать над нею своевольно-деспотически. Вы мой единственный Тиртей или, по-солдатски, вы мой нравственный отец и командир; один стих ваш — и я в огне боев, весело и безотчетно. В обеих последних войнах стихи ваши («Песнь короля Регнера», подаренная мне в Персии Н. Киселевым) возились мною за пазухой как волшебная ладанка, имеющая свойство возвышать душу и умножать бодрость духа и жажду к битвам и славе. Я пьяный на девичнике Пушкина говорил вам о том, но вы были так пьяны, что вряд ли это помните, а это сущая правда. <...> Поэтический лоскут этот, замаранный грязью бивуаков и окуренный жженым порохом, и поныне у меня хранится; после этого как же мне не называть вас «душевным» и «моим» поэтом? <...> Прошедшей зимою я был на несколько дней в Москве, где часто говорил о вас с Киреевским и Баратынским. Они жаловались, что вы не едете в Москву. <...> В Москве этой зимою я впервые прочел пиесу вашу «Поэту», ту, которая поставлена первою в стихотворениях ваших,— я ахнул. Что за язык! что за поэзия! что за возвышенность чувств — это очарование! а «Кубок»? Что мои хмельные стихи против этих? Сивуха пред шампанским.

(Д. В. Давыдов — Н. М. Языкову. 23.IV.1833, с. Маза.)

До вас, конечно, дошел слух о сооружении памятника бессмертному Карамзину. Здесь произошло чрезвычайное кипение умов дворянских по сему случаю. Приношения — далеко превосходят ожидания всех знающих малопросвещенность стран Приволжских, Азии порубежных. Как идет это дело в Москве? Нельзя ли вам, крепкий стратиг русской истории,— возжечь особенное сорев-

нование между доблими юношами, вам подведомственными, и силою вашего слова действовать на публику.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 25.IV.1833. Языково.)

Когда же начались приготовления по сооружению в Симбирске памятника Карамзину, Дмитриев взял с Погодина слово написать похвальное слово историографу, и он тогда же выразил свое согласие. Узнав об этом, Языков писал Погодину: «О вашем достохвальном желании быть провозгласителем общего уважения к заслугам Карамзина мы снеслись с Комитетом, учрежденным в Симбирске для распоряжения делами о памятнике. <...> Комитет сей состоит под непосредственным ведением Министерства внутренних дел и сам собою не действует, почему я думаю, что ему нужно будет просить Блудова об открытии конкурса на похвальное слово Карамзину. <...> И Университет ваш мог бы это сделать. Само собою разумеется, что похвальное слово Карамзину никто, кроме вас, во всей России написать не может».

(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 4. 1891.)

Сегодня отправляюсь в Архангельское, где мы на нынешнее лето наняли флигель. <...> Надеюсь и нынешним летом не ударить лицом в грязь, не отстать от тебя и от Александра Михайловича, далеко меня опередивших и пристыдивших, и возвратиться с обильною жатвою песен, особенно же стихов и сказок. <...> Хомяков на все лето уезжает в Крым; Баратынский в деревню.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 9.V.1833. Москва.)

В нашем любезном отечестве человек мыслящий и пишущий должен проявлять себя не голыми умозрениями, а в образах как можно более ощутительных, очевидных, так сказать, телесных, чувственных, ярких и разноцветных! Мы происхождения восточного, в нас еще жива наследственная любовь к пестроте и пышности! Советую тебе заняться pro primo [1] хоть сочинением повестей или замечаний о странах, тобою виденных и изведанных. Знаю, что ты первым шагом станешь высоко и разом превзойдешь многое множество наших так называемых известных и славных писателей. <...> Решись!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.VI. 1833. Языково.)

[1] В первую очередь *(лат.)*.

«Книга Наума о великом божием мире» есть подвиг великий, дело чрезвычайно полезное: вы вполне достигаете своей цели: читается и понимается легко — это я знаю по собственному опыту. Если бы я был президентом Академии наук, то присудил бы автору сей книги Демидовскую награду. Не замедлите же выдать и продолжение. <...> Для книги о православном, великом и сильном государстве русском не забудьте воспользоваться «Журналом министерства внутренних дел» (надобно означить, и несколько подробно, в какой губернии какие ярмарки, чем на них торгуют, где какие хлеба преимущественно родятся, какие народы обитают, чем промышляют и проч.). Не правда ли? Не худо бы также Науму составить книжку о земледелии особенную. На прилагаемые при сем деньги потрудитесь приказать выслать в Карсун Н. М. Я[зыкову] 40 экз. «Книги Наума». Я буду распространять свет, ею изливаемый, и уже начато это доброе дело.

(Н. М. Языков — М. А. Максимовичу. 14.VII. 1833. Языково.)

Наикрепчайше тебя обнимаю и благодарю за сообщение песен! Вы там собрали такие сокровища, каких я даже и не ожидал. Мы не только можем гордиться богатством и величием нашей народной поэзии перед всеми другими народами, но, может быть, даже и самой Испании в этом не уступим, несмотря на то, что там все благоприятствовало сохранению народных преданий, а у нас какая-то странная судьба беспрестанно старалась их изгладить из памяти, особенно в последние 150 лет, разрушивших, может быть, не меньше воспоминаний, нежели самое татарское нашествие. Это проклятая чаадаевщина, которая в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте свою одноминутную премудрость, которая только что доведена ad absurdum[1]. <...> Желчь негодованья мутит во мне здоровый и спокойный взгляд беспристрастия, который только один может быть ясен. Это болезненное состояние духа уже давно меня теснит и давит, и кипа песен, тобою присланная, была мне студеной рекой в душной пустыне. Я с каждым часом чувствую живее, что отличи-

---

[1] До нелепости *(лат.)*.

тельное, существенное свойство варварства — *беспамятность*; что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 17.VII.1833. Воронки.)

К ЯЗЫКОВУ

Я у тебя в гостях, Языков!
Я в княжестве твоих стихов,
Где эхо не забыло кликов
Твоих восторгов и пиров.
Я в Дерпте, павшем пред тобою!
Его твой стих завоевал:
Ты рифмоносною рукою
Дерпт за собою записал.
Ты русским духом, русской речью
В нем православья поднял тень
И русских рифм своих картечью
Вновь Дерпту задал Юрьев день.
Хвала тебе! живое пламя
Ты не вотще в груди таил:
Державина святое знамя
Ты здесь с победой водрузил!
Ты под его широкой славой
Священный заключил союз:
Орла поэзии двуглавой
С орлом германским древних муз.
Он твой, сей Дерпт германо-росский!
По стогнам, в россказнях бесед
Еще грохочут отголоски
Твоих студенческих побед.
Ни лет поток, ни элементы
Тебе не страшны под венцом,
И будут поздние студенты
Здесь пить о имени твоем.
В Италии читай Виргилья,
В Париже Беранже читай:
Где музы оперились крылья,
Там на полет ее взирай.
Я здесь читал, твердил прилежно

И с полным наслажденьем вновь
Стихи, где стройно и мятежно
Волнуется твоя любовь,
Стихи, где отразились ярко
Твои студенческие дни,
Сквозь кои ты промчался жарко,
Как сквозь потешные огни,
Стихи, где мужественным словом
Отозвалась душа твоя
В однообразьи вечно новом,
Как все глаголы бытия.
Не слушайся невежд холодных,
Не уважай судей тупых:
Сочувствий тайных и свободных
В них не пробудит свежий стих.
К тебе их суд неблагосклонен,
Тем лучше: следственно, ты прав!
Один талант многосторонен,
Многоугодлив и лукав.
Но чувство, брошенное скрытно
Залогом жизни в нашу грудь,
Всегда одно и первобытно,
Чем было, тем оно и будь!
Скажите мне: дыханье розы,
Рев бури, гул морской волны,
Веселья сердца, сердца слезы,
Улыбка первая весны.
В часы полночного молчанья
Звездами вытканная твердь,
Святые таинства созданья:
Рожденье, жизнь, любовь и смерть,
И всё, что жизни нам дороже,
Чем нам дано цвести, скорбеть,
Не так же ль всё одно и то же,
Как было, есть и будет впредь?

(П. А. Вяземский. IX. 1833. Дерпт.)

Село Языково. 65 верст от Симбирска. 12 сент.

Пишу тебе из деревни поэта Языкова, к которому заехал и не нашел дома. Третьего дня прибыл я в Симбирск. <...> Сегодня еду в Симбирск, отобедаю у губернатора и к вечеру отправлюсь в Оренбург, последняя цель моего путешествия.

Здесь я нашел старшего брата Языкова, человека чрез-

вычайно замечательного и которого готов я полюбить, как люблю Плетнева или Нащокина. Я провел с ним вечер.
(А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной. 12.IX.1833. Языково.)

Вчера был у нас Пушкин, возвращавшийся из Оренбурга и с Яика в свою нижегородскую деревню, где пробудет месяца два, занимаясь священнодействием перед алтарем Камен. Он ездил-де собирать изустные и письменные известия о Пугачеве, историей времени которого будто бы теперь занимается. Из питерских новостей он прочитал нам свою сказку «Гусар» (ее купил, дескать, у него Смирдин за 1000 рублей сто стихов). Дело идет о похождении малороссийской ведьмы; написана она весьма живо и занимательно. Знаете ли вы, что Гоголь написал комедию «Чиновник»? Из нее Пушкин сказал нам несколько пассажей чрезвычайно острых и объективных. Мы от него первые узнали, что он и Катенин избраны членами Российской академии.
(А. М. Языков — В. Д. Комовскому. 1.X.1833. Языково.)

Я в Болдине со вчерашнего дня. <...> Проезжая мимо Языкова, я к нему заехал, застал всех трех братцев, отобедал с ними очень весело, ночевал и отправился сюда.
(А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной. 2.X.1833. Болдино.)

Вот вам, покуда, одно мое стихотворение для «Денницы». <...> К нам заехал Пушкин, путешествовавший или, паче, странствовавший на Яике; он собрал кое-что о Пугачеве и, между прочим, привез мне очень приятное известие, вот оно: в Казани площицу называют *немецкою вошью*! Гоголь написал-де комедию мастерскую. Что это? Вы, верно, знаете? И где же его роман? Пушкин написал малороссийскую сказку о ведьмах и продал ее Смирдину за 1000 р. <...> Пушкин сказывал, что и Н. Полевой доставил Киреевскому много русских песен. И всё-то благо, всё добро.
(Н. М. Языков — М. А. Максимовичу. 3.X.1833. Языково.)

У нас был Пушкин — с Яика — собирал-де сказания о Пугачеве — много-де собрал, по его словам, разумеется. Заметно, что он вторгается в область истории (для стихов еще бы туда и сюда) — собирается сбирать плоды с поля, на коем он ни зерна не посеял — писать историю

Петра, Екатерины 1-й и далее вплоть до Павла Первого (между нами).

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 3.X.1833. Языково.)

Благодарю вас покорнейше, любезнейший Николай Михайлович, за присылку стихов ваших. <...> Это прелесть, как все то, что изливается из пера вашего! В легчайшей поэтической вспышке вашей стихи ваши, как говорит Пушкин, «стоят дыбом»! Кстати, о Пушкине; знаете ли, что я слышал от людей, получивших письма из Казани? В Казани были Пушкин и Баратынский, отыскивающие сведения о Пугачеве. Из этого я заключаю, что они в союзе для сочинения какого-нибудь романа, в котором будет действовать Пугачев. Итак, вот решение загадки появления Пушкина в нашей и в Оренбургской губерниях. Если это правда, то дай бог! Авось-ли мы увидим что-нибудь близкое к Вальтер-Скотту. <...>

Как досадно, что наши деревни так далеки одна от другой!

(Д. В. Давыдов — Н. М. Языкову. 3.X.1833, с. Маза.)

В Воронках я собрал с лишком 200, не считая стихов. Кроме того, стекаются ко мне в руки такие обильные песенные потоки, что уже можно считать за 2000, могущих поступить в печать. Об обстоятельствах печатания буду после с тобою советоваться подробнее.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 4.X.1833. Москва.)

Знаешь ли ты, что готовящееся собрание русских песен будет не только лучшая книга нашей литературы, не только из замечательнейших явлений литературы вообще, но что оно, если дойдет до сведения иностранцев в должной степени и будет ими понято, то должно ошеломить их так, как они ошеломлены быть не ожидают! Это будет явление беспримерное. У меня теперь под рукою большая часть знаменитейших собраний иностранных народных песен, из которых мне все больше и больше открывается их ничтожество в сравнении с нашими. В большей части западных государств живая литература преданий теперь почти изгладилась. <...> 500 (и самых лучших) прислано тобою; 300 собрано мною, 200 собрано в Орловской губернии (но еще не прислано) В. М. Рожалиным. <...> Папенька обещает привезти 100 песен из

Калужской губернии. Вот отчет о песенном приходе. <...> Пушкин также обещает написать предисловие. <...> Что до меня касается, то я, по удачном (бог даст) окончании первого издания, совершенно решился заняться этим делом не на шутку, потому что оно входит существенно в главную идею всех моих и мыслей, и занятий, и желаний. <...> Изданием, по моему мнению, лучше поспешить; Смирдин берется печатать песни на свой счет и потом, выручив свою сумму, продавать по комиссии. <...> Очень вероятно, что Смирдин согласится и купить издание, уже в Москве напечатанное. Итак, остается решить вопрос: где, сколько экземпляров, в каком формате и в каком порядке печатать? А всех этих вопросов я без тебя решать не могу: тебе гораздо больше меня приличествует решать их, потому что и первая честь собрания, и большее количество, и лучший цвет песен принадлежат тебе. Хочешь издавать вместе и на заглавном листке написать: «Изданное Н. Языковым и П. Киреевским»? Как ты об этом думаешь?

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 14.X.1833. Москва.)

Канцелярист Николай Языков поступил в Канцелярию главного директора Межевой канцелярии 1831 г. сентября 12-го; 1832 г. сентября 17-го за № 1757 представлено бывшим главным директором, г. сенатором Гермесом, г-ну Министру юстиции о награждении его, Языкова, чином коллежского регистратора, а 18-го ноября 1833 г. он, Языков, уволен по прошению от службы.

(Справка Межевой канцелярии.)

Я думаю писать еще несколько сказок народных, между прочим — *Снегурку*... пожалуйста, напишите мне ее подробно, со слов какого-либо сказочника; да нет ли и еще каких порусее.

(М. А. Максимович — Н. М. Языкову. 12.XII.1833. Москва.)

Песни (кроме только досадной медленности) идут великолепно: одних исторических считается уже сто одиннадцать №№ без вариантов, а с вариантами около 200. Всего же 1203 №№ песен и 100 №№ стихов, и все это еще без прикосновения к печатным.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. I—II. 1834. Москва.)

Пенза — моя вдохновительница. Холм, на коем лежит этот город, есть мой Парнас с давнего времени; здесь я опять принялся за поэзию. Посылаю вам что-то вдохновенное, но недостаточно обделанное; скажите ваше мнение и, пожалуйста, исправьте, что вам не понравится. Я о том же писал и к Баратынскому. Кстати, о Баратынском. Я на днях и от него получил письмо — он препоручает мне вам кланяться. Вот слова его: «Вы переписываетесь с Языковым; поклонитесь ему от меня. Дай бог здоровья ему и его музе. Он поэт в душе. У нас не умеют его ценить; но когда гнилая наша поэзия еще будет гнилее и будет пахнуть мертвечиной, мы почувствуем все достоинство его бессмертной свежести».

(Д. В. Давыдов — Н. М. Языкову. 16.II. 1834. Пенза.)

Ах, братец, коли б ты был здесь! — то-то бы расцвели наши песни! а без тебя они сиротствуют. <...> Если ты уж так крепко уперся в своих волжских сторонах, то пожалуйста же помоги мне хоть заочным советом. Пиши все, что тебе придет в голову об издании, об расположении, об сличке варьянтов. <...> Мне бы хотелось в начале поста уже подать их в цензуру. <...> Напиши, пожалуйста, если помнишь, в каких уездах и селах собираемы были песни, тобою присланные. Да не можешь ли объяснить мне имена и происшествия, которые особенно должны быть известны в ваших сторонах. <...> Кто и когда был вор Копейкин? Что у вас рассказывают о девице — атамане разбойников?

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 21.II. 1834. Москва.)

Многие из нас еще сохранили несчастную старообрядческую привычку судить о нравственности более по наружному благочинию, чем по внутреннему достоинству поступка и мысли. Мы часто считаем людьми нравственными тех, которые не нарушают приличий, хотя бы, впрочем, жизнь их была самая ничтожная, хотя бы душа их была лишена всякого стремления к добру и красоте. <...>

А между тем, если мы беспристрастно вникнем в его поэзию, то не только найдем ее не безнравственною, но вряд ли даже насчитаем у нас многих поэтов, которые могли бы похвалиться большею чистотою и возвышенностью. Правда, он воспевает вино и безымённых красавиц; но упрекать ли его за то, что те предметы, которые действуют на других нестройно, внушают ему гимны поэти-

ческие? <...> Виноват ли Языков, что те предметы, которые на душе других оставляют следы грязи, на его душе оставляют перлы поэзии, перлы драгоценные, огнистые, круглые? <...> Где у других минута бессилия, там у него избыток сил; где у других простое влечение, там у Языкова восторг; а где истинный восторг, и музыка, и вдохновение — там пусть другие ищут низкого и грязного. <...>

Впрочем, судить таким образом о сочинениях Языкова могли бы мы только в таком случае, когда бы изо всех стихотворений его мы знали одни застольные и эротические. Но если, при всем сказанном, мы сообразим еще то, что, может быть, нет поэта, глубже и сильнее проникнутого любовью к отечеству, к славе и поэзии; что, может быть, нет художника, который бы ощущал более святое благоговение перед красотою и вдохновением, то тогда все упреки в безнравственности покажутся нам странными до комического. <...>

Мне кажется, что средоточием поэзии Языкова служит то чувство, которое я не умею определить иначе, как назвав его стремлением к душевному простору. Это стремление заметно почти во всех мечтах поэта, отражается почти на всех его чувствах, и может быть даже, что из него могут быть выведены все особенности и пристрастия его поэтических вдохновений. <...>

При самых разнородных предметах лира Языкова всегда остается верною своему главному тону, так что все стихи его, вместе взятые, кажутся искрами одного огня, блестящими отрывками одной поэмы, недосказанной, разорванной, но которой целость и стройность понятны из частей. Так иногда в немногих поступках человека с характером открывается нам вся история его жизни. <...>

Эта звучная торжественность, соединенная с мужественною силою, эта роскошь, этот блеск и раздолье, эта кипучесть и звонкость, эта пышность и великолепие языка, украшенные, проникнутые изяществом вкуса и грации,— вот отличительная прелесть и вместе особенное клеймо стиха Языкова. <...>

Теперь, судя по некоторым стихотворениям его собрания, кажется, что для поэзии его уже занялась заря новой эпохи. Вероятно, поэт, проникнув глубже в жизнь и действительность, разовьет идеал свой до большей существенности. <...>

Впрочем, если мы желаем большего развития для поэ-

зии Языкова, то это никак не значит, чтобы мы желали ей измениться; напротив, мы повторяем за ним — и в этом присоединятся к нам все, кто понимает поэта и сочувствует ему,— мы повторяем от сердца за него его молитву к провидению:

«Пусть неизменен, жизни новой
Придет к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам!»

(Киреевский И. В. О стихотворениях г. Языкова // Телескоп, 1834, № 3—4.)

Если написали что, то, ради бога, не обнесите чарочкой; вы мой душевный поэт, никто мне душу не возвышает более вас, ничто не ласкает мое сердце более ваших стихов. <...> Вы непростительны были бы не мне первому доставлять все то, что вырвется из огненной души вашей.

(Д. В. Давыдов — Н. М. Языкову. 16.VI.1834, с. Маза.)

Языков и Давыдов (Д. В.) имеют много общего. Оба они примечательные явления в нашей литературе. Один, поэт-студент, беспечный и кипящий избытком юного чувства, воспевает потехи юности, пирующей на празднике жизни. <...> Другой, поэт-воин, со всею военною откровенностию, со всем жаром не охлажденного годами и трудами чувства в удалых стихах рассказывает нам о проказах молодости, об ухарских забавах, о лихих наездах, о гусарских пирушках. <...> Как тот, так и другой нередко срывают с своих лир звуки сильные, громкие и торжественные; нередко трогают выражением чувства живого и пламенного. Их односторонность в них есть оригинальность, без которой нет истинного таланта.

(Белинский В. Г. Литературные мечтания // Молва, 1834, № 50.)

Если бы ты знал, какая в Москве всеобщая жажда тебя, то уж ты давно бы хотя бы на недельку да заглянул сюда! <...> Что ты, например, скажешь на следующее предложение: поедешь ли ты с нами, если мы трое, т. е. я, папенька и Хомяков, приедем за тобою?

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 8.I.1835. Москва.)

Здравствуй, мой любезнейший Иван Киреевский! Паки и паки вопрошаю тебя, что же ты делаешь — почему

же ты ничего не делаешь? Вот уже две книжки «Московского наблюдателя» вышли без твоего пособия; я ждал, ждал, ждал, наконец вышел из терпения и решился спросить тебя, что же ты, подобно мне? Но я, брат, имею отговорку, я был болен долго. <...> Видно, у вас в Москве сильно восхищаются драмами Кукольника: это нехорошо, это бестолково. Я следовал за развитием Кукольника шаг за шагом, читал все, что он писал,— и теперь собираю все его сочинения:

«Все зажгу
И в это пламя брошу «Роксолану»!»

В его «Ляпунове» мне не нравятся даже те места, которые хвалит сам Шевырев, находя в них что-то шиллеровское.

(Н. М. Языков — И. В. Киреевскому. 25.V.1835. Языково.)

Очень рад, что вам понравились повести Гоголя — это прелесть! Дай бог ему здоровья, он один будет значительнее всей современной французской литературы,— не выключая и Бальзака!

(Н. М. Языков — Е. М. и П. М. Языковым. 28.VI.1835. Языково.)

Благодарю и нет слов у меня довольно возблагодарить вас, любезный Николай Михайлович, за поэтический подарок ваш. <...> Что за стихи, что за прелесть! Впрочем, что же не прелесть из произведений ваших? Вы меня так этими стихами расшевелили, что я было принялся писать вам стихами же, измарал около дести бумаги и стал в пень от совести платить медью за золото. <...> Вы, может быть, думаете, что ничего не значит быть вами, именно вами воспетым? А я думаю, что много значит быть прославленну гордой и независимой лирою первого самобытного поэта нашего, никого не воспевающего наперекор сердца и совести.

(Д. В. Давыдов — Н. М. Языкову. 13.IX. 1835, с. Маза.)

Ваша лирическая песнь ко мне свела с ума всех тех, которые понимают поэзию.

(Д. В. Давыдов — Н. М. Языкову. 13.IX. 1835, с. Маза.)

Мы не требуем от поэта нравственности; но мы вправе требовать от него грации в самых его шалостях; и, под

этим условием, мы ни одного стихотворения г. Языкова не почитаем безнравственным.

(Белинский В. Г. Стихотворения Владимира Бенедиктова // Телескоп, 1835, ноябрь.)

Комовский в восторге от Москвы: оно так и должно быть, ведь этой нашей Руси православной золотая голова!

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 14. III. 1836. Языково.)

Я от вас, любезнейший Николай Михайлович, едва-едва дотащился в санях до Симбирска, где хотел было их бросить, но какое-то наслаждение бороться с препятствиями понудило меня снова пуститься в зимнем экипаже, и я, плывя водою, ныряя по ухабам и тащась по голой земле, добрался до дома на полозьях.

(Д. В. Давыдов — Н. М. Языкову. 25.III. 1836, с. Маза.)

Отгадайте, откуда пишу к вам, мой любезный Николай Михайлович? Из той стороны,

«где вольные живали *etc.*»,

где ровно тому десять лет пировали мы втроем — вы, Вульф и я; где звучали ваши стихи и бокалы с Емкой, где теперь вспоминаем мы вас — и старину. Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой, и у которой я в гостях. <...> Алексей Вульф здесь же, отставной студент и гусар, усатый агроном, тверской Ловлас — по-прежнему милый, но уже перешагнувший за тридцатый год. Пребывание мое во Пскове не так шумно и весело ныне, как во время моего заточения, во дни, как царствовал Александр; но оно так живо мне вас напомнило, что я не мог не написать вам несколько слов в ожидании, что вы откликнетесь. Вы получите мой «Современник»; желаю, чтоб он заслужил ваше одобрение. <...> Будьте моим сотрудником непременно. <...> Послание к Давыдову — прелесть! Наш боец чернокудрявый окрасил было свою седину, замазав и свой белый локон, но после ваших стихов опять его вымыл — и прав. Это знак благоговения к поэзии. <...> Пришлите мне, ради бога, *стих об Алексее божьем человеке* и еще какую-нибудь легенду. *Нужно.*

(А. С. Пушкин — Н. М. Языкову. 14.IV. 1836. Голубово.)

Я был у Языкова, который готов поступить под твои знамена.

(Д. В. Давыдов — А. С. Пушкину. 16.IV. 1836, с. Маза.)

Я теперь нахожусь, можно сказать, в Армидиных садах: тишина возлюбленная, уединение сладостнейшее, приволье в высочайшей и прекраснейшей степени — всё есть у меня — и я действую. Жди от меня чего-нибудь большого, если не великого. Сердечно радуюсь, что в нашей литературе разгорается война — война кровавая, как пишет ко мне брат. Это оживит всю нашу братию и покончит гибельный застой многих знаменитостей пера:

«То мир какой-то странный был,
Без неба, света и светил!»

Спасибо тебе за Геерена — смотри же, не оставь недовершенным этот труд твой, чрезвычайно важный для всей Руси, и напиши еще русскую историю в 4-х томах — хоть до Екатерины II. <...> Поклонись от меня Надеждину: я читаю всласть «Телескоп» его, желаю ему во всем благого поспешения!

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 23.IV. 1836. Языково.)

Не знаю, как выразить тебе радость, которая во мне кипит и блещет, когда читаю и перечитываю теперешние твои письма. <...> И все наши так веселы, так игривы и бодры — и все это ты, все это оживилось тобою, твоим счастием! <...> Хомяков очень понравился Дюку, он от него просто в восторге. Это так и должно быть, этого я ожидал, надеялся и теперь это вижу. И все вы, начиная, как мне кажется, с тебя, моя милая, полюбили его, и я, разумеется, тем паче, что знал его еще прежде, нежели... и тем паче, что... понимаешь!

(Н. М. Языков — Е. М. Языковой. 24 апреля 1836. Языково.)

Ты справедливо заметил, что я деятельно участвую в «Московском наблюдателе»: да, я опять расписался, и теперь уже, кажется, надолго. Принимаюсь и за большие труды. Полно мне, так сказать, мелочничать.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 25.IV. 1836. Языково.)

Вы не знаете, как вы необходимы здесь, как недостает вас,— особливо когда приедут Свербеев, Павлов, Пушкин.

Вессель, как мил последний, вчера я его видела минут на 10 и он мне ужасно понравился. <...> В субботу мы собираемся в Новый Иерусалим: Свербеев, Павлов, Андросов, Баратынский — и конечно Хомяков. Что вам сказать про последнего, я им слишком довольна, он любит меня вряд ли не больше, чем я его, и, мой милый Вессель, я щастлива. <...> Соллогуб здесь, не знаю, будет ли он моим шафером.

(Е. М. Языкова — Н. М. Языкову. 12—14.V. 1836. Москва.)

Пушкин, которого я видела в пятницу у Свербеевых, очаровал меня решительно. Жаль, что он дня через три едет, но, впрочем, он обещает возвратиться к моей свадьбе и будет очень мил, если сдержит слово. Он любит вас и Батюшку ужасно; весь вечер почти говорил об вас и непременно обещал напоить вас пьяным на свадьбе.

(Е. М. Языкова — Н. М. Языкову. 19.V. 1836. Москва.)

Спасибо вам, что вы обо мне вспомнили в Тригорском... тогда я был легок!.. Ваш «Современник» цветет и красуется: жаль только, что выходит редко; лучше бы книжки поменьше, да чаще. Я пришлю вам стихов. Что делать мне с «Жар-Птицей»? Я вижу, что этот род не может иметь у нас полного развития; я хотел только попробовать себя: теперь примусь за большее.

Я собираюсь в белокаменную на свадьбу сестры,— повезу туда и всю «Птицу». Мне пишут, что вы опять будете в Москве — дай бог мне с вами там съехаться. «Наблюдатель» выходит всё плоше и плоше — жаль мне, что я увязал в него стихи мои: его никто не читает. <...> *Легенду об Алексее божьем человеке* я послал к брату для передачи вам: это не то, ее должно взять у Петра Киреевского, сличенную со многими списками и потом уже...

(Н. М. Языков — А. С. Пушкину. 1.VII. 1836. Языково.)

Н. М. ЯЗЫКОВУ

Торжественный, роскошный и могучий,—
Твой стих летит из сердца глубины;
Как шум дубров и Волги вал гремучий,
Твои мечты и живы и полны; —
Они полны божественных созвучий,
Как ропот арф и гимн морской волны!

Отчизну ли поешь и гордо и правдиво,
Гроба Ливонии, героев племена,
Красавиц иль вино: пленительно и живо
Рокочет и звучит и прыгает струна...
И сердце нежится по воле, прихотливо,
И словно нектаром душа упоена.

(Лукьян Якубович // Московский наблюдатель, 1836, июль.)

Погодин плакал как дитя, когда узнал о смерти Пушкина. <...> Как приняли вы эту весть, мой Вессель? <...> Я долго не решалась написать к вам об этом.

(Е. М. Хомякова — Н. М. Языкову. 9.II.1837. Москва.)

Пушкину следовало просто уехать из Петербурга от этих подлецов. Этим он спас бы и себя и жену; во всем виноват более он сам, нежели толпа холостых гвардионцев, с жадностью бросающихся на всякую женщину. Их можно извинить: они голодны!.. Много ли нового нашли в его бумагах? Тургенев пишет о каком-то «Медном рыцаре», который-де лучше всего прежнего, о переводе «Дон Жуана» и проч. Нащокин говорил о поэме «Русалка». Правда ли?

(А. М. Языков — В. Д. Комовскому. 13.IV.1837. Симбирск.)

Вы совершенно дополнили наши сведения о смерти Пушкина. Теперь мы имеем все, что иметь можно, все подробности, записки и наблюдения. Есть ли у вас письма А. И. Тургенева? Я могу вам прислать с них список. Мне кажется, что эту историю всего лучше объясняют слова Пушкина, приведенные Далем: «Мне здесь не житье». Геккерн и все прочее только придирки, только удобный случай попробовать отделаться от жизни. <...> Из Москвы пишут, что будто Мицкевич вызвал на дуэль Дантеса.

(А. М. Языков — В. Д. Комовскому. 20.IV.1837. Симбирск.)

Спасибо тебе за Индрика зверя. И помогай бог тебе собрать еще побольше, особливо стихов. Теперь, кажется, именно те минуты, когда должно всеми силами опрокинуться на их собирание, потому что указ о запрещении нищих, которому недавно еще было строгое подтверждение, грозится вырвать с корнем эту отрасль преданий.

<...> Над песнями я работаю. Несколько студентов доставили мне еще около 300 №№, между которыми есть неизвестные мне.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 21.IV.1837. Москва.)

Где ты теперь находишься? Там, где мы некогда гуляли вместе с нашим бессмертным Пушкиным? Горько и досадно, что он погиб так безвременно и от руки какого-то пришлеца! История причин дуэли его чрезвычайно темна и, вероятно, останется таковою на веки веков... Его губил и погубил большой свет — в котором не житье поэтам! Поклонись за меня его праху, когда будешь в Святогорском монастыре.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 12.VII.1837. Языково.)

Ты смотришь на причины дуэли Пушкина совсем не так, как нам их показывают. В распространении слухов об этой кровавой трагедии вмешалось так много относительного и духа партий, что нашему брату, удаленному от большого света и неопытному в распутывании столичных сплетней — вовсе ничего разобрать нельзя. От тебя надеюсь узнать правду и истину. <...> Нет ли у тебя стихов из «Медного всадника», которые не напечатаны?

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. X.1837. Языково.)

Так как у тебя теперь, как говорят, гостят Хомяковы, то я получил великую надежду, что Катерина Михайловна, наконец, убедит тебя сдержать давнишнее обещание и вместе с ними приехать в Москву.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 3.X.1837. Киреевская слободка.)

Не забыли ль вы, сиятельнейший, светлейший, лучезарнейший Николай Михайлович, бумагомарашку Воейкова, дряхлого редактора «Русского инвалида», «Новостей литературы», «Славянина», «Литературных прибавлений», экс-профессора Дерптского университета, в котором засветилась ваша слава? <...> Вопрос, на который, не дожидаясь вашей отписки, отвечал я сам себе: можно ль забыть человека, который первый пророчествовал мне славу и благословил в трудную дорогу на Парнас? Статочное ли дело забыть того, с именем которого соединено воспоминание о золотых годах моей бурной, огненной молодости?

Вот в чем дело: 6-го минувшего ноября, в день ангела покойной Александры Андреевны, я открыл свою типографию и, по этому случаю, дал обед всем благородным и благомыслящим писателям. <...> Историк походов 1813 и 1814 генерал Данилевский и молодой редактор «Литературных прибавлений» Краевский предложили подарить хозяину по статье, с тем чтобы эти статьи (в стихах и прозе) напечатать в книге, похожей на Смирдина «Новоселье», и назвать ее «Сборник». <...> Но он будет и скучен, и тёмен, и плох, если вы, по старой памяти, не подарите его двумя или хоть одним своим стихотворением.

(А. Ф. Воейков — Н. М. Языкову. 5.I.1838. СПб.)

О СОБИРАНИИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН.

Желая сохранить остатки нашей народной поэзии, особенно песни и так называемые стихи, мы собрали в течение нескольких лет и приготовили к печати большое их количество. Опыт нам показал, что необходимо спешить собиранием этих драгоценных остатков старины, приметно исчезающих из памяти народа с переменою его нравов и обычаев, что важно и в этом деле общее участие всех дорожащих спасением нашей своенародной словесности от конечного ее истребления и что для полного издания песен и стихов необходимо, чтобы они были записаны везде, где это возможно.

При записывании песен особливо могут быть полезны люди престарелые; они более дорожат верностию дошедших до них песен и менее подвергались нововведениям. Записывать должно сначала со слов, потом поверять с голоса, ибо люди, привыкшие петь песни, обыкновенно лучше вспоминают их, когда поют, нежели когда сказывают.

Песни, которые поются в народе, должны быть записываемы слово в слово, все без изъятия и разбора, не обращая внимания на их содержание, краткость, нескладность и даже кажущееся бессмыслие: иногда поющий смешивает части нескольких песен в одну, и настоящая песня открывается токмо при сличении многих списков, собранных в различных местах.

Стихи, каковы: о Лазаре убогом, об Алексее божием человеке, о Страшном суде, о Борисе и Глебе и проч.— поются нищими, особенно слепыми (всего чаще на ярманках) и вообще простолюдинами во время постов. Записывать их также удобнее сперва со слов, а потом поверять

с голоса. Они заслуживают особенное внимание потому, что никогда издаваемы не были, хотя заключают в себе высокую поэзию предмета и выражения.

Надеясь, что соотечественники наши примут участие в этом общественном деле, мы покорнейше просим доставлять стихи и песни в г. Симбирск на имя г. гиттенфервальтера Петра Михайловича Языкова.

П. Киреевский
Н. Языков
А. Хомяков

(Симбирские губернские ведомости. 1838. 14.IV. (перепечатано: Олонецкие губернские ведомости. 1838. 15.X.)

Болезней у него было несколько. <...> Он должен был собираться в Москву посоветоваться о своем положении с Хомяковым. <...> Николая Михайловича начинает сильно беспокоить переправа через реки. Он не перестает с беспокойством осведомляться об очищении от льда Волги, Свияги, Суры. Мысль его всецело поглощена сборами в дальний путь: «В Москву беру с собой одного человека, за мной поедет целый обоз; придется взять кого-нибудь из стариков; может быть, нужно будет захватить и повара; придется жить своим домом, чтобы все было в порядке». Спутниками Н. М. в поездке в Москву были его родственник П. А. Бестужев и П. В. Киреевский, заботливо и самоотверженно ухаживавшие за ним во все время дороги. <...> Когда он собрался, наконец, выезжать, «вдруг сиверка пошла и остановила нас, и сам Петр Васильевич оробел: он никогда не видывал этакой воздушной сумятицы и такой быстрой перемены из тепла в холод; ветер так и свищет, и снег несет во все стороны; проезду нет; на Суре, вероятно, морские волны ходят и перевоз опасен». Но если сборы были так продолжительны и неудачны, зато самая дорога оказалась необыкновенно счастливою: ровно в неделю успели они совершить весь путь из Симбирска в Москву, и больной, благодаря наступившей благоприятной погоде и хорошей дороге, почти не встретил никаких трудностей в пути. <...> Он заметно оживился. <...> «К Мурому подъезжали мы торжественно,— рассказывал он,— утро было прекраснейшее; небо ясное, воздух сладостный. Ока ровно как зеркало и вдали, за этим широким зеркалом,— старинные церкви и благовест православный. <...> Петр Васильевич увидел необходимость

нарочно съездить в эти места достопамятные и осмотреть их».

(В. Шенрок. 1897.)

Не удалось Языкову пожить покойно в Москве. Первый же визит Иноземцева решил его дальнейшую участь; знаменитый доктор, тщательно осмотрев пациента, дал ему совет как можно скорее ехать за границу. <...> Родственники Николая Михайловича сочли положение его не только серьезным, но и опасным, и даже безнадежным.

(В. Шенрок. 1897.)

П. В. Киреевский вчера возвратился из деревни, и наш отъезд, кажется, теперь уже начеку. Он в восторге от песни об стрельцах, которой два списка ты прислал мне. Старик в сильном напряжении по части стихов, и песен, и сказок — благо он вошел во вкус.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 15.VI.1838. Москва.)

Мы едем сегодня после обеда; так-то долго протянулись наши сборы, но, кажется, еще успеем вовремя добраться до вод.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 28.VI.1838. Москва.)

При выезде из Москвы, за Дорогомиловской заставой, он с восторгом любовался видом с Поклонной горы на столицу; с большим любопытством осмотрел он и знаменитое Бородинское поле.

(В. Шенрок. 1897.)

Старик все в Головине. <...> Он записывает песни и стихи; нашел несколько твердо знающих стариков и их черпает. Записал одну стрелецкую. <...> Еще любопытна песнь о выборе Ермака атаманом. <...> Открыл и сказочника и сказки запишет. На базаре бывает много стариков, поющих стихи, и их залучит. Потом собирается на ярманку в Ананьино, близ Головина, там нищие поют стихи. <...> Все это должно порадовать Петра Васильевича.

(А. М. Языков — Н. М. Языкову. 1.VII.1838. Симбирск.)

Экспедиция наша идет благополучно и ходко — сегодня в три часа утра мы прибыли в Смоленск, где отдыхаем до

вечера. <...> Дорога как скатерть, погода прекрасная, и само путешествие — как прогулка в Фонтенбло!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.VII.1838. Смоленск.)

Путь идет местами историческими,— виды восхитительные, особливо в Смоленской губернии; я бодр, весел и благодарен!

(Н. М. Языков — Е. М. Хомяковой. 1.VII.1838. Смоленск.)

Сегодня ночью прискакали в Брест, где отдыхаем сутки. <...> Мы едем очень скоро — торопимся в Мариенбад. <...> Завтра в 10 часов будем за границей: прощай, матушка Россия!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.VII.1838. Брест.)

Вот уже 4 дня, как мы здесь; я отдыхаю и советуюсь с Зеймером, к которому Высотский велел мне отнестись.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 23.VII.1838. Дрезден.)

В Дрездене мы прожили пять дней. Зеймер, к которому послал меня Высотский, нашел во мне ту же болезнь, что московские медики... посоветовал также ехать в Мариенбад. <...> Он вообще очень милый и добрый старик и знаменит далеко. Я им вполне доволен. Вот уже восемь дней, как мы в Мариенбаде; квартиру нашли хорошую, со всеми возможными удобствами, кроме печей, которые здесь делают не по-человечески: трубы в них не закрываются. <...> У нас пять покоев, я занимаю три сряду, с окна̀ми на улицу. <...> Я не могу еще ходить в публике, потому что могу ходить только дома, и то с грехом пополам. Встаю в шесть часов утра,— мне предписано пить натощак по 6 стаканов целебной воды и раза четыре в день карячиться и болтать руками и ногами! Обед берем из трактира — сытный и диэтический. <...> Петр Васильевич... принялся приводить в порядок и соображать свое собрание русских песен с песнями других народов. <...> В Гриммовом собрании народных немецких сказок — почти все русские находятся! Есть и Жар-Птица, не вовсе такая, как она у нас известна, но все-таки та же самая. Я воспользуюсь ею в свое время — и переделаю на досуге мою собственную.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.VIII.1838. Мариенбад.)

Старик П. М. в Головине записал множество стихов, со-

вершенно новых, и песен, не бывших под пером собирателей.
(А. М. Языков — Н. М. Языкову. 13.VIII.1838. Симбирск.)

Я помаленьку обживаюсь в Мариенбаде, пью воды, купаюсь, хожу по комнате, играю на бильярде. <...> Мариенбад состоит из 36 домов, которые все — гостиницы. <...> Библиотека для чтения здесь очень плоха. <...> Жаль, что не взял с собой «Жар-Птицы», я бы мог на досуге переправить ее, а во время моего пребывания за границей ее можно бы тиснуть. По вечерам мы читаем русских поэтов.
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 17.VIII.1838. Мариенбад.)

Языкова особенно стесняла и конфузила необходимость на каждом шагу прибегать к чужой помощи, и «входить в карету и выходить из нее не своими ногами, а на чужих руках».
(В. Шенрок. 1897.)

Петр Васильевич сидит со мною очень хорошо, бодро и утешительно — даже домой не торопится.
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 22.VIII.1838. Мариенбад.)

С 20 дня прошлого месяца мы в Ганау. Ганау, кажется, состоит под покровительством Св. Тихона — тишина здесь глубочайшая, слышно, как муха жужжит на улице! Копп принял меня, можно сказать, con amore. <...> Сам нашел мне квартиру, заказывает для нее двойные рамы, купил дров и проч. и проч. Он оставил меня зимовать в Ганау, т. е. на 6 месяцев. <...> Он знает многих русских литераторов: Жуковского, Вяземского, Гоголя, Шевырева. Он чрезвычайно внимателен к своим больным.
(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 4.X.1838. Ганау.)

Копп обещается поставить меня на ноги и сделать вообще молодцом к осени 1839. <...> Теперь еще не могу порядочно пройти по комнате, взойти на лестницу без провожатого; месяц тому назад не мог прочесть страницы, написать пяти строк, не почувствовав одышки! Меня вез в чужие краи и здесь еще со мною находится — мне в утешение — П. В. Киреевский, занимающийся собиранием русских песен и стихов: если у тебя есть много порожнего

времени, то примись-ка записывать с голоса народа русские песни и стихи. Последние чрезвычайно важны во многих отношениях: это легенды, поемые нищими, в них столько поэзии, что мы можем гордиться ими перед Европою,— и в них-то истинная, наша, самобытная словесность.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 17.X.1838. Ганау.)

Я все еще продолжаю ожидать брата П. М. <...> П. В. начинает поговаривать о необходимости возвратиться ему. <...> Книг накупил он, можно сказать, с три короба! — все по части песен народных и преданий.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 18.XII. 1838. Ганау.)

Наконец... прибыл благополучно в Ганау брат П. М. Он ехал, можно сказать, не торопясь. <...> Он являет деятельность необычайную: встает рано, весь день занят, все осматривает, все замечает. <...> Копп его полюбил и охотно рассуждает с ним о геогнозии и минералогии, которыми сам много занимался в молодости.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 29.XII.1838. Ганау.)

Но несмотря и на приезд П. М., тоска Языкова по родине не уменьшалась,— и он теряет всякое терпение, утешает себя, по крайней мере, мечтами о будущей поездке, а пока неистово бранит немцев и все немецкое. Ему не нравится и немецкая зима, за то, что после настоящих зимних дней вдруг сделается тепло, «вся зима стечет в Майн, потом опять холод и вдруг дожди и немецкий, сырой, тонкий ветер, голосом подобный кошачьему завыванию». Н. М. находил, что все времена года в Германии не стоят даже русской осени.

(В. Шенрок. 1897.)

Вы можете оставить у себя четыре книжки «Современника», которые при сем посылаю, и передать их после Тургеневу. Он, без сомнения, навестит вас на возвратном пути в Россию. <...> Выздоравливайте на славу Коппу, на радость русской поэзии и друзей ваших и на горе Булгарину с братиею.

(П. А. Вяземский — Н. М. Языкову. 2.I.1839. Франкфурт.)

4-го текущего месяца отправился П. В. Киреевский восвояси. Ему подобает много чести и славы за долгодневное и многотерпеливое сидение его со мною: он поедет от-

сюда на Прагу, на Киев, а потом уж в Москву <...>. С П. В. поехал к тебе портрет мой, литографированный во Франкфурте,—кажется, довольно похож.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 9.I. 1839. Ганау.)

Я пробыл 6 дней в Праге, 4 во Львове, 5 в Киеве, и теперь уже пятый день, как здесь, в деревне, откуда выезжаю завтра с Орловским дилижансом в Москву. <...> В Праге и Львове меня почти ни на минуту не оставляли наши гостеприимные собратья славяне, в Киеве я остановился у Максимовича. <...> Когда ты, справившись с богатырскими силами, пустишься в возвратный путь, то советую и тебе (не минуя впрочем Дрезденской галереи) избрать эту славянскую дорогу через Прагу и Львов. Тут многое порадует твое русское сердце и возбудит на твоей лире многие, истинно градозиждущие звуки. Нигде Россия не кажется так величественна, как среди этих славянских народов.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 21.II. 1839. Киреевская слободка.)

У нас весь день находится работа: учители поминутно шмыгают в двери: немецкий, гитарный, английский и рисовальный. <...> Когда буду покрепче, опять стану читать Шекспира. Язык легчайший,— труден выговор, да мне по-английски говорить не придется.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.III. 1839. Ганау.)

Петр Васильевич обещал скоро начать печатать песни, известий еще нет, он, верно, еще разбирается; я предлагал ему денежное пособие на первый том, он сказал, что едва ли будет нужно.

(А. М. Языков — Н. М. Языкову. 1.IV. 1839. Станишное.)

«Отечественные записки» порядочнее всех журналов, в них Лермонтов написал повесть превосходную и по содержанию, и по рассказу: «Бэла». Вроде Марлинского, но лучше.

(А. С. Хомяков — Н. М. Языкову. 12.IV. 1839. Москва.)

Мария Васильевна (Киреевская) пишет, что Петр Васильевич слабо приступает к печатанию песен, и советует прислать ему денег. Я узна́ю, сколько нужно, можно нам общими силами поддержать дело почти общее.

(А. М. Языков — Н. М. Языкову. 23.IV. 1839. Станишное.)

Наконец мы дождались хорошей погоды: стало тепло, ясно, пахнет весною. Вчера ездил я за город дышать ароматным воздухом и гулять под каштановыми деревьями в Вильгельмсбаде (так называется загородный дворец здешнего князька). То ли дело дома? Здешние сады или леса удивительно пусты в сравнении с нашими; конечно, оттого, что здесь процветает просвещение: звери, зверки, птицы и птички — ловятся на съедение или на чучелы в музеуме; насекомые туда же накалываются на булавки и шпильки, цветы собираются в гербариумы,— а леса и поля немеют и обезукрашиваются. Мая 18 дня предполагаем мы выехать отсюда в Крейцнах. Поедем, по назначению Коппа, местами живописнейшими, винограднейшими, в виду рыцарских замков и берегов Рейна. <...> У нас начинаются, кажется, жары. Шьем себе блузы и покупаем соломенные шляпы-блины. <...> На днях был у нас князь Вяземский, возвращающийся в Россию, в Питер. Он дал мне 1838 год «Современника», который читаю с большим удовольствием, тем паче, что стихи в нем почти все (именно все, кроме Пушкина и Ростопчиной) дрянь и прах! — П. Киреевский обещался писать ко мне много, но молчит. Издает ли он русские песни?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.IV.1839. Ганау.)

Я не намерен продолжать такого молчания, как до сих пор. Одною из главных причин теперешнего молчания было то, что мне было совестно признаться — чего однако ж никогда не могу миновать — что я не успел еще приняться за песни.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. IV.1839. Москва.)

Встретился я с Языковым в Ганау. Я знал его в Москве полным, румяным. <...> Передо мною был старик согбенный, иссохший; с трудом передвигал он ноги, с трудом переводил дыхание. Тело изнемогало под бременем страданий, но духом был он покорен и бодр, хотя и скучал. Чистая, кровная славянская порода его не могла ужиться в неметчине. Мало прислушиваясь к движению немецкой и западной умственной деятельности, он в Германии окружен был русскими книгами, жил русской жизнью, которую носил в груди своей, в чувствах, привычках и помышлениях.

(П. А. Вяземский. 1847.)

Мая 5 дня поутру выехали мы из Ганау, обедали во Франкфурте, ночевали в Висбадене, откуда после обеда отправились по дороге восхитительной, между Рейном и Рейнвейном, как справедливо заметил брат П. М., и к вечеру прибыли благополучно в местечко Рюдесгейм. <...> Тут, на берегу Рейна, на самом берегу, в десяти шагах от волн великого старца вод, в трактире Золотого Ангела, мы ночевали,— перед окнами Рейн, его берег с развалинами замков рыцарских и виноградниками, с видами прелестнейшими! Из Рюдесгейма переправились на пароме (паром здесь не лучше волжских,— Рейн мелок, почти весь его переходят на баграх) — в Бинген, и отсюда в Крейцнах: городок незначительный — и на солеварни, отстоящие от него версты на две. Это место чрезвычайно уединенное, можно сказать тоскливое. <...> Брату П. М. здесь раздолье: камней пропасть, солеварни, рудники даже, недалеко отсюда камнетесальная фабрика и ртутный рудник! Есть и минералог — смотритель солеварни. <...> Здесь есть и русские, кроме нас, но мы еще не познакомились с ними.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 15.V. 1839. Крейцнах.)

Мне теперь ничего так не хочется,— мне никогда ничего так сильно не хотелось,— как поскорее восвояси. Эта жизнь под перстом медицины, это таскание от одного места лечения к другому, это всегдашнее пребывание в комнате в закупорке, эти несносно тягостные переезды и пережидания, и отдыхи от одного лекарства до другого,— этот чужой язык и люд, другой закон, другие нравы — и, наконец, вся эта микстура, вместе взятая и приправленная немецким духом, как немецкий суп мускатным орехом,— эта микстура наскучила мне, как все прочие микстуры, и мази, и пластыри — слабительные, свербительные и томительные. <...> На зимовке начну писать стихи. Я так намерзся моим бездействием духовным, что, вероятно, разражусь сильно и множественно — ежели... разумеется, мое здоровье этому не воспротивится.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 8.VII. 1839. Теодорсгалле.)

Я теперь нахожусь в разных неприятных и томительных обстоятельствах, т. е. переношу действие Крейцнахских вод на мое тело: потею, худею, имею разные нарывы. <...> Действие благодетельное, по словам Коппа. <...>

Копп назначил мне зимовать в Риме! С неделю пробудем мы здесь, потом — в Гаштейн, из Гаштейна в Веве — лечиться виноградом; в октябре переедем Альпы, увидим Милан, Генную и проч. <...> В Риме найдем мы Гоголя, который вчера был у нас проездом в Мариенбад. С ним весело, он мне очень понравился, и знает Рим как свои пять пальцев, потому что жил в нем три года. Он, вероятно, много написал в Риме. В Мариенбаде съедется он с Погодиным и Шевыревым, там же будет и Шафарик! Порядочная компания славян!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.VII. 1839. Ганау.)

Через Дармштадт, Гейдельберг, Штутгарт, Ульм, Аугсбург, Мюнхен и Зальцбург прибыли мы в Гоф-Гаштейн, где уже находимся две недели — половину моего курса,— завтра переезжаем в Вильдбад. <...> Здесь горы неприступнейшие! — облака, которые у нас обыкновенно носятся на высоте, здесь ходят запросто подле наших окон, цепляясь за сосны и острые скалы. Пища хорошая: альпийское млеко, альпийское масло, альпийские воды и таковые же плоды: земляника, вишни, смородина и малина. Приезжих здесь много,— все самые слабые: калеки, паралитики, подагрики и мне подобные.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.VIII. 1839. Гоф-Гаштейн.)

Мы переехали в Вильдбад-Гаштейн. <...> Справа и слева у нас в виду горы, стоящие торчмя, покрытые еловым лесом, за который цепляются облака. Прямо перед нашими глазами бежит с этих гор река: вся — грохот, шум и пена, и падает на дно ущелья, которое ею запирается; дальше уж и нет дороги. К скалам прилеплены большие каменные дома и клетушки на курьих ножках, и все это дрожит от грома водопада, а в этих домах и клетушках должно кричать, чтобы тебя слышали, таков шум, стоящий здесь непрестанно! <...> Пора в Комо. Там буду я под присмотром Д. Паганини, брата известного скрыпача.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.VIII. 1839. Вильдбад-Гаштейн.)

В Рим предполагался путь сначала через Альпы, именно через Сен-Готард или Сен-Бернар, но Н. М. отклонил этот маршрут, не желая подвергать себя неудобствам переезда через горы; он шутил по этому поводу: «Ведь мы

не Суворов и не Наполеон», и, утверждая, что предпочитает «славе» — удобства, избрал иное направление: Зальцбург, Инспрук, долину Инна, Констанцское озеро, Тироль, Цюрих, Лозанну, Женевское озеро, Веве и озеро Комо. В г. Комо Языков приехал уже в начале октября.

(В. Шенрок. 1897.)

Вот уже две недели, как мы в Комо,— насилу нашли здесь квартиру — за городом, с небольшим садом. <...> У нас пять комнат — окна в сад и на двор,— в них три камина. <...> Нам здесь чрезвычайно скучно, так скучно, как не бывало и в Гаштейне. <...> Не знаю еще, куда отсюда поедем,— в Рим не хочется. <...> Может быть, в Ниццу.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 15.X. 1839. Комо.)

На днях кончится мое виноградное лечение. <...> Дни через три выезжаем в Ниццу. Это не так далеко отсюда, как Рим.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 9.XI. 1839. Комо.)

Ты, моя милая, мало к нам пишешь: ничего не описываешь, напр., описала бы, как происходила Бородинская тризна, что об ней говорилось. <...> Дюк прислал нам стихи Жуковского «Бородинская годовщина» — хорошо многое. Алексею Степановичу следовало бы воспеть предмет сей — как поэту Москвы, воину и патриоту. Я напишу стихи о Бородине, когда поеду назад в Москву — ввиду этого дола, некогда кровавого. <...> Я в Ницце найму квартиру с видом на море — надобно мне воспеть неземную его прелесть.

(Н. М. Языков — Е. М. Хомяковой. 9.XI. 1839. Комо.)

В Турине узнали мы, что переезд через горы, стоящие на дороге к предмету нашего пути, невозможен: горы завалены глубоким снегом. Мы думали переждать эту нечаянность и редкость в здешних климатах,— ждали, ждали, дождались известия, что можем пуститься. <...> Дорога взбирается на тычки́, стоящие высоко над морем, которое так и плещет в скалы, на коих устроено шоссе. <...> Этот берег Средиземного моря — край благословенный: все зеленеет и цветет — померанцы, оливы, финики и сливы во всей красе и свежести, а уж солнце печет по-летнему!

Вот уже другая неделя, как мы в Ницце. <...> Время это прошло у нас неприметно — в отыскании квартиры

со всеми удобствами для больного, с видом моря, с садом для гульбы, с окнами на восток. <...> Здесь съезд большой: англичан 100 семейств, почти столько же французов, 8 — русских! <...> Из журналов позволены только «Gasette de France» и «Quotidienne» [1]. Здесь есть и русский консул! <...> Здесь мне было бы вполне хорошо, если бы нашелся хороший медик.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 10.XII. 1839. Ницца.)

Мы пользуемся погодою прекраснейшею: здесь ненастья нет вовсе: по крайней мере, мы не видали его! <...>

Хомяков принялся за стихописание! Кто что ни говори, а похвала, низлетевшая с высоты земного величия — бодрит и восстановляет нашего брата-стихотворца. Те искусства, особенно те же, которые величаются свободными, процветают как-то охотнее, когда их похвалят или покровительствует им власть державная! Такова странная судьба человеческая! Как хорошо Хомякова «Видение»! Пусть пишет он больше и больше!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 15.XII. 1839. Ницца.)

К чаю Иван Петрович <Постников> тут как тут. <...> Кто живет в Москве, тот привык к отличнейшему чаю. Иван Петрович любит его кушать на воздухе, с трубочкою, разумеется с стамбулкою, с саженным чубуком, черешневым,— тьфу, пропасть, какая роскошь! Здесь ее и не знают, этой азиатской неги. А жу́ковский табачок просто сласть... Нынешний день доктор поторопился в свою комнату; по наблюдениям Селиверста, наш медик занимается каким-то сочинением — на письменном его столе лежит огромная тетрадь с заглавием: «О целебных водах Европы»,— вот как хватил наш Иван Петрович! Не на шутку он несколько недель хмурился как осенняя погода.

(П. М. Языков. Дневник. 2.I. 1840. Ницца.)

Небо ясное, как душа праведника, голубое, как глаза Мадонны Рафаэля. <...> Барон был очень весел. <...> Он написал несколько стихотворений, хочет их переписывать в особенную книжку, но ни одного еще не выпускает в свет. <...> Вчера я читал Манзони. Какое удивительное сочинение!

(П. М. Языков. Дневник. 9.I. 1840. Ницца.)

---

[1] «Французская газета» и «Ежедневная газета» *(франц.)*.

Мы продолжаем сидеть в Ницце, погода благоприятствует нашему житью. <...> Мы здесь в уединеньи, в чужих людях, можно сказать в томлении однообразия и скуки: нельзя же без устали восхищаться прекрасным климатом, романтическими видами, морем.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 12.I. 1840. Ницца.)

Старый Барон вынул книжку, приготовленную для вписывания стихов: «Пиши, я тебе продиктую»,— и я вписал стихотворение под заглавием «Иоаннисберг».

(П. М. Языков. Дневник. 14.I. 1840. Ницца.)

Барон продиктовал мне еще два стихотворения: «Бурю» и «Переезд через Апеннины». Старичок наш начал пописывать,— в добрый час!

(П. М. Языков. Дневник. 15.I. 1840. Ницца.)

Напившись чаю, доктор ушел. Барон продиктовал мне два стихотворения, писанные еще в Ганау. Таким образом, каждый вечер мы вписываем в зеленую книжку по нескольку стихотворений.

(П. М. Языков. Дневник. 19.I. 1840. Ницца.)

После обеда пришел старичок-рыбак с раковинами. <...> Когда мы сторговались, он просил, чтобы я велел дать ему кусок хлеба, что он целый день не ел. Мы нигде не встречали столько бедных, как здесь, посреди этого земного раю,— нельзя выглянуть в окошко, чтобы кто-нибудь на улице вам не кланялся и не просил подаяния, везде таскаются в оборванных фраках старики, в лохмотьях, без рубашек, мальчики, женщины-вдовицы с детьми, едва одетыми. Выйдите на берег моря посмотреть, как тянут сеть рыболовную, заговорите с рыбаками, и они у вас будут просить подаяния. <...> Земля здешняя истощена с незапамятных времен... скота содержать нет средств за недостатком корму.

(П. М. Языков. Дневник. 23.I. 1840. Ницца.)

С утра под окнами раздавались моления нищих. <...> Один старик, высокого росту, в жалком рубище, с длинным посохом и в белой повязке на голове, стоял на коленях перед окнами и выпрашивал подаяния. Эти горькие сцены повторяются каждодневно.

(П. М. Языков. Дневник. 24.I. 1840. Ницца.)

Сошедши вниз, я застал Барона, пишущего стихи. <...> После чаю, когда доктор ушел к себе, Барон вынес тетрадь и начал мне диктовать большую пьесу «Встреча Нового года», которую мы не могли кончить.

(П. М. Языков. Дневник. 6.II. 1840. Ницца.)

Барон вынес тетрадь и продолжал диктовать мне начатое стихотворение. Таким образом мы просидели до 9 часов. Барон устал диктовать, я устал писать, и разошлись успокоиться от дневных трудов.

(П. М. Языков. Дневник. 7.II. 1840. Ницца.)

Барон приказал принести свою тетрадь, и мы начали дописывать начатую пиесу. Кончивши, он просил меня прочитать ее вслух и сделал некоторые поправки. В 9 часов я пошел спать. Барон занимался с Селиверстом, которого он продолжал учить по-французски.

(П. М. Языков. Дневник. 8.II. 1840. Ницца.)

Барон вынес портфель свой и продиктовал мне стихотворение «9 мая 1839 года», которое он начал писать в Висбадене, а окончил в Салинах. Это был день именин нашего поэта.

(П. М. Языков. Дневник. 9.II. 1840. Ницца.)

Барон наш сидит да пописывает стихи и не слыхать его. <...> Барон вынес портфель и продиктовал мне несколько элегий, писанных в Салинах.

(П. М. Языков. Дневник. 11.II. 1840. Ницца.)

Ты мало пишешь о теперешнем состоянии петербургской литературы. <...> Приходит пора покидать приморскую Ниццу: гости уже мало-помалу разъезжаются отсюда по всем сторонам, потому что скоро здесь начнутся жары. <...> Щастлив, трикрат щастлив, кто никогда не выходил за рубеж отеческий! <...> Прилагаю здесь одно из моих стихотворений. <...> Я написал кое-что. <...>

Копп велит мне как можно избегать сильных ощущений, а я беспрестанно волнуюсь, только что вспомню, что я так далеко от всего мне родного и милого,— это, вероятно, мешает и моему выздоровлению,— но как же быть, как избежать самого себя, своего я? Брат П. М. ведет подробный журнал нашей жизни — подробный, микроскопический! Это будет книга очень любопытная и разочарует стремящихся за границу как в рай земной.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 10.III. 1840. Ницца.)

Будучи за Волгою, не забывай записывать песни и стихи. Мне помнится, что в Станишном оставалось несколько старцев и стариц неизвестных.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 22.III. 1840. Ницца.)

Нетерпеливо жду письма от Петра Васильевича вместе с известием о начале печатания песен: боюсь, чтоб он вовсе их не бросил, углубившись еще и в мир византийский. Как жаль мне, что я теперь не в Москве, что не слышу этих жарких и коренных споров о предметах важных! Воображаю А. И. Тургенева защищающимся от наших подвижников! <...> В Италии мне скучнее, нежели в Неметчине, и я то и дело раскаиваюсь, что забрался в эту даль. <...> Радуюсь, что Баратынский и Хомяков не оставляют лир своих.

(Н. М. Языков — А. А. Елагину. 2.IV. 1840. Ницца.)

Копп велел мне взять 40 купаний в самом море, а море еще холодно. <...> У меня был Э[лим] Мещерский — он не понравился мне: слишком карячится. <...> Едва ли он знает по-русски как следует, чтобы переводить поэтов: а он еще готовит целый том своих переводов.

(Н. М. Языков — А. А. Елагину. 2.IV. 1840. Ницца.)

А вот еще жалко: Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь, не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом и как поэт и как прозатор.

(А. С. Хомяков — Н. М. Языкову. 20.V. 1840. Москва.)

Брат П. М. купается со мною вместе, говоря, что это его освежает морально, отгоняя тоску, свойственную нашей жизни. <...> Мы послали к тебе уже несколько пьэс — из написанных мною здесь стихотворений, а от тебя об них ни гу-гу: получил ли, нет ли?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.V. 1840. Ницца.)

К Петру Васильевичу мы писали, писали. <...> Расторыкать его трудно. Он чрезвычайно способен захрясать и засиживаться в одной мысли и на одном месте, вот почему и не отвечает на письма и медлит изданием песен, уже не знаю почему.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. VI. 1840. Ницца.)

Мне очень жаль тебя, любезный брат Николай Михайлович. Заехал Петр Михайлович в Дрезден да и сидит, а

ты один в уголке немецкой стороны с товарищем-скукою. Вот то-то: я тебе советовал ехать в Париж. Теперь никаких отговорок нет: тот, кто может писать стихи «К Рейну» (лучших стихов нет на русском языке по полнозвучию, силе и движению стиха), тот может ехать веселиться в Париж.

(А. С. Хомяков — Н. М. Языкову. VIII. 1840. Москва.)

У Петра Васильевича недавно залезли воры в сундук, где хранятся песни, но песней никто не взял.

(Е. М. Хомякова — Н. М. Языкову. 28.VIII. 1840. Москва.)

Вот мы и в Гаштейне! Я начал купанье в здешних электрических водах и снова ожидаю от них пользы. <...> Путешествие наше из Ниццы досюда было неблагополучно: в Генуе... я пролежал больной три недели. <...> в Гаштейн въехали мы во время проливных дождей.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 30.VII. 1840. Вильдбад-Гаштейн.)

Роман Лермонтова мы было начали читать — да нет, как-то нейдет! Вяло, растянуто, неискусно и незанимательно! О Гоголе ничего не слышно. <...> Правда ли, что Жуковский женится на немке?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 7.IX. 1840. Вильдбад-Гаштейн.)

Я взял более двух курсов ванн. <...> Мускулы мои стали крепче, спинная кость выпрямилась (это главное!). <...> Я хожу крепче и тверже держусь на ногах.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 22.IX. 1840. Вильдбад-Гаштейн.)

Жуковский женится; был у нас недавно,— едет в Питер за отставкой, потом в Дюссельдорф жениться. <...> Он здоров, свеж, и бодр, и весел. Невеста 19 лет, высокая, белокурая, стройная и цветущая!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.X. 1840. Вильдбад-Гаштейн.)

В Москве затевается журнал,— если это правда, то пошли Погодину или Киреевскому, или обоим, стихи мои, у тебя накопившиеся, ведь надобно же явить их читающей публике, особенно теперь, когда в Москве никто из зна-

менитостей не пишет стихов. Я собираюсь приняться за работу.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 30.XI. 1840. Вильдбад-Гаштейн.)

П. Киреевский обещает скоро прислать 1-й том песен, у него-де все томы готовы к печати.

(А. М. Языков — Н. М. Языкову. 21.XII. 1840. Симбирск.)

Посылай мои стихи в журнал, особенно покровительствуя московских моих благоприятелей.

В числе рек, в Волгу впадающих, я пропустил Шексну и Свиягу, а Мокша впадает в Оку. После на досуге прибавлю, что следует,— и вообще распространить можно эту пьэсу, коснувшись рек, так сказать, внучатных для вящего Волги прославления; но ведь эту прибавку лучше сделать после предварительного о том разговора с Балдовым, чтобы в одном стихотворении соединить поэзию с практикой и гармонию языка с хлебом и солью.

Нынешним годом зима холодна беспримерно, по сказанию немцев, дрожащих и скачущих от холода. <...> Впрочем, я не много страдаю от низкой температуры, топя часто и одеваясь тепло: имея дрова хозяйские и свою шубу.

Тик, уже старик преклонных лет, написал роман «Vittoria Accoronabone» [1] — прелесть и верх совершенства! Хорошо бы его перевести; да ведь у нас переводят преимущественно вздор.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.XII. 1840. Ганау.)

Наконец 30 декабря 1840 года Погодин ожидает «с беспокойством первой книжки («Москвитянина»), которую принес переплетчик только в пять часов». И в тот же день он празднует «крестины журнала. Студитский читал отрывки из своих переводов, Дмитриев балладу, Хомяков стихи свои и Языковские. Было очень весело».

(Н. П. Барсуков. Указ. соч. Т. 5. 1892.)

Твой *Рейн,* твои *Именины* («Девятое мая») и все твои последние стихи так хороши, что просто чудо. <...> Жуковский сюда приехал. Очень мил, об тебе говорит утешительно.

(А. С. Хомяков. 3.I. 1841. Москва.)

---

[1] «Витторпя Аккоропабоне» *(итал.).*

Знаешь ли ты, что обо мне была напечатана большая статья в немецком журнале «Europa» — моя биография между королевою Викториею и Мегметом-Али! Эту штуку выкинул со мною немец, у которого я в запрошлом году учился английскому языку: часто, бывало, расспрашивал он меня и брата П. М. об нашем семействе, о том, где и как мы учились, сколько нас и каких? Заводил разговоры и споры о том и сем и даже о прочем,— само собой разумеется, что мы и не подозревали его цели! Возвратившись прошлою осенью в Ганау, я был им встречен уже, как герой своим эпиком! Остановить распространение этой статьи в чужбине было невозможно, потому что глупость вышла в свет; а объявить в газетах... значило бы убить навек этого молодчика, только что выступающего на лоно писателей! Вперед надо бы быть осторожнее. Я сердечно рад, что журнал «Europa» не пропущен в Россию,— можно бы подумать, что я нанял себе хвалителя! <...> Я бы не поверил, что немец, еще порядочный молодой человек, решится писать о том, чего вовсе не знает, а теперь на самом себе испытал этакое бесстыдство!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.I.1841. Ганау.)

Морозы так и ёжат немецкий народ — и о сю пору, когда обыкновенно начинают петь жаворонки... 10 град. холода. <...> Я было собирался писать стихи — да еще не начал: как-то не пишутся,— этому причин много: 1.— немец, который написал обо мне статью (вздор) и, поместив ее в журнале «Европа», повадился ко мне во время отсутствия брата, вероятно полагая, что мне скучно,— вероятнее потому, что погода холодная, а у меня тепло, а он бережет свои дрова,— сидит у меня с утра до ночи, томит меня, не понимая по свойственной немцам бестолковости, что он мне надоедает крайне.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 23.I.1841. Ганау.)

Несколько позже Пушкина и Баратынского явился у нас поэт Николай Михайлович Языков. Его муза, воспитанная в Афинах Эстонии, воспела геройские подвиги рыцарей той стороны, ученые и разгульные бдения дерптского юношества, славные события нашей старины, живущие в памяти народа, и все разнообразно-поэтическое в истории студента. Его стих волен, крепок, звучен и самобытен, как поэт его.

(П. А. Плетнев — Я. К. Гроту. 18.II.1841. СПб.)

Из Дрездена... я приехал в Ганау и нашему старику, осажденному немцами, в самое наше и немецкое светлое Христово Воскресение в 7 часов утра, совершенно для старца неожиданно. <...> В комнате его... я нашел токарный станок, на котором он упражняется каждый день и берет два урока в неделю токарного искусства. <...> Нельзя ли тебе распорядиться так, чтобы к осени у него в комнате был станок. <...> Можешь выписать из Москвы. <...> Это будет старику приятный сюрприз. Копп даже хочет, чтобы он ездил верхом, но это, кажется, будет трудно. В Крейцнахе доктор Прегель хотел было его прокатить на осле, но старик рассердился и не поехал, называя глупостью такие прогулки на ослах, почитаемых (по Рейну) немцами сильно лекарственными. <...> С приездом моим немцы отхлынули от старика и больше ему не надоедают — он с ними сидел и деликатничал, а их зимою к нему загонял холод и голод. Нанятый чтец ходил по два раза в день и от усердия просиживал часа по два и совершенно заговаривал старика — до усталости. <...> Прежде возвращения Коппа из Гаштейна, т. е. около конца мая, мы из Ганау никуда не тронемся.

(П. М. Языков — А. М. Языкову. 9.IV. 1841. Ганау.)

Петр был сам, своей персоной у тебя в Долбине, милый Иван, и ты, надеюсь, успокоился насчет его великолепного молчания. Когда десять лет лежат перед ним песни, которые издать необходимо для собственного спокойствия, когда полтора года куплена для них бумага, три года пропущены цензурой — и он все сбирается, то можно же простить ему несколько лет пропущенных.

(А. П. Елагина — И. В. Киреевскому. 21.IV. 1841. Москва.)

Гоголь в восторге от ваших стихов «Послание к Павловой», выучил их наизусть. <...> Он любит вас ужасно и говорит всегда с большим восхищением об вас, так, как об Италии. <...> Тургенев (А. И.) здесь по-прежнему у ног Кат. Ал. Свербеевой; он очень забавен. <...> Вяземский мне не нравится, как-то скучен; он, говорят, не был такой; читал и оживился, читая стихи ваши «К морю». Каролина Карловна отвечает вам стихами: ждите послания длинного.

(Е. М. Хомякова — Н. М. Языкову. Лето 1841. Москва.)

Здесь непрестанный дождь, бурные осенние ветры и холода. <...> В Ганау был у меня Кругликов,— ты не помнишь его? Это один из бывших издателей «Невского зрителя». Он уже давно сошел с литературного поприща и теперь действует на поприще почт. <...> П. В. Киреевский давно уже не писал ко мне, и о песнях слуху нет нигде. <...> Едва ли П. В. Киреевский затрудняется при издании песен неимением денег, я несколько раз спрашивал об этом, предлагая ему руку помощи,— он всегда говорил мне, что это не нужно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. VII. 1841. Швальбах.)

Дожди и холода здесь продолжаются. <...> В окна нельзя и смотреть, потому что в них Борей дует и свищет, пища холодная, потому что ее носят издалека. <...> Мы не знаем, что и думать об Авдотье Петровне... об ней замолк слух, т. е. с тех пор, как Жуковский сказывал нам, что он брал для нее билет на пароход. <...> Я писал к ней по его приказанию. П. М. уехал в Эмс к своим, и я теперь сижу с одним Сильвестром.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 23.VII. 1841. Швальбах.)

Недавно я познакомился с Бакуниным,— ты, верно, слышал это имя? Это один из московских юношей, занимающихся философией (тот самый, который один, из всех там спорящих о Гегеле, читал Гегеля) и теперь приехавший в Эмс. Он герой и потому уже, что из офицерства перешел к наукам!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.VIII. 1841. Швальбах.)

Брат П. М. ...отправился отсюда в Дрезден, а потом и дальше в Питер и на Русь, вместе с Гоголем, который провел с нами целый месяц, ожидая решения судьбы моей на будущий год,— если бы мне ехать восвояси, то и он пустился бы со мною; вышло иначе! Сентябрь месяц прошел нынешний раз у меня очень весело: был великий съезд нашей родни в трактир, мною обитаемый,— Е. Петровна с детьми. <...> Была здесь и Елагина с своими девицами; она привезет в Москву вернейшие обо мне сведения. <...> Заезжал в Ганау и ко мне заходил и Жуковский, который и приказал мне остаться до весны под надзором Коппа,— то же подтвердила, или лучше утвердила, и Авдотья Петровна. Вот так-то решилась судьба моя! Надеюсь, что это уже последнее зимовье мое в Неметчине: бог поможет, и

я еще бодрее, нежели теперь есмь, явлюсь в Москву и даже на стогны Москвы!

Гоголь сошелся с нами, обещался жить со мною вместе: на одной квартире по возвращении моем в Москву. Он, кажется, написал много нового и едет издавать оное. Он премилый, и я рад, что брат П. М. не один пустился в далекий путь, а с товарищем, с которым не может быть скучно и который бывал и перебывал в чужих краях. <...> Гоголь обещался приехать пожить к нам в Симбирск, чтобы получить истинное понятие о странах приволжских.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.IX.1841. Ганау.)

Прежде всего посылается тебе с почтою из Дрездена куча поцелуев, а что в них, в сих поцелуях, заключено много всего — ты уже знаешь. <...> Ехалось хорошо. Думалось много о чем, думалось о тебе, и все мысли о тебе были светлы. Несокрушимая уверенность насчет тебя засела в мою душу. <...> Мы в Дрездене. Петр Михайлович отправился к своему семейству, а я остался один. <...> Нет, тебе не должна теперь казаться страшна Москва своим шумом и надоедливостью; ты должен теперь помнить, что там жду тебя я и что ты едешь прямо домой, а не в гости.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 27.IX.1841. Дрезден.)

Я теперь в Москве и вижу чудную разность в климатах. Дни все в солнце, воздух слышен свежий, осенний, передо мною открытое поле, и ни кареты, ни дрожек, ни души — словом, рай. Обнимаю и целую тебя несколько раз. Жизнь наша может быть здесь полно-хороша и безбурна.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 23.X. 1841. Москва.)

Гоголь говорит, что вы стали еще бодрее перед его отъездом. <...> Гоголь представлял в лицах вас с Бакуниным. <...> Как я рада была видеть его; много рассказывал об вас, и все радостное. Весело слушать, как он любит вас. <...> Ждет вас и сказывал, что будете жить вместе.

(Е. М. Хомякова — Н. М. Языкову. 16.XI.1841. Москва.)

Передаю вам в ваши руки Языкова. Отыщите для него квартиру сами, не менее пяти или, по крайней мере, че-

тырех комнат. Две из них чтобы были большие. Сделайте так, чтобы токарный станок был тотчас же в них поставлен, если можно, то и бильярд. Все утро должно принадлежать Языкову. Всякого гостя пусть просит человек пожаловать ввечеру от 4 до 10 часов. В это время все близкие Языкову должны навещать его — это их обязанность. За час или за два перед обедом он должен ехать кататься и гулять, особенно зимою, в санках. Соблюдение всех этих правил очень нужно, и вы можете более всех способствовать к этому.

(Н. В. Гоголь — А. П. Елагиной. XII. 1841. Москва.)

Спасибо вам за последние стихи Лермонтова. Скажите, его «Завещание» — фантазия или в самом деле написано перед смертью? Для умирающего слишком сухо и холодно, да к тому ж он говорит: «Умер честно за царя», между тем как мне писали, что он убит на дуэли с Мартыновым, вызвавшим его за «Княжну Мери» (читали ль?), в которой Лермонтов будто представил сестру того. <...> Больно грустно. Ничто даровитое не держится у нас на Руси, между тем как Булгарины цветут здравием.

(Н. А. Мельгунов — Н. М. Языкову. 1.XII. 1841. Флоренция.)

Гоголь сидит дома и печатает свои «Мертвые души». <...> Говорят, Гоголь привез несколько новых твоих пиэс и что Погодин, у которого Гоголь живет, держит их под спудом для «Москвитянина».

(А. М. Языков — Н. М. Языкову. 22.XII. 1841. Москва.)

Тот немец, который угнетал меня прошлою зимою, сочинил сонет в мое прославление. <...> Теперь он напечатан и прислан мне сочинителем на листе с раскрашенными окраинами. <...>

Ты ведь знаешь, что нас здесь называют баронами,— это пошло сначала от Коппа, которому я объяснял, что это неправда. Но он разделил русских на два состояния, т. е. на платящих подати и на неплатящих,— не согласился со мною и окрестил меня бароном, что так и осталось в Ганау и везде на водах у врачей, получавших обо мне письма от Коппа.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 24.XII. 1841. Ганау.)

Балдину посвящена довольно длинная пьэса — труда моего. Дай ей заглавие, имена разговаривающих тоже наз-

начь по воле твоего произвола; назови ее, если не придумается лучшего: «Случай»... «Странный случай» или как-нибудь в этом роде!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. XII. 1841. Ганау.)

Б. Помните, бывало, говаривали: Пушкин, Баратынский, Языков?

А. Да, то есть триумвират... И точно, названные вами писатели недаром считались даровитыми. В них выразился характер эпохи, теперь уже миновавшей; они завоевали себе место в истории русской литературы. <...> Стихи Языкова блестят всею роскошью внешней поэзии,— и если есть внешняя поэзия, то Языков необыкновенно даровитый поэт. Он много сделал для развития эстетического чувства в обществе: его поэзия была самым сильным противоядием пошлому морализму и приторной элегической слезливости. Смелыми и резкими словами и оборотами своими Языков много способствовал расторжению пуританских оков, лежавших на языке и фразеологии. Правда, его новые слова и фразы почти изысканны, неточны, неточны, а нередко и грешат против вкуса; но они всем понравились, а потому и сделали свое дело... Стих Языкова громок, звучен, ярок; но в нем это — чисто внешние достоинства, без всякого отношения к содержанию. Да и что составляет содержание его поэзии? или, лучше сказать, есть ли в ней какое-нибудь содержание? Поэзия, полная содержанием, всегда развивается, идет вперед; поэзия, чуждая всякого содержания, всегда стоит на одном месте, поет одно и то же, одним и тем же голосом. Вначале она может возбуждать фурор; но когда к ней привыкнут, ее уже не читают, а только безусловно хвалят... Проходит пыл, остается дым и чад.

(Белинский В. Г. Русская литература в 1841 году // Отечественные записки, 1842, № 1, вышел 2.I. 1842.)

У Гоголя сплин. Никуда не ходит, кроме Авдотьи Петровны. Любит очень, до страсти Весселя и говорит его стихи чудесно.

(А. М. Языков — Н. М. Языкову. 7.I. 1842. Москва.)

Спасибо тебе за басню Крылова: старик еще не ослаб! <...> Гоголь обещался прислать мне наши литературные новости, да что-то притаился и перестал писать ко мне.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 15.I. 1842. Ганау.)

Я получил от тебя письмо. <...> За неделю пред сим получил пару твоих стихотворений, чудных стихотворений, которые дунули на всех свежестью и силою; все были восхищены ими. <...> Сила языка в них чудная. Так и подмывает, и невольно произносишь: Исполин наш язык! Я писал к тебе мало в прежнем письме, потому что был не расположен. Я был болен и очень расстроен и признаюсь не в мочь было говорить ни о чем. Меня мучит свет и сжимает тоска, и, как ни уединенно я здесь живу, но меня все тяготит: и здешние пересуды, и толки, и сплетни. Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение. О! как бы весело провели мы с тобой одни вдвоем за нашим чудным кофеем по утрам, расходясь на легкий, тихий труд и сходясь на тихую беседу за трапезой и ввечеру. Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха. Я приеду сам за тобою. <...> Здоровье мое сделалось значительно хуже. Мне советуют ехать в Гаштейн, как кстати!

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 10.II.1842. Москва.)

На днях получил я письмо от Гоголя, в котором он укоряет меня в том, что я ни разу не писал к нему с самого его отъезда из Ганау, а я, по крайней мере, 6 писем отправил к нему в Москву, по адресу, мне оставленному! <...> В письме его, которое напечатано в «Москвитянине», виден он как в зеркале, весь вполне: это письмо историческое. Что переделал он в «Ревизоре»? Он, помнится, переделал и «Бульбу» для нового издания своих сочинений,— заметил ли ты это?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.II.1842. Ганау.)

Я получил из Симбирска от Языкова статью Н. Языкова драматическую.

(Н. В. Гоголь — М. П. Погодину. 14.III.1842. Москва.)

Скажу только тебе, что состояние мое до сих пор еще тягостно и что припадки, которые было совершенно оставили меня вне России, теперь возвратились. И потому как благодати жду счастливого отъезда. Верю в высший произвол и чую, что слетит последнее мутное, что было на душе моей, и тогда я расскажу тебе все.

<...> Получил ли ты от кн. Вяземского статью мою,

помещенную в «Москвитянине», под заглавием «Рим», которую я велел для тебя отпечатать отдельно?

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 30.III.1842. Москва.)

Славное и благое дело вы затеяли изданием Синбирского сборника: видно это и потому уже, что сам П. В. не стерпел своего молчания и принялся даже за письмописание по этому случаю: он, так сказать, вышел из себя! Продолжайте, продолжайте, почтеннейшие! Можно, я думаю, поднять многие домашние архивы Симбирские и отыскать в них драгоценности исторические. <...> Валуев прислал мне два вида Языкова, им снятые,— очень хорошенькие. Я гляжу на них в сладость сердцу — и мечтаю! <...> Весна нынешнего года действует на меня чрезвычайно болезненно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 14.V.1842. Ганау.)

Петр Михалыч не едет. Но я еду к тебе с огромной свитой. Несу тебе и свежесть, и силу, и веселье, и кое-что под мышкой. Жди меня и не уезжай без меня никак. Клянусь, слетит с тебя последнее пасмурное облако, ибо я сильно, сильно хочу тебя видеть, как никогда доселе не алкал; а что сильно, то не может быть никогда вяло или скучно. Обнимаю тебя заочно, пока не обниму всего и крепко как следует лично. Прощай, до свиданья.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. V.1842. Москва.)

Пишу вам с Николаем Васильевичем. <...> Добрый Гоголь обещает вам заменить батюшку. Он пробудет с вами как можно дольше, поедет с вами в Гаштейн. Вообще трудно быть милее и добрее Гоголя. Я люблю его за его дружбу к вам. <...> Он вам будет живая грамота от нас. <...> Вчера именины Алексея Степановича. Гоголь подарил ему «Мертвые души», приятнейший подарок!

(Е. М. Хомякова — Н. М. Языкову. 21.V.1842. Москва.)

Вот я опять в Гаштейне! Мое путешествие от Ганау досюда шло этот раз крюком: я заезжал в Дрезден, где пробыл почти три недели в обществе Ел. П. и ее подручников,— из Дрездена на Егер, на Регенсбург, Зальцбург — и в Гаштейн! <...> Статья Белинского о Шевыреве, тобою мне присланная, так глупа, пошло и гадко написана, что на нее и отвечать не должно бы вовсе. Вообще пора

бы Шевыреву и Погодину сделаться степеннее и перестать перебраниваться вообще, повторяя зады и давно забытые публикой личности и ссоры — все это не ведет к добру, а между тем время проходит в пустяках, которые уже всем надоели. Юности позволительно резаться и даже дурачиться, но мужу ребячиться нейдет.

Белинский едва ли не прав в рассуждении меня! Я сам чувствую, что уже далеко не тот, каков был прежде... не тот, каким бы я должен быть в мои теперешние годы.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.VI.1842. Вильдбад-Гаштейн.)

Гагемейстер — юноша доблий — дерптский мой современник и однофакультетник... теперь здесь: мы сошлись, как старые однополчане, с ним я часто видаюсь, беседую о том и о сем. Он ездит теперь по Европе как агент нашего Министерства финансов; желает после этого путешествия посетить внутреннюю Россию, пожить там долго, чтобы узнать короче, нежели можно, живя в Питере, и проч. Я воспользовался им и в твою пользу: вот какие книги он рекомендует об уничтожении рабства в Европе, как лучшие. <...> Он написал статью о крепостном состоянии в России для Берлинского архива.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.VI.1842. Вильдбад-Гаштейн.)

Вышла 1-я часть «Мертвых душ» Гоголя, мы ее скоро получим, прочтем и напишем тебе, что найдем. <...> «Мертвые души» произвели здесь разнообразные толки; большая часть читателей не поняла и не оценила их, как должно (это первая часть, завязки еще нет). Свербеев называет их отвратительною насмешкою, которая от первой до последней страницы преследует читателя и не дает ему отдохнуть спокойно. Но в этом-то состоит великое создание, что оно заставляет смеяться горько и не для одной забавы. Вообще, тут в первый раз виден Гоголь как писатель вполне серьезный; он возмужал и окреп для подвига. Свербеев пишет, что переменил свое мнение! <...>

Гоголя дарование развилось удивительно. <...> Пусть его пишет более и более. Многие опасались, чтобы, живя в чужих краях, он не склонился к тамошнему и не сделался из русского, национального живописца живописцем итальянским.

(А. М. Языков — Н. М. Языкову. 21.VI.1842. Станишное.)

Июля 14 дня прибыл в Гаштейн Гоголь: он поместился в одном доме со мною, и мы живем как братья. Он, слава богу, здоров, не лечится и явился... собственно, меня ради. Этот подвиг его есть истинное для меня благодеяние и эпоха в моем заграничном странствовании и в жизни моей вообще. Он подзывает меня ехать вместе с ним зимовать в Рим, в противном же случае Гоголь проводит меня в Россию. Вероятно, что я решусь на первое. <...> Теперь Гоголь утешает, освежает и бодрит меня своим примером и словом. Он привез мне «Мертвые души», которыми я наслаждаюсь, тем более что почитаю это сочинение чрезвычайно полезным нашему любезному отечеству. Не забудь написать мне, какое впечатление сделало оно на губернских и уездных дворян у нас в Симбирске... Как смотрят они на это живое зеркало, столь верно и нелестно показывающее им самим образ их или образины? <...> Гоголь привез мне добрые вести о Хомяковых и о Москве вообще.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.VII.1842. Вильдбад-Гаштейн.)

Я пробуду в Гаштейне вместе с Языковым еще недели три, и в конце августа хотим ехать вместе в Венецию, где пробудем недели две, если не больше. <...> Около октября 1-го я надеюсь быть в Риме.

(Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову. 27—15.VII.1842. Вильдбад-Гаштейн.)

Я теперь в нерешимости: куда устремлюсь отсюда? Ей-ей, не хотелось бы мне еще более удаляться от России и за горы. <...> Гоголь путешествует omnia sua secum portans [1] — ему и горя мало сидеть в дилижансе, где он как дома; в Риме же ему вольготнее и привычнее, чем в Москве, где для него слишком шумно и многознакомно; разумеется, что он знает Рим как свои пять пальцев и что с ним ходить по тамошним достопамятностям было бы очень весело: но ведь это все возможно человеку ходячему, а не немощному. <...>

Вышла ли «Жизнь Фон-Визина», соч. кн. Вяземского? Он прислал мне несколько листов ее, напечатанных уже; произведение большой важности и подвиг достославный, и труд почтеннейший и вполне добросовестный. Баратын-

---

[1] Все свое неся с собой *(лат.)*.

ский крайне помрачился духом, как видно из его стихотворений «Сумерки»,— видно, что судьба угнетает. <...> Мне пишут из Москвы, что Валуев поехал в Симбирск, взявши с собой живописца для снятия видов в Муроме и проч., вообще по дороге; это дело, чрезвычайной похвалы стоящее, и, конечно, заслужит одобрение почтеннейшего П. В. Киреевского, который умилялся душою, когда смотрел на Муром с волн Оки — пышно разливавшейся!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 11.VIII. 1842. Вильдбад-Гаштейн.)

В Гаштейне у Языкова нашел я «Москвитянин» за прошлый год и перечел с жадностью все твои рецензии и критики — это доставило мне много наслаждений. <...> Грех будет на душе твоей, если ты не напишешь разбора «Мертвых душ». Кроме тебя, вряд ли кто другой может правдиво и как следует оценить их. <...> Языков тебе кланяется.

(Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву. 15.VIII. 1842. Вильдбад-Гаштейн.)

Я буду в Риме около 15 октября. А до того времени вот вам поручение, пока у вас теперь свободное время и вы ничем не заняты. Поищите квартиры для Языкова, которого знакомство доставит вам, верно, удовольствие. Это один из самых лучших и близких мне приятелей. Квартиру из двух или трех комнат,— одна, если можно, чтоб была большая, чтобы были они на солнце, и особенно чтобы был при них садик, то есть терраца, чтобы можно было ему, не делая много ступеней, сойти и сидеть там всякий день. Ему предписан воздух, а ноги у него очень слабы и не в силах делать затруднительной прогулки. А для меня, если не случится квартиры, то я поселюсь опять в старом гнезде на Via Felice.

(Н. В. Гоголь — А. А. Иванову. 30—18.VIII. 1842. Вильдбад-Гаштейн.)

Еду в Рим! <...> Гоголь берется доставить меня в Рим благополучно, а там устроить привольно на зиму, а в апреле отпустить восвояси.

Гоголь везде как дома: везде водворяется по-своему и пишет; в Гаштейне он сидит так же, как и в Москве или в Риме: все утро один с пером в руках — и никому и ни на какой стук не отпирает дверей! После обеда прохлаж-

дается — лежа на диване и подремывая, гуляет и ложится спать в 9 часов. Все это делается у него чрезвычайно аккуратно и вольготно; идет все это как заведенные часы!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 9.IX.1842. Вильдбад-Гаштейн.)

Сентября 17 дня оставили мы Гаштейн — и 22 прибыли благополучно в Венецию, где и сидим добропорядочно: это путешествие наше шло быстро, несмотря на погоду, сильно противодействовавшую поспешению нашему: Борей с дождем и холодом. <...> Мы было остановились в гостинице «Европа», но скоро перешли на частную квартиру. <...> Сидим перед камином, ждем чего-то лучшего и едим виноград. Не знаю, долго ли мы еще пробудем здесь: это вовсе зависит от Гоголя, у которого я на руках, или — лучше сказать — в руках. В Рим, дескать, рано: теперь еще там жары несноснейшие!

Хожу гулять на площадь Св. Марка: место восхитительное! Собор разительно похож на наши. Жаль, что мы здесь во время ущерба луны, это препятствует слышать баркаролы, плывя в таинственной гондоле.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 26.IX.1842. Венеция.)

Возвещаю тебе, а ты возвести всем, кому о том знать следует, что октября 4 дня 1842 года мы прибыли благополучно во град Рим!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.X.1842. Рим.)

В пять иду в «Фалькон» обедать... а в 7-мь часов я у Языкова каждый вечер, где бывает постоянно и Гоголь — это потому, что Языков болен ногами и не выходит из дому.

(А. А. Иванов — Ф. В. Чижову. X.1842. Рим.)

В Венеции пробыли мы неделю, но, так сказать, по пустому, потому что погода не благоприятствовала ни осматривать достопамятности, ни кататься в гондолах,— тогда было время ущерба луны, сияние которой необходимо для этого водоплавательного удовольствия, и дожди лили непрестанно. От Венеции до Рима путешествие наше шло также благополучно и скоро, несмотря на частые ночлеги, остановки и объезды, с коими она была сопряжена вследствие проливных дождей. <...> Я уже извещал тебя о прибытии нашем в Рим. Несколько дней просидели

мы в Hotel de Russie [1], потом перешли в частный дом на житье-бытье шестимесячное. Гоголь нашел мне квартиру там, где сам обыкновенно пребывает, когда бывает в Риме. Две комнаты, хорошо убранные и солнечные, в одной камин; надо мною в третьем этаже сидит Гоголь — тоже в двух комнатах,— в одной из них биллиард. <...> Погода очень теплая и благосклонная гулянью — по местам, озаренным улыбкою Феба, а в тени люди зябнут, особенно не здешние — и я в том числе. <...> Северный человек зябнет на юге больше, чем дома.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.XI. 1842. Рим.)

Вам кланяется знакомый вам Языков Николай Михайлович. Он до сих пор еще не может совершенно избавиться от своих недугов. Не забудьте также и его в своих молитвах: это прекрасная душа!

(Н. В. Гоголь — Н. Н. Шереметевой. XI. 1842. Рим.)

Сюда наезжает теперь множество русских, но при моих занятиях я веду жизнь самую, самую уединенную. В одном со мною доме живут двое русских: Гоголь и наш поэт Языков, с ними провожу часто вечера и еще с двумя русскими художниками.

(Ф. В. Чижов — родным. 23.XI. 1842. Рим.)

Нашел квартиру на Via Felice, № 126, в том доме, где нанимают Гоголь и Языков. Не знаю, хорошо ли это, но квартира хорошая, комната на солнце.

(Ф. В. Чижов. Дневник. 30.XI. 1842. Рим.)

Почта от Симбирска до Рима — чертовская даль! — ходит 40 суток. <...> Гоголь получает отовсюду известия, что его сильно ругают русские помещики: вот ясные доказательства, что портреты их списаны им верно и что подлинники задеты за живое! Таков талант! Многие прежде Гоголя описывали житье-бытье российского дворянства, но никто не рассерживал его так сильно, как он. Жаль еще, что эти портреты списаны не во весь рост. То ли было бы! <...> Продолжение «М[ертвых] Д[уш]» должно быть важнее по части искусственной и творчества, чем эта первая часть.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.XII. 1842. Рим.)

---

[1] Отель «Россия» *(франц.)*.

Узнавши, что мой знаменитый земляк в Риме, я с величайшим нетерпением ожидал случая с ним познакомиться. <...> Гоголь жил тогда на Via Felice... занимая в доме 3-й этаж; в этом же доме... жил во втором этаже (бельэтаже) Н. М. Языков, а в 4-м Фед. Вас. Чижов. Сей последний тотчас повел меня к Языкову, где я встретил и потом часто встречал Гоголя. <...> Гоголь поклонился мне очень сухо, даже не взглянув на меня. <...> Языков с свойственною ему приветливостью обласкал меня и просил почаще бывать. <...> Собирались всегда у Языкова... Гоголь, Чижов, художник Александр Андреевич Иванов. Мы всегда садились около большого круглого стола, и перед нами ставили маленькую бутылку знаменитого итальянского вина aleatico. Беседы больше всего имели предметом нашу Россию. <...> Языков иногда жаловался на деспотические распоряжения Гоголя в их домашнем быту. Языков говорил нам один раз в отсутствии Гоголя, что он не знает, чем в настоящее время занимается Гоголь, что он пишет. И даже не решался о том у него спросить. У Гоголя в квартире был поставлен для Языкова бильярд, на котором они иногда играли. В полдень он возил Языкова по городу в открытой коляске.

(Г. П. Галаган. Воспоминания о Гоголе. 1850-е гг.)

Я не нашел в Риме того мирного и вольготного житья-бытья, какое обещал мне устроить Гоголь; он великий охотник распоряжаться и хозяйничать, а распоряжается и хозяйничает крайне безалаберно и беспутно. Мне тесно и холодно: Сильвестру нет особой конурки, камин без закрышки и тот один в двух комнатах. У меня +9°R; вставать поутру в эту температуру едва ли приятно и здорово кому. <...> Ёжусь, дрожу и зеваю. Гоголь с своим носом ходит по комнате и уверяет, что нам очень тепло! Само собою разумеется, что все дела идут здесь через него, по незнанию моему и Сильвестра языка здешнего, и что поэтому вздору выходит с три короба. Его непрестанно обирают и обманывают. <...> Я сижу как полоненный и жду нетерпеливо. когда пройдут осенние месяцы и декабрь и январь,— тогда будет мне теплее и привычнее к худому порядку домашнего быта! <...> Погода стоит дождливая. <...> Русских новых книг и журналов здесь, кажется, нет; приезжающие и проезжающие,— большею частию наша знать не

литературная и русского языка с собой не возит. <...> Я давно не имею известий... и от брата П. М., о котором пишут мне, что он погрузился в сильную хандру, залег, завалился в спанье, и никого и ничего знать не хочет. <...> Странный переворот! Так ярко развернулся он, возвратившись из чужих краев, и теперь вдруг заклёк!

<...> Русским художникам, находящимся в Риме, какой-то купец московский пожертвовал очень хорошо составленную библиотеку русских книг — недавно прибыла сюда последняя половина оных. Новые журналы — «Москвитянин» и «Отечественные записки» — тоже есть, я читаю теперь последний. <...> Скажи старику, что он обещал Гоголю прислать собрание слов и описание крестьянских ремесел, им, стариком, составленные. Гоголь ждет; ему теперь нужны оба эти предмета.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 9.I. 1843. Рим.)

Нынешняя зима в Риме — пренегодная, такой, дескать, и старожилы здешние не запомнят. Холодно, сыро, мрачно, дожди проливные, ветры бурные. На прошлой неделе от излишества вод и ветров вечный Тибр вздулся, можно сказать — вышел из себя, и затопил часть Рима так, что на некоторых улицах устраивалось водное сообщение. Теперь он успокоился, но дожди продолжаются и еще не дают надежды на приятный карнавал, которому быть послезавтра! До сих пор я никогда не видывал таких ливней, какие здесь: представь себе, что бывают целые дни, когда дождь льет, не переставая ни на минуту, с утра до вечера, и льет как из ведра, как из ушата! Небо как тряпка. Воздух свищет, вода бьет в окна, по улице река течет, в комнате сумерки! <...>

Я сижу в Риме чрезвычайно уединенно, с Гоголем, который сильно занят и сильно работает; видаюсь во время обеда в 4 ч. п. п., после обеда дремлем вместе. Вечером обыкновенно приходит к нам трое русских (в числе их известный живописец Иванов*; это все мое знакомство в Риме). Часа с два болтаем, а в 9 расходится компания. <...> Эта история повторяется у меня каждый день. В хорошую погоду езжу кататься и ходить за город! Осматривать же галереи я еще не начинал, жду укрепления ног. <...>

Гоголь ведет жизнь очень деятельную, пишет много; поутру, т. е. до пяти часов пополудни, никто к нему не впускается ни в будни, ни в праздники,— это время все

посвящено у него авторству, творческому уединению, своему делу,— а после обеда отдыхает у меня. Что же он сочиняет? Не знаю!

* Прочти статью Чижова о русских художниках в Риме, напечатанную в СПб-ведомостях № 224 и проч. 1842 года, и статью Шевырева в «Москвитянине» 1841.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.II.1843. Рим.)

Теперь в Риме карнавал,— время такое шумное, разгульное, кипучее — для итальянцев и прочих, кому охота тешиться и веселиться. Я нанял себе окно на Корсо и смотрю на эту разноцветную толкотню и суматоху! Жаль, что погода ей не благоприятствует: то и дело дожди и холодный ветер,— большая часть праздничных дней проходит задаром, и римский народ сильно бранит за это апостола Петра и его сопрестольника! <...>

Сердечно благодарен Каролине Карловне за стихи ко мне и уполномачиваю Валуева поцеловать у ней ручку во имя мое! Стихи прекрасные! <...> В большом числе русских, находящихся в Риме, красуется г-жа Смирнова, урожденная Розетти,— не та ли это, которую Алексей Степанович восхвалял во время оно под именем девы-розы? Я редко вижу Гоголя с тех пор, как она здесь: он у ней всякий день до позднего вечера, кажется — егозит вокруг нее.

Я по церквам римским хожу и даже собираюсь в наступающем марте осматривать и галереи, разумеется, только те, которые доступны ногам моим. Горько было бы мне уехать из Рима, не видавши хоть сотой доли его славностей и чудес искусства!

(Н. М. Языков — Е. М. Хомяковой. 27.II.1843. Рим.)

Погодина записки о Риме очень любопытны и читаются легко и удовольственно; хоть чересчур откровенно и, так сказать, на лету писаны. В них же сам Погодин изобразился как нельзя лучше. <...> Гречево путешествие просто скучно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.III.1843. Рим.)

Языков теперь только принялся за перо, а потому ничего не посылает, но как только будет что-нибудь готово — сейчас вышлет.

(Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву. 2.III.1843. Рим.)

Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая ниоткуда, это, конечно, ничего. Случился Языков, и я мог у него занять.

(Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову. 18.III.1843. Рим.)

Я остановился на несколько дней в Гаштейне отдохнуть от дороги и погостить у Языкова. После этого отправлюсь в Дюссельдорф.

<...> Языков ничего не написал в Риме, но состоянием его здоровья я доволен, а главное, что лучше всего, в душе его, кажется, готовится перелом и, вероятно, скоро другие звуки издаст его лира. Посылаю из старых его стихов, которые, кажется, нигде не были напечатаны, по крайней мере он уверяет, что никому не давал их.

(Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву. 17.V.1843. Вильдбад-Гаштейн.)

Мая 2 дня выехали мы из Рима. Погода не благоприятствовала путешествию,— ветреная, дождливая, холодная. Мы все-таки поспешали. Два дня отдыхали во Флоренции,— потом на Болонью, Модену, Верону, Баден, Инспрук, Зальцбург,— кое-как, с переночевками, отдыхами — впрочем, столь кратковременными, что они нисколько не подкрепляли меня,— добрались мы, так сказать, благополучно, до Гаштейна мая 14 дня. <...> Гоголь со мною еще: он торопится крайне. <...> Просидит здесь неделю, потом в Дюссельдорф. <...> Мы нашли Гаштейн покрытым или, точнее сказать, закрытым несносною мглою. Горы еще в снегу, дует Борей и дождь идет постоянно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 18.V.1843. Вильдбад-Гаштейн.)

Пишу к тебе из Мюнхена, где засел на несколько дней. <...> От скуки во время дождей перечти еще один раз «Мертвые души». Во второй раз дело будет очевиднее и всякие ошибки яснее. Мне это слишком нужно. В течение двух лет, т. е. прежде совершенного исправления всего, мне нужно увидеть все дыры и прорехи. Особенно мне нужны теперь вот какие замечания: какая глава сильнее, какая глава слабее другой, где, в каком месте возрастает более сила всего, где устает автор, вял или, если на последнее слово, по деликатности или недальнозоркости своей ты не согласен, то где, по край-

ней мере, он уступает самому себе, оказавшемуся в других местах. Одним словом, все то, что относится до всего каркаса машины. И об этом деле мы должны поговорить так, как о вовсе постороннем, не соединенном вовсе ни с какими личными отношениями, так, как бы автор «Мертвых душ» был Ознобишин, заклавший козленка дикого. Это ты должен сделать тем более, что я имею намерение тоже напасть на тебя без всякой пощады и только уже не между двух глаз, а публично, ибо имею в виду сказать кое-что вообще о русских писателях.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 28.V.1843. Мюнхен.)

Я действительно привык к моей карете, и мне в ней хорошо и вольготно, когда я в ней один: могу совершать в ней все отправления, даже писать стихи. Это лучшая моя квартира во время пребывания моего в чужих краях. Я ею доволен во всех смыслах. Починки она о сю пору никакой не требовала. <...> Честь и слава Евдокимову! «Ein gut besonnes werk!»[1] — сказал про нее в Бамберге немецкий каретник, долго и пристально ее осматривавший. <...>

К Копну заезжать я не решаюсь: он ничего ни сделать со мною, ни сказать мне нового о моей болезни уже, кажется, не может. <...>

Слух, будто бы Гоголь читал в Риме великой княгине вторую часть «Мертвых душ»,— несправедлив, тем паче, что эта вторая часть еще не написана. И он не представлялся великой княгине, так же, как и я, вероятно, потому, что у него нет и фрака, так же, как и у меня!

Меня соблазняет кумыс,— было бы дело прелюбезное — ехать в пространные башкирские степи и там пользоваться.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 7.VI.1843. Вильдбад-Гаштейн.)

Пишу тебе из Висбадена. Во Франкфурте встретил я Жуковского, который посвежел, словом — в здоровье самом надлежащем, жене его также лучше. При нем тоже две песни «Одиссеи»... да в пятистопных стихах еще две повести без рифм. Да виды есть еще на большое сочинение. Словом, Жуковский так себя ведет, как дай бог и нам всем, которые его гораздо помоложе. Он же мне

[1] Превосходная работа! *(нем.)*

сказал, что Копп получил от тебя письмо. <...> Отсюда я еду в Эмс, куда Жуковскому назначено с женою пробыть три недели. <...> Обнимаю тебя. Жуковский поручил также тебя обнимать.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 10.VI.1843. Висбаден.)

Теперь у меня одна охота и забота: поспешать домой, на отдых. <...> Гоголь теперь в Эмсе, где Жуковский с женою. Гоголь пишет, что Жуковский совершенно счастлив и пишет много. <...> Гоголь еще неизвестно куда пустится из Эмса. Теперь он собирает все критики, писанные на «Мертвые души», чтобы все их сообразить и по ним переделать «Мертвые души». Он, дескать, затем и выдал первую часть, не написавши остальных, чтобы воспользоваться суждениями литераторов и всё переправить!!! Кумушка! Мне странно это!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.VI.1843. Вильдбад-Гаштейн.)

Я прибыл в Москву! Продолжительное путешествие от Гаштейна до Белокаменной сильно меня разбило. <...> Я уже перешел к М. В. на квартиру, которую занимал Валуев. Она мне нравится, хороша, но была бы для меня еще лучше, если бы мебель в ней была похуже и не так многочисленна.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 31.VII.1843. Москва.)

Я сижу еще у М. В. на квартире Валуева: ищу себе другую. Эта мне тесна. Мне ведь нужно поставить в ней биллиард и токарный станок. <...> Хомяковы будут в Москву к 15 августа. <...> Я познакомился с К. Аксаковым, пылким рыцарем Москвы и Руси! Авдотья Петровна бывает у меня ежедневно; ни Ив. ни П. Киреевских еще нет в Москве.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.VIII.1843. Москва.)

В августе[1] 1843 года вернулся в Москву Николай Михайлович Языков. <...> «Языков здесь,— писал Погодин Максимовичу,— но так хил, что жаль смотреть». <...> Духовными и кровными узами был связан Языков с славянофилами. В то время, когда он водворился в Москве, славянофильский кружок, по свидетельству

[1] По новому стилю.

Д. Ф. Самарина, «распадался на два оттенка: с одной стороны — Хомяков и Киреевские, с другой — Самарин и Аксаков».

(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 7, 1893.)

Крепко жму тебе руку, мой любезнейший Петр-пустынник! Наконец, возвратился я на родину, на место: в Москву белокаменную, из немецкого люда и быта. Могу сказать, что я вышел на берег с океана вод, по которому пять лет носился, подобно утлой ладье! Намереваюсь усесться здесь порядком. <...> Ивану Васильевичу Киреевскому мой поклон: я не люблю Ивана Васильевича Грозного, но люблю Ивана Васильевича Киреевского.

(Н. М. Языков — П. В. Киреевскому. VIII.1843. Москва.)

Вчера получил я письмо от Хомяковых. Они высылали нарочного с письмом ко мне в Вязьму, чтоб перенять меня к себе в деревню, которая только 30 верст оттуда. Между тем я проскакал в Москву. Уф! Какой дальний путь перекочкал я! И, так сказать, один-одинехонек! Сильвестру подобает много чести и славы за такое спешное и благополучное доставление меня на место! Я еще не перешел на другую квартиру, хотя уже, кажется, и нашел: на Петровском бульваре, дом Цветкова. <...> Авдотья Петровна бывает у меня довольно часто и хлопочет об отыскании мне удобной квартиры. Сижу еще дома, не выезжаю: жары несноснейшие, палящие.

Ты знаешь ли, что я в Дрездене виделся с А. И. Тургеневым и с Аржевитиповым,— они поехали в Мариенбад. Ал. Ив. бранил мне всех московских, и всех паче Чаадаева, который, дескать, поссорил его с Свербеевой. <...> Говорят, что Белинский сильно разбранил Хомякова и всех нас,— сей критик теперь здесь. Ждут в Москву Бальзака,— вероятно, прием будет великолепнейший. Еще то ли бы было, если бы он явился в Москву лет шесть тому назад. Теперь публика и наши дамы уже охладели к нему, как и к Павлову.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 11.VIII.1843. Москва.)

Вчера была у меня Каролина Карловна, приезжала видеть меня — и говорила со мною в окно, сидя на бурном коне.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 18.VIII.1843. Москва.)

С нетерпением жажду от тебя известия: 1) как ты доехал, 2) какое почувствовал чувство при встрече с Русью и при въезде в Москву, 3) как и кого нашел в Москве, 4) как и где пристроился и в чем состоит удобство и неудобство пристроения, 5) что и как и где твои братья с женами и детьми и 6) какие намерения впредь.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 1.IX.1843. Дюссельдорф.)

Вчера перебрался я на свою квартиру... комнаты высокие, светлые, просторные, с колоннами и со всеми принадлежностями удобной жизни. <...> Я еще не вовсе уселся: мне хочется устроить большой диван для лежки и еще не поставил ни токарного станка, ни биллиарда. Адрес мой: в приходе Иоанна Предтечи, в доме кн. Гагариной. Не знаю, как пойдет дальше жизнь моя в Москве, а покуда мне вовсе не скучно: напротив — у меня такие съезды гостей, что иногда приходится мне и трудно. Это все, разумеется, на первых порах, все желают видеть — каков я возвратился из-за границы. <...> Алексей Степанович совершенно углубился в корнерытие,— очень хитро подводит всю Европу под свою славянщину,— мог бы заняться полезнейшим делом!

Погодин был у меня вчера, привозил читать старинные проповеди, писанные до татарского нашествия!!! Прелесть, как хороши и изумляют своею простотою.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.XI.1843. Москва.)

На днях была Елагина и привозила мне показывать старинные гравюры фресков Микеланджело. Это необыкновенно хорошо; как чудно легки и свободны все эти положения, которые он разнообразит донельзя и точно играет ими. <...> Эти гравюры привез с собой Языков, и Авдотья Петровна взяла их у него и привозила мне их показывать. <...> Это, говорят, нашел Гоголь и указал Языкову.

(В. С. Аксакова — М. Г. Карташевской. 2.X.1843. Москва.)

Письмо твое меня обрадовало. Ты в Москве. Переезд и скука скитанья кончены — слава богу! Не засиживайся только в комнате, делай побольше движения. Коли нельзя кататься в случае дрянной погоды, двигайся по комнате. <...> Благодарю тебя за желание наделить

меня книгами, но предлагаемые тобою уже у меня есть. Но так как ты хочешь насытить мою жажду (а жажда моя к чтению никогда не была так велика, как теперь), то вот тебе на вид те книги, которые бы я желал: 1) Розыск, Дмитрия Ростовского; 2) Трубы словес и Меч духовный, Лазаря Барановича и 3) Сочинения Стефана Яворского в 3 частях, проповеди. Да хотел бы я иметь Русские летописи, изданные Археографическою комиссиею. <...> Адресуй мне по-прежнему на имя Жуковского.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 5.X.1843. Дюссельдорф.)

Белинский и П[етра] В[асильевич]а задел бранно в «Отечественных записках». Хомякова и меня он решительно в каждой книге поругивает, уж это бы пусть: и Хомяков и я писали стихи, и наши имена печатались, а ведь П. В. Кир[еевский] никогда не выходил на сцену, а собирал песни келейно,— следственно, имя его не подлежит публичному нареканию. <...> Получил я книгу стихов моих, хранившуюся в Языкове,— странно! Мне казалось, что их гораздо больше: теперь же — увы! — вижу малость нестоящую. <...> А я хотел было особо издать все мои стихи, сочиненные после собрания 1833. <...> Хомяковы, кажется, будут в Москву не прежде белых мух: они наняли дом недалеко от меня и почти рядом с Елагиными. Споры приостановились. Члены ждут главного их первоначальника, который теперь зайцев атукает и волков тюлюлюкает.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 14.X.1843. Москва.)

Вчера получил я письмо от Валуева, которое пришлю тебе,— он теперь в Париже, поедет оттуда через Женеву в Италию. <...>

П. В. недавно получил большое собрание песен белорусских, которому радуется и за которое скоро сядет. Живописец, объехавший с Валуевым края наши, снял 14 видов Языкова — он для меня рисует их теперь, и они украсят мою обитель и, может быть, вообще жизнь мою, напоминая мне места, милые сердцу.

На днях прочитал я не пропущенную ценсурою трагедию Лажечникова «Опричник». Жаль, что ее не пропустили. Правда, что она не то, но все-таки сделала бы эффект.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 23.X.1843. Москва.)

П. В. посещает меня хорошо, постоянно; на будущей неделе, во вторник, открываются у меня вечеринки, чтобы неближайших знакомых принимать одиножды в неделю, а не всякий день сидеть начеку, ожидая, что кто-нибудь придет. <...> Я купил себе сочинения Пушкина, 11 томов,— в них очень много мне нового! Издание плохо, небрежно и неказисто, вообще не чисто, как бы следовало.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.X.1843. Москва.)

Скажу тебе еще об одном душевном открытии, которое подтверждается более и более, чем более живешь на свете... Это то, что в душе у поэта сил бездна. Ежели простой человек борется с неслыханными несчастьями и побеждает их, то поэт непременно должен побеждать бóльшие и сильнейшие. <...> На болезнь нужно смотреть как на сражение. Сражаться с нею, мне кажется, следует таким же образом, как святые отшельники говорят о сражении с дьяволом. <...> Уведомляй, между прочим, о том, что ты именно читал или читаешь и какого рода остался после чтения в душе результат. Мы должны помогать друг другу и делиться впечатлениями.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 4.XI.1843. Дюссельдорф.)

Я сижу дома. Зима прелестнейшая и манит меня кататься в санях, но меня, как нарочно, судьба в это время принудила пить какую-то эссенцию, требующую пребывания моего в тепле. <...> Уж стал лечиться — так слушайся лечащего. <...> Вечера у меня еще слабы: бывает мало, иногда и никого в назначенный день, да я и не прочь от этого.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 12.XI.1843. Москва.)

Вечер у Языкова. Свербеев и П. Киреевский. Толковали о бессудности и отсутствии всякой управы; в чем виновато правительство, в чем виноват народ. <...> Замечательно слово гр. П. А. Толстого: живя в Париже, сбираешься сказать то и другое, сделать также; подъедешь к границе — жар простывает; проедешь дальше — чувствуешь совсем уж не то,— а ввалишься в Петербург, вступишь во дворец — так и почувствуешь такое подлое трясение в поджилках, что из рук вон. <...> Говорили о *Малороссийской истории* Максимовича.

(М. П. Погодин. Дневник. 20.XI.1843. Москва.)

Имеешь ли ты «Памятники Московской древности»? Я купил их и очень рад,— дело похвальное, книга дельная и рисунки — как не надобно лучше. Хвала ревнителям полезных предприятий! <...>

Валуев еще в Париже. Тургенев А. И. пишет об нем, что он все торопится домой: «Симбирский волк все к лесу смотрит!» <...>

Своеходов украсил мою залу шестью видами села Языкова: очень хороши, очень хороши. Эти виды часто переносят туда, туда... Мечта зовет, но быть ли там когда? <...> Шапки-мурмолки входят в моду,— впрочем, они и достойны этакой публичности: зимние — прелесть. Хвала К. Аксакову за возобновление почтенной старины нашей, так бесстыдно, безбожно забываемой ветреным потомством.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.XI.1843. Москва.)

Зима у нас опять растаяла. <...> Здесь то дождь, то снег, то тепло, то холодно. <...> Все ждут с нетерпением появления истории русского судопроизводства, соч. Куницына, об ней сказано в газетах, что она уже напечатана и на днях явится в продажу. Это ведь будет важный факт и шаг!

Ростопчина точно перешибла многих и многих нашу братью, русских стихотворцев, а Каролина Карловна Павлова, мне кажется, еще сильнее ее. Стих Ростопчиной подражательный стиху Пушкина, склад речи тот же, а у Каролины свой, и тверже, крепче, стойче. Знаешь ли ты, что в стихах Ростопчиной, где описываются разные картины, монах-доминиканец есть Чаадаев, который очень рад этому и сам читает эти стихи всякому встречному. <...> Самарин явится к вам в Симбирске: он бывает у меня довольно часто.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 22.XI.1843. Москва.)

Вечера у меня бывают тихие и по малочисленности посетителей и по немощи хозяина. <...> Теперь еще нет в Москве главных спорщиков. <...> Алексей Степанович не явится прежде Рождества. Павлов у меня бывает как-то редко. <...> На днях приехал в Москву Свербеев,— он бывает у меня часто: мил, любезен и солиден по-прежнему. Он целую неделю просидел в Богучарове по случаю невозможности переехать через Оку, нашел Хомякова сидящим добропорядочно, в тепле, светло, здо-

рово. <...> Споры его, так сказать, пе прекращаются,— у него управитель такой спорщик по части духовных дел и знаток Писания, что они беспрестанно в действии оба по этой части, даже в то время, когда ездят вместе на охоту. <...>

Ростопчина важный талант, но я больше люблю и славлю Каролину Павлову, вероятно, и по старой памяти, и потому, что у пей стих не бабий. Это дело странное — как она так сильно овладела языком русским. Ростопчина пишет поэму. Говорят (говорит Нащокин), что Ф. Глинка написал превосходную, дивную поэму «Таинственная капля»,— предмет из предания о разбойнике, распятом вместе со Спасителем. Вкус Нащокина не дурен, как известно всем.

Валуев уже в Вене, пролетел мигом всю верхнюю Италию, был в Венеции и едет в Прагу, откуда на Берлин, в Россию. <...> Весь запас стихов моих, кажется, вышел,— Погодин просит новых, а у меня их и нет, да и не предвидится. В «Современнике» напечатано стихотворение Жуковского «Маттео Фальконе», перевод из Шамиссо. Странно, что старик теряет время на этакие безделки, и что за выбор: Шамиссо? Что за поэт Шамиссо?

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.XI.1843. Москва.)

Вторники, так сказать, начались сего ноября 2 дня. <...> Гостей было немного — Крюков, Герцен, Аксаков и Боборыкин,— П. В. Киреевского я считаю своим и отнюдь не гостем. Споров было мало, шуму и крику вовсе не было. Впредь, разумеется, дело пойдет иначе, своим порядком, когда число голосов умножится. <...> Московская публика, т. е. просвещеннейшая часть московской публики, занята теперь слушанием лекций проф. Грановского и разговорами о них. Все от них в восторге, начиная от Чаадаева, Павлова, Сенявиной и Павловой до г. такого-то и г-жи такой-то! Явление отрадное, важное, великолепное! Никогда Москва и, вероятно, Россия, не видывала столь глубокого знания предмета, такого ясного взгляда на оный и такого мастерского изложения и увлекательной речи на кафедре! Слушателей множество; дам с полсотни; Грановский преподает историю средних веков. Вчера ему аплодировали. Как жаль, что я не могу его слушать и ему аплодировать! <...> Ну, брат! какой чудесный вид Кремля сделал П. В. Беляев,

ученик Своеходова,— я заказал и себе такой же, и ты сделаешь то же, когда увидишь, какая это прелесть!

Шапка-мурмолка вошла решительно в моду. Свербеев заказал себе. Каков Аксаков! Вот что значит сила воли. Теперь вся публика ждет Алексея Степановича, как-то он, дескать, сошьет себе святославку и в ней станет ездить на вечера к Сенявиной? Святославкою называется старинное русское полукафтанье, похожее на венгерку. <...>

Здесь теперь тот самый Гакстгаузен, о сочинениях коего писал я к тебе. <...> Он собирает сведения,— объехал почти всю Россию и заметил много такого, чего не видали многие. Он полюбил народ русский.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.XII.1843. Москва.)

Сердечно радуюсь, что вы познакомились с В. Елагиным: это одно из тех утешительных явлений, которыми может гордиться святая Русь,— это благословенный цвет нового ее поколения, свежего, бодрого, чистого, надежного и могучего. <...> Нетерпеливо жду возвращения его в Москву. <...> Теперь Москва занята лекциями профессора Грановского. <...> Явление утешительное и важное. Вот самая лучшая московская новость.

(Н. М. Языков — Ф. В. Чижову. 7.XII.1843. Москва.)

Число посещающих лекции Грановского растет сильно; зала, в которой он их читает, битком набита. Вчера была последняя лекция перед праздниками. <...> Кончив ее, Грановский сказал публике несколько слов в оправдание себя против обвиненья, которое на него возводится. <...> Говорят, что он пристрастен к Западу и к некоторым новейшим системам философии. Публика приняла его оправдание с таким восторгом, что гром рукоплесканий потряс окна аудитории, и несколько раз возобновлялся — сильнее и сильнее! Вот каково!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.XII.1843. Москва.)

На днях вышло в свет Остромирово Евангелие, изданное Востоковым. Подвиг великий, дело честное! П. В. К. в восторге. При нем находится особая грамматика языка этого памятника и словарь.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.XII.1843. Москва.)

Старик доскакал до Москвы благополучно и сидит со мною хорошо и добропорядочно. <...> Я получаю на

1844 год «Библиотеку для чтения», «Москвитянина», «Репертуар», «Московские ведомости» и Франкфуртскую немецкую газету!!! <...> Сегодня сочельник. У меня обедают (за грибным столом) Свербеев, Хомяков и П. В. Киреевский.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 5.I.1844. Москва.)

Нет ли отрадных сведений об участи стихов; сообщите их нам, и да вострепещут радостью наши народностью бьющиеся сердца. Киреевский ожидает со страхом и трепетом. В здешних так называемых литературных обществах теперь в большом ходу разговоры о нашей народности, о возможности восстановить прошедшее, о необходимости настоящего и будущего, более сообразных с прошедшим и существенно русским. Мысли сии живут и все более и более развиваются, принимаются и укореняются в Москве. Сам Чаадаев сказал: «Ваша партия меня ославила западным, а я русский более, нежели кто-нибудь». Вот успех!

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 22.I.1844. Москва.)

Иванов все в заботах. <...> А картина сильно хороша. Вы меня очень порадовали, написав, что она не выходит из вашей головы. Я ее жду как манны небесной; она дает нам опору сказать, что русским художником может быть только русский телом и душою.

(Ф. В. Чижов — Н. М. Языкову. 28.I.1844. Рим.)

Вчера явился ко мне Хрипков. <...> Он мало переменился, так мало, что, кажется, и сертук на нем тот же, что был в 1829 году. Он недавно с Кавказа! Рассказывает много любопытного о тамошних делах. <...> Он привез много картин и даже свои записки о Кавказе. <...> Третьего года, проездом на Кавказ, был Хрипков в Псковской губернии и вздумал поклониться могиле Пушкина. В монастыре не могли ему сказать наверное, где она. Каково? Хрипков тотчас же написал об этом Жуковскому.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 9.II.1844. Москва.)

Молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску... Может быть, именно этот душевный вопль должен быть горнилом твоей поэзии. Вспомни, что

было время, когда стихи твои производили электрическое потрясение на молодежь, хотя эта молодежь и не имела большого поэтического чутья, но заключенный в них лиризм — глубокая истина души, живое отторгновение от самого тела души, потряс их. Последующие твои стихи были обработаннее, обдуманнее, зрелее, но лиризм, эта чистая молитва души, в них угаснул. Не суждено лирическому поэту быть покойным созерцателем жизни, подобно эпическому. Не может лирическая поэзия, подобно драматической, описывать страданья и чувства другого. По этому одному она есть непритворнейшее выражение, истина выше всех истин, и глас божий слышится в ее восторгновении. Почему знать, может быть, томления и страдания именно ниспосылаются тебе для того, чтобы ты восчувствовал эти томленья и страданья во всей их страшной силе, чтобы мог потом представить себе во всей силе положение брата своего, находящегося в подобном положении... Много еще тайн для нас, и глубок смысл несчастий!..

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 15.II.1844. Ницца.)

Мы, т. е. старик и я, сидим порядочно: он выезжает довольно редко (покоясь на коврах), потому что статью против Кавелина отослал уже к Погодину. <...> Кавелин напечатал свою диссертацию и тебе экземпляр привез — диспут будет на третьей неделе поста шумнейший, как говорят. <...> Аксаков переписывает свою диссертацию. Он целую неделю разъезжал по тем семействам, где есть дети, пробуя дельность или не дельность воспитания вопросом, обращенным к развивающимся птенцам: «Кто лучше — мужик или лакей?» Или: «Тот ли, кто пашет, или тот, кто стоит с тарелкой за стулом?» И горе родителям, чей ребенок предпочитает лакея! 11-летняя дочь Великопольского — известного водевилиста — осрамилась; мальки Свербеева прославились!!

Валуев уже начал свою деятельность,— и Сборник и Библиотека для воспитания снова движутся.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 17.II.1844. Москва.)

Вторник 15 февраля был у меня очень многолюдный — одних дам было три штуки. <...> Духота чрезвычайная, разговор живой и некрикливый, потому что не было ни Самарина, ни Аксакова — главных крикливых противников Алексея Степановича. <...> Валуев

все еще не уселся: сильно разъезжает и мечется из угла в угол, приводя в движение письменность московских литераторов и ученых. Он в этом смысле существо очень полезное,— не будь у него этой подвижной, или, лучше сказать, подвигающей деятельности,— иные вовсе бы ничего не писали.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.II.1844. Москва.)

Вчера был у меня вечер пышнейший прежних: вечер, так сказать, с угощением, особенно для дам, потому что оно состояло только из сластей и бутылки вина Lacrima Christi, потому что кавалеров сластями не пропитаешь и сладеньким винцом не упоишь. Дамы были: Анна Петровна Зонтаг (Авдотья Петровна нездорова), Катерина Александровна Свербеева и Хомякова. Кавалеры, или мужчины: Дм. Н. Свербеев, Стадлер, Герке, Самарин, Кавелин, Попов, В. Елагин, П. Киреевский, Хомяков, Валуев и Аксаков. Споров очень шумных не было, хотя и действовали на обычном поле Хомяков, Аксаков и Самарин и даже П. В. Дамы, кажется, были довольны, ведь все дамы охотницы до сладкого: а им предлагали киевские варенья, конфекты от Люке, апельсины, виноград, изюм и миндальные орехи. <...> В половине первого разъехались. <...> Лекции Грановского продолжаются и лучше прежних.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.II.1844. Москва.)

Только что я собрался было писать к тебе и уселся с пером в руках, как вот принесли мне твое письмо. Спасибо, трикраты спасибо тебе за неоставление меня твоими воспоминаниями обо мне и советами: советы твои бодрят меня, дают мне какую-то надежду на будущее, на лучшее. <...> У нас, брат, теперь стихов пишется вообще несравненно меньше, нежели в прошлые, даже еще недавние годы; вообще литературою занимаются очень немногие, и те крайне вяло и недействительно, или не видя на нее требования, или, может быть, чувствуют, что сами они не могут пробудить его по своей слабости! Заметно и то еще, что новое поколение пишет по-русски хуже, нежели прежние или даже предшествующее. <...> Мой поклон Василию Андреевичу. Что «Одиссея»? Благодарю за «Наль и Дамаянти». «Ундина» лучше, ей-ей! Получил ли ты собрание слов от брата П. М.?

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 27.II.1844. Москва.)

Крюков, Редкин, Корш, Грановский приняли на себя издание «Библиотеки для воспитания». Каждый из них взял на себя особое отделение под надзор; русской историей заведует Погодин, русской словесностью Шевырев и Хомяков, и аз присовокупил имя свое к прочим, и даже геолог взялся смотреть за отделением естественных наук.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 13.III.1844. Москва.)

Лучшим проявлением жизни Московской были лекции Грановского. <...> Впрочем, я его хвалю с тем большим беспристрастием, что он принадлежит к мнению, которое во многом, если не во всем, противоположно моему. Мурмолка... не мешает нам, мурмолконосцам, хлопать с величайшим усердием красноречию и простоте речи Грановского. Даже П. В. Киреевский, прославившийся, как он сам говорит, неизданием русских песен и прозвищем великого печальника земли русской, даже и он хлопал не менее других. Ты видишь, что крайности мысли не мешают какому-то добродушному русскому единству.

(А. С. Хомяков — А. В. Веневитинову. III.1844. Москва.)

П. М. уехал в Петербург,— обещался мне возвратиться в Москву в конце марта. <...> Я теперь опять один остаюсь! Но ведь это ненадолго. На Фоминой неделе перейдет ко мне Хрипков. Виды его всех восхищают.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.III.1844. Москва.)

Грудев тебе кланяется, он довольно благополучно съездил в Петербург. <...> О пропуске или непропуске стихов, собранных Киреевским, он ничего не знает. Между тем П. В. сильно опирается на это ожидание разрешения судьбы оных стихов, продолжая бездействовать. <...> Борей свищет сильно.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 1.IV.1844. Москва.)

Пришли мне... оду твою к Давыдову, напечатанную в «Московском наблюдателе», и «Тригорское». То и другое мне теперь очень нужно для некоторой статьи, уже давно засевшей в голове. Хорошо бы было прислать и весь том твоих сочинений.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 2.IV.1844. Дармштадт.)

Потрудитесь уведомить меня или Николая Михайловича о судьбе стихов, собранных П. В. Киреевским, ибо сей великий печальник древней Руси, опираясь на ожидаемое им разрешение, продолжает бездействовать.

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 8.IV.1844. Москва.)

На днях у меня обедали Хомяков и Свербеев; много было рассуждаемо и говорено о воспитании детей вообще, много о русском вообще. <...> Лекции профессора Грановского делают такого шуму в Москве! Преподает он мастерски. <...> Публика слушает жадно. <...> Бывало ли когда доселе, чтобы на балах девицы и дамы с кавалерами разговаривали о средней истории? Лет 15 тому назад они едва ли знали, что она есть на свете. А теперь это вошло в моду, вошел в моду и разговор по-русски. Факт тоже первой важности. Успех лекций Грановского подстрекает и других профессоров выступить на то же поприще,— горячатся уже Шевырев и Погодин. Шевырев откладывает свои лекции публичные истории русской словесности до будущего года, а Погодин торопится, и того и жди, что как раз зачитает русскую историю! А Крюков тоже волнуется желанием славы, намереваясь преподавать публике эстетику. <...> Редкин по своему факультету предлагал студентам вопрос на разрешение: о состоянии крепостных людей в России. Теперь он получил три ответа, которыми не пахвалится, и не знает, который лучше и достойнее медали: это ведь знак добрый! Знак шага вперед и еще по какой части! Я постараюсь достать все эти диссертации, велю списать их и — к тебе!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 15.IV.1844. Москва.)

Что же ты, почтеннейший! — не присылаешь мне статьи брата Петра, особо отпечатанной? Он ждет ее нетерпеливо — в Питере: пришли же. Пришлешь — и пришлю тебе стихов в «Москвитянин»; нет — так нет и стихов.

(Н. М. Языков — М. Е. Погодину. 18.IV.1844. Москва.)

Съезды у меня продолжаются почти так же, как и прежде, по вторпикам.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 21.IV.1844. Москва.)

Вчера перешел ко мне Хрипков и усаживается в тех комнатах, где ты сидел, почтеннейший! Он сбирается и

скоро, кажется, списывать на полотне масляными красками лик мой. <...> Портретная живопись — не его дело! <...>

Из всех диссертаций, поданных студентами юридического факультета, самая лучшая сочинена кн. Черкасским.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 23.IV.1844. Москва.)

Иноземцев не пускает меня в Симбирск, он хочет пользовать меня весною и летом. <...>

Перепечатывать мои старые стихи, уже изданные особою книжкою, нет никакой надобности. В настоящее время читают стихов мало, покупать же — покупают еще меньше. А мне хочется сделать вот что,— я это сделаю непременно! — мне хочется напечатать две книжки моих новых, т. е. совокупно не изданных стихотворений; одну: «Послания Н. Я.», а другую: «Оды и элегии Н. Я.» Займусь собиранием всего, что я написал с 1833 года по июнь 1844. <...> Выйдут две книги не больно тощие.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 29.IV.1844. Москва.)

Вчера был у меня съезд гостей необыкновенно большой. <...> Итак, мои вторники сделались еще цветистее и махровее, так сказать,— теперь весною, нежели были они зимою. <...>

Ермолов был у меня в прошлое воскресенье, наговорил мне много комплиментов и проч. Меня крайне поразила его эстетическая физиономия! И первое его посещение было вследствие этого обстоятельства мне даже тягостно, тем паче, что он просидел у меня два часа сряду. Он пробудил во мне горькие чувства! Можно ли русскому не проклинать того времени, когда такой человек на вопрос: «Что поделываешь, Алексей Петрович?» — отвечает: «Книги переплетаю, ваше императорское величество!» <...>

В последнюю половину апреля я как-то расписался и написал много стихов. Теперь отдыхаю на лаврах.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 3.V.1844. Москва.)

Сегодня я пишу в Киев к Максимовичу: вообрази себе, что у него давно уже готово несколько книжек — в продолжение «Книги Наума»,— и прошу его поручить и вверить мне их издание. Они, конечно, перешибут пресловутое сельское чтение, издаваемое кн. Одоевским и

немцами! Максимович, вероятно, согласится на мое предложение, и я сердечно рад буду пустить в ход его книги. И «Книгу Наума о великом Божьем мире» можно будет тиснуть вторым изданием. <...>

Хрипков пишет с меня портрет. <...> Говорят, что Киреев (муж красавицы Киреевой) написал очень дельный проект об освобождении крепостных крестьян.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.V.1844. Москва.)

Вчера был у меня день очень шумный, так сказать, было у меня многолюдство, и я с самого утра и до позднего вечера находился начеку. Таковы всегда бывают именины людей крещеных! Вечернее угощение было довольно пышно. <...> Съезд сделался сам собою — гости, можно сказать, незваные гости, можно сказать, не вовремя. <...> Павлова написала мне стихи по случаю именин и проч.! <...>

У меня теперь находятся баллады М. А. Дмитриева — пародии на Жуковского,— злая насмешка над нашими литераторами. Я пришлю их тебе с позволения автора,— очень злые, едкие, превосходные в своем роде создания!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 10.V.1844. Москва.)

Вышли еще две тетради «Памятников Московской древности»: издание великолепное; Москва может гордиться и тем, что имеет предметы для такового дела, и тем, что самые дела соответствуют величию предметов! <...>

Мой хозяин — генерал Пулло, известный пособник знаменитого Шамиля, окрасил дом, в коем я жительствую, в самый неприятный цвет, в цвет, известный под именем желтоговенного! Это бросается в глаза всякому. <...> Я хочу купить дом в Москве. <...> Я ведь о сю пору еще не расположился в Москве, как бы мне следовало. <...>

Вчера читал мне Валуев свое сочинение: статью для Сборника — об славянах в Австрии,— статья очень, очень важная во многих отношениях и написана хорошо. Я сердечно рад этому! <...>

Здесь прилагаю автограф Алексея Петровича Ермолова. Храни его. Не прислать ли тебе несколько писем Гоголя, у меня скопившихся, тоже на хранение твое крепкое!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.V.1844. Москва.)

Я продолжаю сидеть в Москве по-прежнему. Иноземцев не пустил меня съездить в Симбирск хотя бы на месяц. Сижу и жду чего-то лучшего, собираюсь переехать на дачу, потому что у нас жар несноснейший и у меня в комнате тем паче, потому что в мои окна с утра до ночи Феб смотрит! <...>

Посылаю тебе «Тригорское» по твоему желанию. Делай со мной что угодно; в твоей статье о современных русских стихотворцах — все, что ты скажешь обо мне, будет мне сладко, и лестно, и праведно.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 2.VI.1844. Москва.)

Диспут Самарина был торжественно блистателен. <...> Чаадаев был. <...> Валуев издает выбор из прошлых и теперешних моих стихотворений — он выйдет на днях.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 17.VI.1844. Москва.)

Валуев пустится в путь не прежде конца июня, дела его не пускают. Да ведь это дела бесконечные! Он завел машину неостанавливающуюся, зажег лампаду труда вековечного! Дай бог, чтоб его беспрестанные хлопоты не повредили его здоровью! Ей-ей, я боюсь этого, ему надобно бы беречь себя порядком и почаще, и хоть изредка, хоть когда-нибудь отдыхать! <...> Сейчас получил письмо от старика. Стихи не пропущены ценсурой. Вот те на! Это решительный удар Петру Васильевичу, это ошеломит его крайне! Удар тем сильнее, что все ждали вовсе не поражения, а пропущения.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 18.VI.1844. Москва.)

Дачу нанял за Петровским парком подле Зыкова, дачу Воейковой. <...> Буду брать соленые ванны. Хрипков со мною.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.VI.1844. Москва.)

22 июня переехал я на дачу. <...> Сад уединенен, как мне надобно, тени довольно будет. <...> В верхнем ярусе сидит Хрипков — и еще есть место для старика, когда я дождусь его. <...> У нас дожди залили.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.VI.1844. Москва.)

Я уже переехал на дачу. <...> Я поселился возле Зыкова,— ты, вероятно, не знаешь это место: оно за Петровским парком, довольно уединенно, а между тем

не вовсе пустынно или отшельнично. С моего балкона вижу гуляющую публику; московские розы и лилии мелькают передо мною и, так сказать, улыбаются мне. На даче пробуду до сентября.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 6.VII.1844. Зыково.)

Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души»? И пишутся и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем не так, как бы хотел. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть и притом так самый предмет и дело связано с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед — идет и сочинение. Я остановился — нейдет и сочинение. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращение к другим занятиям, не похожим на вседневные, и чтенье таких книг, над которыми воспитывается человек. <...>

Василий Андреевич тебе кланяется.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 14.VII.1844. Франкфурт.)

Я бы очень желал, чтобы ты сошелся с Языковым. Это самый лучший цвет нашего отечества. Нет ни одного человека, который бы, зная сколько-нибудь Языкова, не отозвался об нем с похвалою. <...> Он наш русский славный поэт. Надобно было видеть его в моей студии в Риме. Ты ему можешь поверить всего себя.

(А. А. Иванов — С. А. Иванову. VIII.1844. Рим.)

Квартиру мне нашли на одной из тех улиц, кои во время оно дивились двоице Буянова, на бег ее взирая,— именно на Арбате, у Спаса на Песках, дом Безменова. <...> Горестное известие! Из Петербурга пишут, что Баратынский умер в Неаполе. <...> Горестная судьба талантов в России! — все они губятся как-то, не в свое время, до времени и бог знает как! <...>

Прилагаю тебе 5 экземпляров портрета Ермолова: вещь славнейшая! Муж великий!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 12.VIII.1844. Москва.)

Мне хочется иметь два, три или четыре итальянских вида работы русских художников: так не возьметесь ли вы действовать в удовлетворение этого хотения? Денег на

это определено 1000 р. <...> Сердечно радует меня и то, что картина Иванова идет вперед. <...> Я хочу нанять перевести на русский Куглерову историю живописи: у нас по сю пору нет никакой! <...> Не знаете ли вы подробностей смерти Баратынского? Здесь говорят, что он погиб вследствие какой-то истории.

(Н. М. Языков — Ф. В. Чижову. 20.VIII.1844. Москва.)

Я уже писал к тебе, что квартиру мне наняли, на днях перебрался. <...> Наш старик вчера возвратился с довольно дальней поездки геологической: ездил в Мячково, привез кучи допотопных раковин и проч. Поездка продолжалась трое суток — это просто один из подвигов Геркулесовых!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 23.VIII.1844. Москва.)

Писать, писать, писать! Погода у нас хорошая — кажется, осень хочет вознаградить нас за плохое лето.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.IX. 1844. Москва.)

Я вас должен благодарить за то, что вспомнили обо мне при основании новой академии художеств в Москве. Я вашу идею глубоко ценю и уважаю. Но я себе за правило положил ни о чем не думать прежде окончания настоящей моей картины. <...> Так пусть теперь займут места профессоров: живописи — Завьялов, а скульптуры — Пименов! Лучше этих двух я никого не знаю. Здравие глаз моих улучшилось после поездки в Неаполь, и я надеюсь оканчивать мою картину, бог даст, и без перерывов.

(А. А. Иванов — Н. М. Языкову. 10.IX. 1844. Рим.)

Сегодня принесли мне твое письмо. На днях писали мы тебе вместе с Галаховым. К суеверию твоему я был приготовлен венецианским свиданием с М[арией] Л[ьвовной Рославлевой] и ждал лихорадочно, что ты предпримешь. Два или три года ты мне позволил следовать за твоей жизнью, и то, что мне теперь пришлось услышать от тебя, пришлось как-то нежданно после всего, что перед моими глазами делалось. Я не все мог знать — да это и не мое дело. Но участие и доверенность к любимому лицу как-то оскорблены и придавлены. Оттого письмо твое меня глубоко опечалило: лицо, которое любишь и которому веришь за его отличное сердце, благородный ум,

своевольно, легкомысленно или бросает себя, или отставляет себя от всякой ответственности, согласия с самим собой и своими.

(Н. М. Языков — Н. П. Огареву. 13.IX.1844. Москва.)

Хомяковы переехали в Москву, в новокупленный дом, которого огромность вовсе поглощает всех их. И. В. Киреевский приехал в Москву. <...> Говорят, что явится сюда и Бартенев, костромской старик, во время оно осаждавший и осаживавший П. Я. Чаадаева в то время, когда Чаадаев стоял или, лучше, сидел, еще на всей высоте своего величия! <...> Редкин и Грановский будут издавать журнал с марта 1845, который, вероятно, перешибет «Москвитянина».

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 22.IX.1844. Москва.)

На днях переехал я с дачи в Москву и еще не виделся с вашим Сергеем Андреевичем, хотя уже я имею его обещание побывать у меня: говорят, что у него теперь дела с три короба и что Иноземцев помог ему решительно и достохвально. <...> Здешний Рисовальный класс уже получил себе профессора живописи — два месяца тому назад, как приехал в Москву Завьялов. Ждут и Пименова. <...> В Москве нынешним летом был Великанов. С ним я послал вам несколько рисунков с московских древностей — это все, что я успел найти покуда.

(Н. М. Языков — А. А. Иванову. IX. 1844. Москва.)

Я посылаю тебе книжку моих стихов. <...> Это, брат, изданьице маленькое, тут кое-что не знаю как и не знаю зачем собрано. Составлял его мой племянник Валуев. Я между тем собираю воедино все, что написал я в десять лет (1833—1843) и этою же осенью выдам и тебе пришлю.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 14.X.1844. Москва.)

«56 стихотворений Н. М. Языкова».

За девять лет перед сим издано было собрание стихотворений Н. М. Языкова. Нет надобности возобновлять рассказ, с каким тогда восторгом, общим и полным, приняты были первенцы музы юной, живой, ясной и пленительной. Все чувствовали, что в этой поэзии выразился самобытный, твердый талант со всеми художническими принадлежностями: энергиею, красками и вдохновеньем. Поэт был еще только юноша; но светлый и богатый твер-

дыми истинами ум его так же изумительно решил глубокие вопросы жизни, как полное веселости сердце его живо играло при виде легких наслаждений. <...> Языков, слегка только прикоснувшийся к струнам вдохновенной лиры своей, увлек за собою всех, тогда как много *серьезных* стихотворцев, и прежде и после него, прошли никем не замеченные. Обстоятельства жизни отвлекли нашего поэта от сладких ранних его трудов. Изредка только являлись в журналах его новые пьесы. Теперь оне собраны. К ним прибавлено несколько из прежних. Не зная личных побуждений автора, на чем он основал такого рода особенное издание, мы тем не менее радуемся, что прибавилась еще книжка к разряду *немногих*, украшающих библиотеку любителей вдохновенной поэзии.

(Плетнев П. А. // Современник, 1844.)

Я послал на днях Вас. Дмитриевичу *Стихи* П. В. К., прося его, сколько возможно, ускорить пропущение их! Но ведь варианты к ним еще не сделаны, но ведь почтенный собиратель просидит над ними еще несколько лет! <...> Замечательно и то, что тетрадь оных стихов представляется цензору безо всякого его предваренья,— что это за стихи: сочинение, переводы или иное что? Зачем и от кого они собраны и проч. Шевырев справедливо говорит, что предисловие к ним, хотя бы самое краткое, много бы облегчило цензора. Шевырев так и всплеснул руками, когда я сказал ему, что варианты еще и не деланы! <...> Ив. В. Киреевский 1845 года будет редактировать «Москвитянин»! После многих съездов, прений, переговоров, переторжек — Погодин уступил Киреевскому. Это радует всех нас и всех наших! Все придет в движение, проснется многое спавшее, встанет дремавшее, распорхается сонное! И пойдет ходко! <...> Я сам при сей верной оказии буду писать больше, а это у меня главное!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.X. 1844. Москва.)

Меня все позабыли, и, кроме тебя, я ни от кого вот уже более полугода не получаю писем. Назад тому две недели я получил из Берлина четыре книжки святых отцов. Полагаю, что они от тебя. <...> Перевод очень хорош, жаль, что мало. <...> Недавно мне удалось наконец прочесть одно твое послание, именно послание к Вяземскому, напечатанное в «Современнике». Я заметил в нем особенную трезвость в слоге и довольно мужественное

расположение, но все еще повторяется в нем то же самое, т. е. что пора и надобно присесть за дело, а самого дела еще нет. Как бы то ни было, но душа твоя вкусила уже другую жизнь, в ней произошли уже другие явленья. <...> Смотри, чтобы нам самим не подвергнуться тем упрекам, которыми мы любим упрекать текущую литературу.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 26.X. 1844. Франкфурт.)

Посылаю тебе кучку книг, тут найдешь и мою новую брошюрку. <...> Наше приготовление полного собрания всех стихотворений... думаю послать ценсуровать в Питер. <...> Здешние ценсоры слишком умничают и вносят во все свой дух или запах. Лучше не касаться их. <...>

На поверку выходит, что, несмотря на мое болезненное состояние... я написал стихов больше, нежели все мои парнасские товарищи!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.X. 1844. Москва.)

Нет ли у тебя «Современника» за 1836, 1837 и 1844 годы? Если есть, сделай милость и великое мне одолжение — пришли мне его на несколько дней теперь же или скажи, когда за ним прислать к тебе? <...> Нащокин прислал ко мне ящик с вещами покойного Пушкина, прося меня переслать ящик к тебе, но тогда только, когда ты возвратишь ко мне его рукопись: «Записки Безнина»! <...> Я занимаюсь теперь собиранием моих стихотворений, написанных после 1833.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 27.X. 1844. Москва.)

С месяц тому назад послал я к тебе через кн. Вяземского книжку моих стихотворений: тут собрано кое-что из старинных и кое-что из новых и новейших: книжка вышла не в диво и плохая, ни то ни се,— но «да не смущается сердце твое»: я уже собрал и приготовил к поданию в ценсуру все мои стихи, сочиненные с 1834 по 1844,— выйдет книжка толстенькая, и явится в начале будущего 1845 г. и к тебе во Франкфурт-на-Майне. Я совершенно согласен с тобою, что в моих стихах о сю пору повторяется прежняя мысль: *пора приняться за дело,*— а самого дела все нет! Я вижу это и сам! Но это, брат, значит только то, что у меня есть только охота и сильная охота приняться за дело, а возможности приняться за дело еще нет. И теперь самое небольшое умственное напряже-

ние производит или, лучше сказать, усиливает припадки моей болезни, так что мне, ей-богу, нельзя порядочно и задуматься.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 5.XI.1844. Москва.)

На днях у меня был завтрак, или, лучше сказать, пирог: были все представители московского направления и некоторые иные люди; дам не было вовсе. <...> Споры и крик был великий. Тема все та же. <...> Шевырев защищал против нападений Павлова русскую одежду, защищал, разумеется, как оратор или паче как рыцарь, но дельно, сильно и одержал победу. Этот завтрак был у меня по случаю освобождения Сильвестра из цепей крепостного состояния, по каковому случаю он, освободившийся, и пожертвовал мне этот пирог. <...>

Старик сидит хорошо и, кажется мне, что-то сочиняет по части геологии. Ив. Вас. просил у него в журнал отрывков из его записок заграничных.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 18.XI.1844. Москва.)

Все наши словесники готовят вклад для «Москвитянина» на 1845 год. Не худо бы и Валуеву выступить на поприще и вывести себя на свежую воду! <...> Даже Грановский обещал свою статью Ивану Васильевичу. <...> По случаю объявления (так называется в нашей Библии иногурация монументов) памятника Карамзину должно издать альбом, в котором должны участвовать все русские поэты и прозаики: каждый пусть напишет об нем стихи или статью! Так делали немцы в честь Шиллера и Гете. Похвально перенимать похвальное!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.XI.1844. Москва.)

Шевыревские чтения начались блистательно — гром рукоплесканий то и дело осыпал слова, глубоко проникавшие в сердца многочисленных слушателей. Дай бог, чтобы этот восторг не охладел тогда, как будет говориться о старинном языке и рукописях, о языке, которого никто не знает, и о рукописях, которых никто и знать не хочет. Шевырев открыл Америку — целую духовную литературу древней Руси. Само собою разумеется, что разглагольствования об этом предмете не найдут должного сочувствия в модной или новомодной публике и что партия чаадаевская будет придираться к Шевыреву.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.XII.1844. Москва.)

Погодин теперь находится в горе и отчаянии: у него жена умерла, и эта потеря сильно оцепеняет и убивает его. Жаль его!.. весь быт его ученый охранялся ее удивительною деятельностью и добротою: теперь Погодин один под небесами, и на руках у него маленькие дети! На днях был у меня М. С. Щепкин. <...> Благодарю тебя за это знакомство. <...> Я пишу стихи, расписываюсь — пишу стихи и духовные и мирские; прилагаю здесь образчик первого рода. <...> У Ив. Киреевского идет работа, и все наши московские собратья ему содействуют. Петр Васильевич уехал или заехал к себе в деревню и там уселся, и засел, и продолжает не издавать свое драгоценное и единственное собрание русских песен, т. е. пребывает с ними, глядит на них, ласкает их и ровно ничего с ними не делает.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 2.XII.1844. Москва.)

Благодарю тебя, друг, за письмо от 5 ноября, а еще больше благодарю за книжечку от кн. Вяземского. Благодарю еще более бога за то, что желание сердца моего сбывается. Говоря это, я намекаю на одно стихотворение твое, ты, верно, сам догадаешься, что на «Землетрясение». Да послужит оно тебе проспектом вперед! Какое величие, простота и какая прелесть внушенной самим богом мысли! Оно, верно, произвело у нас впечатление на всех, несмотря на разность вкусов и мнений. Скажу тебе также, что Жуковский, подобно мне, был поражен им и признал его решительно лучшим русским стихотворением. Это слишком много, потому что он вообще был строг к тебе и, умея отдавать должное твоим стихам, нападал на главное, что после них (так он выражался), как после прекрасной музыки, все вслед за очаровавшими звуками унеслось, и никакого определенного вида не имеет оставшееся впечатление. Он говорил часто (в чем отчасти и я был с ним согласен), что везде у тебя есть восторг, который никак не идет вперед, но стоит на одном месте именно потому, что не получил определенного стремленья. Он никак и не думал, чтобы у тебя могло когда-либо это возникнуть (он не мастер прорицать), и на мои замечания, что все произойти может от душевных внутренних событий, слегка покачивал головой. И потому ты можешь себе представить, как мне радостно было его восхищение. Он несколько раз уже прочел с возрастающим удовольствием это стихотворение, которое я читаю почти всякий день. <...> Клянусь, ни-

когда не приходило времени так значительного для лирических поэтов, каково ныне, но ты сам это чувствуешь и знаешь лучше меня.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 2.XII.1844. Франкфурт.)

У меня много запасено материалов, и, если я увижу имя истинно русское во главе журнала, я его последний раб, он может употреблять меня как хочет,— служить всеми силами России — это одна и первая и последняя мечта моя. <...> Пусть они введут искусство как постоянный отдел в журнале, тогда мне можно бы помещать всякий месяц одну или две статьи: одну в отношении к искусству... другую — биографии художников. <...> Николай Михайлович, неужели еще не надо, чтобы мы, русские душой и телом, и душу и тело положили за нашу святую Русь?

(Ф. В. Чижов — Н. М. Языкову. 2.XII.1844. Рим.)

Шевырев торжествует! Надобно заметить, что он едва ли не ученее всех профессоров Московского университета. Чтения его так занимательны и сильны, что партия Чаадаева и партия Грановского, что почти одно и то же, кричат и вопят, видя его победу и одоление. Герцен и не ходит на его лекции. Дамы... говорят только, что лекции Шевырева слишком патриотически и слишком национальны. <...> Студенство против Шевырева: он не потворствует молодежи, которая хотела бы ходить на его лекции только для толкотни и публики! <...> Аксаков говорит, что как бы не было драки на лекциях!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 6.XII.1844. Москва.)

С теми моими стихами, которые ты получил с прошлой почтой, вышла и еще продолжается история. Противная сторона находит в них много личностей, а непротивная — неприятствует этим стихам потому, что в них-де явно мечено на Чаадаева. Чаадаев особа священная! Дм. Ник. до такой степени держит ничью, что о сю пору не читал этих стихов и со мною не говорит ни о чем, до них касающемся, конечно, думая, что я предложу ему прочесть их: а он боится и этого!! Дипломат наитончайший! <...> Лекции Шевырева сильно действуют на публику: партия европеистов выходит из себя, а партия так называемая православная придирается к Шевыреву за всякие пустяки, чтобы таким способом показать свое уважение к Чаадаеву и проч.

По случаю восклицаний первой я написал стихи, которые и прилагаю здесь.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 11.XII.1844. Москва.)

Твое письмо от 2-го декабря обрадовало и утешило меня: ты знаешь, чем обрадовало и как утешило! Оно сделало больше: оно укрепило дух мой, и подняло его, и дало мне самому, так сказать, другой взгляд на мои собственные стихотворения,— и этот взгляд почитаю верным и сердечно благодарю за него Василия Андреевича и тебя, мой судия и богомолец! <...> Я уже писал к тебе о переходе «Москвитянина» в руки И. В. Киреевского; это обстоятельство пробудило много спавших деятельностей и окрылило много перьев, вовсе было помертвевших! <...> Памятник, воздвигаемый в Симбирске Карамзину, уже привезен па место. Народ смотрит на статую Клии и толкует, кто это: дочь ли Карамзина или жена его? Несчастный вовсе не понимает, что это богиня истории! Не нахожу слов выразить тебе мою досаду, что в честь такого человека воздвигают эту вековечную бессмыслицу! <...> Я послал к тебе и «Стихотворения» Хомякова и «Гаммы» Полонского. Полонский — малый с талантом; жаль только, что у него направление новомодное, отчаянное, но это, вероятно, пройдет с летами. Собрание моих стихотворений, то есть все, что я до сих пор написал после первого, уже пропущено цензурой и скоро поступит в печать.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 14.XII.1844. Москва.)

Жуковский прислал Ив. Киреевскому две повести в стихах для 1 № «Москвитянина», который составляется благонадежно по части стихов и дельных статей; затрудняются смесью! Это ведь задача важная: смесь всякий читатель читает, и в ней для многих приманка. Для смеси журналисту необходим особый сотрудник — умный, остроумный и знающий, где раки зимуют!

Дом М. А. Дмитриева и дом Н. Ф. Павлова вступили было в такую войну, что самые лучшие посредники и примирители едва могли согласить враждующие стороны к тишине и наклонности к миру. Едва не дошло до дуэли через платок. Тем паче, что в историю вмешался и известный человекоубийца и дуэлист Сушков,— он было вызвал на бой Шевырева, а потом Павлов ходил было вызвать самого Дмитриева. Но все кончилось благополучно,— осталась только некоторая холодность между примиренны-

ми, обычное следствие горячих ссор и вызовов на дуэль, битву или стрельбу.

Лекции Шевырева то и дело осыпаются рукоплесканиями и словами: браво, браво!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 20.XII.1844. Москва.)

Вы пропустили и не прочитали одной прекрасной вещи, именно стихотворения Языкова «Землетрясенье». Прочтите его зато несколько раз. Оно так возвышенно, просто и прекрасно и так кстати в нынешнее время, что его многим нужно читать, особенно тем, которые рождены ободрять других, стало быть, и вам.

(Н. В. Гоголь — А. О. Смирновой. 24.XII.1844. Франкфурт.)

Пишу тебе и сие письмо под влиянием того же ощущения, произведенного стихотворением твоим «Землетрясенье». Друг, собери в себе всю силу поэта, ибо ныне наступает его время. Бей в прошедшем настоящее, и тройною силою облечется твое слово; прошедшее выступит живее, настоящее объяснится яснее, а сам поэт, проникнутый значительностью своего дела, возлетит выше к тому источнику, откуда почерпается дух поэзии. Сатира теперь не подействует и не будет метка, но высокий упрек лирического поэта, уже опирающегося на вечный закон, попираемый от слепоты людьми, будет много значить. При всем видимом разврате и сутолоке нашего времени души видимо умягчены; какая-то тайная боязнь уже проникает сердце человека, самый страх и унынье, которому предаются, возводит в тонкую чувствительность нервы. Освежительное слово ободренья теперь много, много значит. И один только лирический поэт имеет теперь законное право как попрекнуть человека, так с тем вместе воздвигнуть дух в человеке. <...> Пиши не ленясь ко мне, если ж не захочешь писать, то пришли мне в пакете вместо письма которое-нибудь из новых стихотворений.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 26.XII.1844. Франкфурт.)

По случаю моих стихов «К ненашим» К. Аксаков написал стихи «К союзникам», потому что оные стихи «К ненашим», быв прочитаны Вигелем в обществе Дмитриева, возбудили там общий восторг. <...> Аксаков, как ты и сам заметишь, устремляется тут на личности: первое лицо — Вигель, второе — Коптев, третье — М. Ал. Дмитри-

ев. Прилагаю и мое послание к К. С. Аксакову. В нашем кругу теперь волнение чрезвычайное, волны едва не хлещут друг друга. <...> Даже Чаадаев колеблется и выходит из себя,— лекции Шевырева сильно его раздражают и проч. Впрочем, ему и достается за дело. Вообрази себе, до чего он избалован поддакиваньями и подтакиваньями его нелепейшим выходкам на все наше, на днях, на вечере у Павлова громогласно назвал Ермолова шарлатаном! Это его изречение передали М. В. Обрезковой и, кстати, передали накануне Рождества, когда весь город съезжается к ней поздравлять ее с праздником. Звон пошел и разнесся по всей Москве! Вообрази себе... Я пришлю тебе стихи, написанные мною к Чаадаеву. Не правда ли, что этакая его наглость есть оскорбление общенародное, личное всем и каждому?!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.XII.1844. Москва.)

Даже два-три стихотворения, которые Николай Языков тщательно скрывал от меня, раздраженного его нападками на уважаемых мною личностей: Чаадаева, Грановского и тогдашнего Герцена,— что даже и эти, до сих пор не обнародованные нигде комически-бранные стихи имеют неоспоримую красоту и достоинство. Славянофилы раздразнили в нем религиозное и народное чувство и поставили против названных мною трех главных наших западников; но решительно неспособный кого бы то ни было ненавидеть поэт не разразился бы над ними в громах своего поэтического негодования, если бы старший брат его Петр, великий охотник до всяких споров, за недостатком у нас петушиного и кулачного боев, не вздумал стихами брата вызвать на публичную драку славянофилов с западниками и никто, как Мефистофель Петр Языков, не торжествовал так открыто этот почин наших литературных браней. В это время отношения мои к истощаемому уже болезнью Николаю Языкову были очень неловки. Он не только искренне любил меня, но, как старшему по летам, всегда изъявлял мне особенное уважение. <...> Мы ни разу промеж себя не говорили с ним о его задорных стихах.

(Свербеев Д. Н. Воспоминания. 1871.)

Новые стихотворения Н. Языкова.

<...> Вышло новое собрание, состоящее из 62 его пьес. Нельзя не радоваться, что после долгого молчания опять

между нами раздаются эти сладостные звуки и оживляют каждое сердце, чувствующее силу, прелесть и высокий смысл истинной поэзии. Новое собрание разнообразнее прежних: оно приняло в себя живые, глубокие и свежие напечатления, оставшиеся в душе поэта от дальних и долгих его путешествий за границею. До сих пор преобладающий в Н. М. Языкове характер был лирический. Здесь мы встречаем опыты его в драматическом роде. Они ясно свидетельствуют, как верно постигает поэт художнические условия нового для него рода и как счастливо он исполняет их. Будем надеяться, что со временем это поприще ему понравится — и мы получим от нашего игривого, то меланхолического, то страстного, поэта глубокосображенные и величественною простотой ознаменованные драмы.

(Плетнев П. А. // Современник, 1845.)

Русская литература в 1844 году.

<...> Стихотворения гг. Языкова и Хомякова вышли в маленьких книжках. <...> Несмотря на неслыханный успех Пушкина, г. Языков в короткое время успел приобрести себе огромную известность. Все были поражены оригинальною формою и оригинальным содержанием поэзии г. Языкова, звучностью, яркостью, блеском и энергиею его стиха. Что в г. Языкове действительно был талант, об этом нет и спору, но пора уже рассмотреть, до какой степени были справедливы заключения публики того времени об оригинальности поэзии и достоинстве стиха г. Языкова.

Начнем с оригинальности. Пафос поэзии г. Языкова составляет *поэзия юности*! <...> Чудно *пьянствует* поэт: а что ж тут чудного, кроме разве того, что и поэт так же может пьянствовать, как и... приберите сами, читатель, к нашему «и» кого вам угодно. Мы понимаем, что есть поэзия во всем живом, стало быть, есть она и в *питье* вина; но никак не понимаем, чтоб она могла быть в *пьянстве*; поэзия может быть и в еде, но никогда в *обжорстве*. Пьют и едят все люди, но пьянствуют и обжираются только дикари. Подобное антиэстетическое направление наш поэт довел до того, что в одном стихотворении, вспоминая о времени своего студенчества, говорит:

«Ну, да! судьбою благосклонной
Во здравье было мне дано
Той жизни *мило забубённой*
Изведать крепкое вино».

В другом стихотворении, приглашая друзей на свою могилу, поэт восклицает:

«Во славу мне, вы чашу круговую
Наполните блистательным вином,
Торжественно пропойте песнь родную
И пьянствуйте о имени моем».

Спрашивается: каким образом поэт с дарованием, человек образованный и принадлежащий к одному из заметнейших кругов общества,— каким образом мог он дойти до такой антиэстетичности. <...> Нетрудно объяснить это странное явление. До Пушкина наша поэзия была не только реторическою, но и скучно чопорною, приторно сентиментальною. <...> Нужна была сильная реакция этому реторическому направлению. <...> Понятно, что все захотели быть народными, каждый по-своему. Так, Дельвиг начал писать русские песни, г. Языков начал брать слова и предметы из житейского русского мира, запел русским удальцом. Но тут прогресс был только в намерении. <...> Песни Дельвига были песнями *барина*, пропетыми будто бы на мужицкий лад. Удаль г. Языкова была тоже удалью *барина,* который только в стихах носил шапку, заломленную набекрень, а в самом деле одевался, как одеваются все порядочные люди его сословия. <...> Все его ухарские и мило забубенные выходки, его молодое буйство и чудное пьянство явились в печати не как выражение действительности (чем должна быть всякая истинная поэзия), а так, только для *красоты слога*, как говорит Манилов. Кстати, о реторике: перечтите его пьесы «Олег», «Евпатий», «Песня короля Регнера», «Ливония», «Кудесник», «Новгородская песня», «Услад», «Меченосец Аран», «Песнь Баяна»: что такое все это, если не реторика, хотя и не лишенная своего рода изящества? <...> Когда муза г. Языкова *прикидывается* вакханкою,— в ее бестелесном лице блестит яркий румянец наглого упоения, но худо то, что этот румянец, если вглядеться в него, оказывается толстым слоем румян. <...>

Есть у г. Языкова несколько стихотворений очень недурных, несмотря на их недостатки, как, например, «Поэту», «Две картины», «Вечер», «Подражание псалму CXXXVI». Еще раз: мы и не думаем отрицать таланта в г. Языкове, но хотим только определить объем этого таланта. Имя г. Языкова навсегда принадлежит русской литературе и не сотрется с ее страниц даже тогда, когда сти-

хотворения его уже не будут читаться публикою: она останется известным людям, изучающим историю русского языка и русской литературы. <...> Стихотворения г. Языкова имели на общественное мнение такое же полезное влияние, как и проза Марлинского: они дали возможность каждому писать не так, как все пишут, а как он способен писать, следственно, каждому дали возможность быть самим собою в своих сочинениях. Это было задачею всей романтической эпохи нашей литературы, задачею, которую она счастливо решила.

Вот историческое значение поэзии г. Языкова: оно немаловажно. Но в эстетическом отношении общий характер поэзии г. Языкова чисто реторический, основание зыбко, пафос беден, краски ложны, а содержание и форма лишены истины. Главный ее недостаток составляет та *холодность,* которую так справедливо находил Пушкин в своем произведении «Руслан и Людмила». <...> По-видимому, поэзия г. Языкова исполнена бурного, огненного вдохновения; но это не более как разноцветный огонь отразившегося на льдине солнца. <...>

Новые стихотворения его только повторяют недостатки его прежних стихотворений, не повторяя их достоинств, каковы бы они ни были. <...> По-нашему, уж если печатать, так все, что характеризует и определяет деятельность поэта; лучше было бы или совсем не издавать этой маленькой книжечки, в которой литература ровно ничего не выиграла, или издать книжку побольше, которая была бы вторым изданием изданных в 1833 году стихотворений г. Языкова, с прибавлением к ним всего написанного им после, а между прочим, и его прекрасной «Драматической сказки об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке», которая, по нашему мнению, лучше всего, что вышло из-под пера г. Языкова.

(Белинский В. Г. Отечественные записки, 1845, № 1, вышел 4.I.1845.)

В рассуждении моего послания «К ненашим» критики, может быть, и справедливы, но ведь они вовсе не знают, в чем тут дело и что тут вовсе нет пристрастия: мне не нужно было определять то, что знают те, к кому и для кого писано послание. Едва ли можно называть духом партии действие, какое бы то ни было, противу тех, которые хотят доказать, что они имеют не только *право,* но и *обязанность презирать народ русский* и доказать тем, что в нем много

порчи, тогда как эту порчу родило и воспитало и еще рождает и воспитывает именно то, что они называют своими убеждениями!

Лекции Шевырева возбуждают их злость именно не тем, что он часто обнаруживает непристойные стороны католицизма, а тем, что в этих лекциях ясно и неоспоримо видно, что наша литература началась не с Кантемира, а вместе с самой Россией, что эта литература развивалась совершенно сообразно развитию самой России до Петра. Шевырев в этом смысле просто открыл Америку, а его противники говорят, что они все это знали прежде: они не знали, не знают, не могут и не хотят знать всего, что было у нас написано до Петра! И проч. и проч. А в защите правого и, могу сказать, чистого и даже святого дела — я никакой низости не вижу, какова бы форма этой защиты ни была: *есть бо дух божий и дух льстечь!* <...>

Мои новые стихотворения выйдут в свет не прежде февраля. <...> Не более 600 экземпляров. <...> Я не забуду послать экземпляр Фуксу и его супруге. Мне же нужно от Александры Андреевны достать ее роман о Пугачеве в Казани,— у меня у самого есть виды на этот предмет.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 3.I.1845. Москва.)

Еще на запрошлой неделе сказывал тебе Валуев, что я вызываю тебя издать альбом в честь Карамзина, по случаю объявления памятника, воздвигаемого ему в Симбирске. Это объявление будет в апреле текущего года: ты согласился взяться за это патриотическое дело и обещал приехать ко мне поговорить о нем. <...> Так как же ты думаешь? <...> Пора уже! Ты, помнится мне, хотел написать похвальное слово Карамзину и даже соорудить ему памятник не только словесный, но и изустный! <...> Если ты дашь мне ответ отрицательный,— я предложу мою мысль кн. Вяземскому. <...> Жаль, если в Питере осуществится то, что должно осуществиться в Москве, в сердце России.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 15.I.1845. Москва.)

Твои два письма, писанные тобою, как ты сам говоришь, под влиянием моего стихотворения «Землетрясенье», доставили мне много удовольствия, услаждения и пользы. <...> Посылаю тебе еще одно из моих стихотворений, писанных по какому-нибудь поводу: одно таковое же я отправил к тебе на прошлой неделе. <...> Ив. Кире-

евский все еще не успел выдать 1-й № «Москвитянина»; несчастье, поразившее Елагиных, помешало журнальным работам. Как быть? Все мы под богом ходим! Сверх того, и цензура придирается. <...> Весною поедет в Рим брат Александра Андреевича, Сергей Андреевич Иванов — архитектор, юноша талантливый, и надежный, и самостоятельный, и ничуть не немец! <...> Собрание моих стихотворений выйдет к марту: оно уже печатается.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 17.I.1845. Москва.)

Брат Николай Михайлович очень благодарен вам за скорое и неприкосновенное пропущение нового собрания его стихов; честь и слава при этом и Амплию Николаевичу, пощадившему их. Странно, что сей доблестный ценсор и муж литературный так долго не разрешает великий вопрос о стихах, собранных П. В. Киреевским, вопрос, с разрешением которого многое связано и от которого многое зависит при ожидаемой победе народности над прочими кромешными направлениями.

(А. М. Языков — В. Д. Комовскому. 20.I.1845. Симбирск.)

О немецком переводе «Мертвых душ» напишу тебе мое мнение; на днях куплю его и местами сверю с подлинником. <...> Русских книг пришлю тебе на днях, что соберу: хорошего будет немного или вовсе не будет; пришлю кое-что и для Александра Андреевича Иванова.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 27.I.1845. Москва.)

Сам бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи «К ненашим». Душа твоя была орган, а бряцали по нем другие персты. Они еще лучше самого «Землетрясенья» и сильней всего, что у нас было писано доселе на Руси. Больше ничего не скажу покамест и спешу послать к тебе только эти строки.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. II.1845.Париж.)

Спасибо тебе за похвалы, которыми ты награждаешь меня за мое стихотворение «К ненашим». Получил ли ты другое в этом же роде — *послание к К. С. Аксакову?* Оба эти мои детища наделали много разных сплетней и разъединений в обществе, к которому и ты принадлежал бы, если б ты был теперь в Москве... Некие мужи важные и ученые, старые и молодые, до того на меня рассердились, что дело дошло бы, дескать, до дуэли, если бы сочинитель

этих стихов не был болен. Вот каково! Страсти еще волнуются и кипят, а мои грозные сопостаты удовлетворяются тем, что пересылают мои стихи в Питер, в «Отечественные записки», где меня ругают как можно чаще, стихи мои пародируют и печатают эти пародии. Само собою разумеется, что эти на меня устремления и этот беззубый лай нимало не смущают меня и что я продолжаю свое. А. Ив. Тургенев бранит меня за стихотворение «К ненашим», полагая, что оно писано против петербургских журналистов. Совсем нет! В нем идет речь о здешних московских особах, которым не нравятся лекции Шевырева, и потому они и лгут и клевещут на него во всю мочь,— они, которых вся ученость ограничивается берлинскими их тетрадками и все личное достоинство их поддерживается в глазах так называемого большого света только их презрением ко всему отечественному, чего они вовсе не знают и знать не хотят!

Вышел 1-й № «Москвитянина», № отличнейший, полный дела, добра и славный! Ты, ежели будешь во Франкфурте, увидишь его и напиши мне, что об нем подумаешь.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 17.II.1845. Москва.)

1 марта, в ночь на 2-е, поеду из Костромы и надеюсь 3-го быть в вашей белокаменной. Доставьте случай встретиться, и больше, чем встретиться, с Хомяковым, да еще досадно, что не написал раньше: может быть, Аксаков в деревне, а его деревня, мне говорили, подле Троицкой лавры, мимо которой я поеду. <...> Во Владимире я теперь не буду.

(Ф. В. Чижов — Н. М. Языкову. 23.II. 1845.)

Вот тебе еще стихотворение под стать тем, которые я посылал тебе в Париж. А. И. Тургенев выписывает из Москвы объяснение на мое послание «К ненашим», и Хомяков и Д. Н. Свербеев послали ему свои комментарии: первый за меня, а другой, вероятно, против того духа, который подвигнул меня на этот подвиг. За стихи к Шевыреву осердился на меня и Английский клуб, а о московских представителях направления «Отечественных записок» и говорить нечего! <...>

Каков И. В. Киреевский! Есть надежда, что наш журнал пойдет ходко: с 1 № число подписчиков умножилось от 400 до 700. Оно еще возрастет значительно. 2-й № еще лучше, сильнее, важнее и дельнее, нежели первый. Даже сам П. В. Киреевский выступает на сцену мира сего: пи-

шет опровержение на статью Погодина, напечатанную в 1 №. Это восстание московских писателей и всей нашей братии ото сна — дело вовсе русское! У нас все так: или все притаятся, или, если один примется работать, то и другие, на него глядя, встанут и расходятся. Много может сделать русский человек, когда пошло на задор.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 10.III. 1845. Москва.)

Я, кажется, пробуду в Москве и лето текущего 1845 года; Иноземцев не отпускает меня из-под своего медицинского надзора. Буду ждать вас сюда. <...> Вы явитесь к нам не на мирное житие, а на войну.

(Н. М. Языков — Ф. В. Чижову. 29.III. 1845. Москва.)

Письмо от 10 марта получил и с ним стихотворение к Шевыреву. Благодарю за него. Оно очень сильно и станет недалеко от «К ненашим», а, может быть, и сравнится даже с ним. Но не скажу того же о двух посланиях: «К молодому человеку» и «Старому плешаку». О них напрасно сказал ты, что они в том же духе; в них скорей есть повторение тех же слов, а не того же духа... В них есть что-то полемическое, скорлупа дела, а не ядро дела. И мне кажется это несколько мелочным для поэта. Поэту более следует углублять самую истину, чем препираться об истине. Тогда будет всем видней, в чем дело. <...> Друг мой, не увлекайся ничем гневным, а особливо если в нем хоть что-нибудь противуположное той любви, которая вечно должна пребывать в нас. <...> Много из них в существе своем люди добрые, но теперь они доведены до того, что им трудно самим, и они упорствуют. <...> Ты в несколько раз выиграешь более, когда те русские стихии и чисто славянские струи нашей природы, из-за которых идет спор, выставишь в живых и говорящих образах.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 5.IV. 1845. Франкфурт.)

После обеда (30.IV) Погодин вместе с Шевыревым, который оделся в русский костюм, отправился к Аксаковым, а потом к Языкову. Надо заметить, что Шевырев, ободренный успехом своих публичных лекций, вздумал одеться в русский костюм и по поводу этого Погодин отметил в своем дневнике: «Шевырев сделал себе русский костюм и забавляется им». Эта эксцентричная выходка Шевырева произвела в Москве впечатление, и Герцен писал Краевскому: «Представьте себе, что Шевырев, пользуясь кани-

кулами, отрастил себе бороду и ходит в шелковой рубахе, подпоясанной кушаком. И это делает не Аксаков, а человек с сединою, чуть не декан».

(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 8. 1894.)

Грустно мне было читать твое письмо от 1 мая. Что это с тобою делается? Болезнь и хандра, хандра и болезнь, и ни та, ни эта о сю пору тебя не покидает. <...> Приписываю это знаешь ли чему? Долговременному пребыванию твоему между немцами, среди чужого языка! <...> Сердечно рад, что «Москвитянин»-таки дошел до тебя. Благодарю за похвалы моим стихотворениям! Ты напрасно думаешь, что Хрипков — живописец вроде Мокрицкого; мое послание к Хрипкову я почитаю одним из удачнейших дел моих сего рода: стало быть, меня обманули чувства, что я восхитился дрянью. Нет! Я с тобою не согласен во мнении о моем кавказском пейзажисте. Спроси о нем Жуковского — он, конечно, помнит его и не назовет дрянью. <...> С. Т. Аксаков будет на днях писать к тебе, Шевырев тоже; Хомяков и Свербеев тебе кланяются — все мы зовем тебя в Москву; полно тебе кочевать в странах не русских и не православных. Пора тебе домой, и если ты боишься Борея, то ведь русская земля не клином сошлась: от Черного моря до Белого моря много климатов, выбирай любой.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 10.V.1845. Москва.)

Получил я деньги ваши 247 скуд. Нашему видописцу Солнцеву заказал от вас картину в 203 скуды. Благодарим вас все, чувствующие важность и редкость частного заказа своему на Руси. Много данных надеяться на совестливое исполнение Солнцева, которого, однако, работы я не видел. <...> В задаток ему дал 100 скуд. Иордану отдал 40 скуд. Вот его слова с видом радостным, признательным к вашему вниманию: «Если б был здесь налицо Николай Михайлович, я бы ему отдал сейчас назад эти деньги. Уверьте, что они будут сохранены: в случае, если ничего не выйдет у меня, я ему возвращу их, если же выйдет меньше желаемого, я ему вздачу отдам» — и улыбнулся. Себе оставил я четыре скуды. <...> Очень бы любопытно мне было знать о состоянии вашего здоровья, каково оно в сравнении с тем, как было в Риме?

(А. А. Иванов — Н. М. Языкову. 1—12.V.1845. Рим.)

Читаю «Тарантас» — покуда в нем нравится мне многое, не знаю, что будет дальше.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 14.V.1845. Москва.)

Чижов прислал мне для «Москвитянина» большую статью о русских художниках в Риме: статья самая свежая, животрепещущая, какой не может быть ни в одном Питерском журнале. Надобно бы поскорее напечатать,— она уже переписывается.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 15.V.1845. Москва.)

Русскому архитектору необходимо узнать как можно подробнее все наши старинные здания, которые есть не только в Москве, но и во многих губернских и уездных городах, даже во многих селах нашей широкой России; ему необходимо всю ее объездить и осмотреть, чтобы видеть, как ему быть и что делать, чтобы самому не сделаться чуждым русскому духу и не быть немцем в своем отечестве!

У меня много надежды на вашего Сергея Андреевича — дай ему бог только здоровья, но да не забывает он, что он принадлежит отечеству и что он не иначе может сильно и самостоятельно действовать на русского человека, как изучив его старину, как сжившись с его давно минувшей жизнию, любя и уважая его предания, поверья и верования!

(Н. М. Языков — А. А. Иванову. 19.V.1845. Москва.)

Жар несноснейший меня томит крайне. <...> Граф Клейнмихель, которого народ русский прозвал Клейминым, подражает Потемкину: адъютанту своему Новосильцеву дал он 30 т. сер. на теперешнее свое путешествие по дорогам за тем, чтобы оный скакал вперед его и всюду заготовлял ему самые роскошные обеды, завтраки, ужины! Граф любит поесть!

«Москвитянин», кажется, перейдет или, лучше, упадет снова в руки Погодина. Итак, из всего нашего московского напряжения вышел пшик! Впрочем, Хомяков еще не отчаивается уладить дело — купить журнал у Погодина и поручить Панову его редакцию.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 29.V.1845. Москва.)

Благодарю вас за извещение о получении денег, мною к вам посланных, и за распределение их по моему назна-

чению. Сердечно радуюсь, что мой заказ послужит поддержкою художнику, гонимому за правду. <...> Федор Васильевич прислал мне свою прекрасную статью о русских художниках в Риме: но она покуда еще у меня в ящике; «Москвитянин» — журнал, для которого просил я этой статьи, замят на ходу и, кажется, вовсе упадет. Здоровье Киреевского так расстроилось, что он отказался от редакторства — и журнал опять в руках Погодина! Мы не знаем, что и делать в таком горе! Если дело как-нибудь уладится в нашу пользу,— то я не премину исполнить желание Федора Васильевича. Статья его всех нас восхищает.

(Н. М. Языков — А. А. Иванову. 31.V.1845. Москва.)

Киреевский отказался от участия в «Москвитянине»,— итак, Погодин снова будет главным его двигателем и снова начнет его ронять всеми зависящими от него средствами. <...> Киреевский так расстроил свое здоровье, что решительно не может писать, а его заменить некем. <...> Подумаем, нельзя ли основать новый журнал. <...> У меня есть мысль: издать альманах на Новый год.

(Н. М. Языков — Ф. В. Чижову. 31.V.1845. Москва.)

Прекрасную статью вашу о русских художниках в Риме я не даю в «Москвитянин» (с него довольно и предовольно и трех, давно уже у меня находящихся, т. е. о Черногории, об Истрии и о Далмации), а помещаю ее в «Московский альманах», который у нас составляется и в котором будут участвовать решительно одни наши: его затевает Панов. <...> И предлагает издавать 4 карманных книжки в год. <...> Ваши пункты для будущего нашего журнала я послал к Хомякову — мне они кажутся очень согласными с требованиями дела, и мы постараемся исполнить ваши указания.

(Н. М. Языков — Ф. В. Чижову. 2.VI.1845. Москва.)

Стихотворения я твои прочел как в «Москвитянине», так и в отдельном издании. Из них многие мне принесли большое удовольствие. В том числе самое посвящение Авдотье Петровне Елагиной. Элегию о надоедателе весьма заметил и даже сказал о ней Копцу. В Москве будет на днях Смирнова. Ты должен с ней познакомиться непременно.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 5.VI.1845. Гомбург, близ Франкфурта.)

Я квартирую на Башиловке, на даче Писаревой.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 6.VI.1845.)

Обедал у Языкова. Письмо Чижова о падении «Москвитянина».

(М. П. Погодин. Дневник. 10.VI.1845.)

У меня недостало бы ругательных слов описать вам все гнусности и подлости, какие печатаются об нас в «Отечественных записках». Надобно основать в Москве новый журнал хоть с 1846 года. Попытка поднять «Москвитянин» не удалась не по недостатку готовых сотрудников, а главнейше по болезни И. В. К. Он принялся за дело слишком ревностно и надорвал себя крайне.

(Н. М. Языков — Ф. В. Чижову. 11.VI.1845. Москва.)

По случаю вопроса: как быть с Гоголем? я хотел было созвать у себя род веча; но мне не удалось это сделать: Шевырева нет уже в Москве. Погодин едет к Троице. Сегодня вечером переговорю с Хомяковым и завтра же напишу вам его мнение: ехать ли кому к Гоголю и кому именно? По-моему, ехать необходимо: это одно средство отогнать от него хандру, которая его сокрушает и давит и может задавить до смерти! А на другой вопрос: кому ехать? — у меня вовсе нет ответа. Я не знаю, кто из московских друзей Гоголя более люб ему? Погодин, конечно, заходит к вам — посоветуйтесь и с ним. Гоголь должен жить, по крайней мере, сто лет, и мы должны беречь его для России как зеницу ока, по крайней мере, покуда мы живы! <...>

Сердечно благодарю вас за желание ваше видеть меня в вашем Радонежьи: но увы! Я должен сказать подобно Людмиле:

«Не видать мне красных дней,
Не цвести душе моей!..»

<...> Возвращаю вам письмо г-жи Смирновой: пишет она умно и довольно правильно: но ведь эти достоинства все-таки не мешают ей быть сиреною, плавающею в прозрачных водах соблазна: так понимает ее и Хомяков. <...> Клев вам на рыбу!

(Н. М. Языков — С. Т. Аксакову. 10—15.VI.1845. Москва.)

Вот тебе для сведения выписка из письма брата моего А. М. Языкова: «По записке М. П. Погодина Булдаков

напишет к министру просвещения, чтобы его *откомандировали;* а я попрошу Василия Дмитриевича. Хорошо бы похвальное слово Карамзину напечатать к тому времени и привезти в Симбирск. Булдаков будет писать и к Карамзиной и проч. Под памятник скоро начнут делать фундамент. Открытие назначено на 22 августа. <...>» Действуй как тебе бог на душу положит.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 19.VI.1845. Москва.)

Ничего еще не пишу тебе верного насчет моего местопребывания, нахожусь в недуге, увеличивающемся более и более, чувствую, что нужно куда-нибудь двинуться, и недостает сил, а с тем вместе духа и решительности, ибо страшусь, что останусь один, что может случиться особенно в Гаштейне, а это мне опасно. <...> Я прочел «Тарантас» Соллогуба, который гораздо лучше его самого. Произведенье очень удачное, таланта, ума и остроты много. <...> Повести Даля, особенно те, где купеческий, крестьянский и всякий хозяйственный домашний быт внутри нашего государства, по-моему, очень значительны. <...> Жаль, что ты мне не прислал «Гаммы» Полонского, я бы очень хотел прочесть их. <...> Адресуй на имя Жуковского.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 24.VI.1845.)

Если у тебя есть «История Смутного времени», соч. Бутурлина, то ссуди меня ею на текущее лето. Привези мне ее сам. <...> Гоголь, как слышно, в самом деле болен не на шутку: говорят, что так пишет об нем Жуковский к г-же Смирновой. Наконец, я получил окончательное решение судьбы «Русских народных стихов», собранных П. В. Киреевским. Обер-прокурор Синода сказал, что из всего этого собрания ничего печатать нельзя! O tempora! o mores! [1]

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 1845. Москва.)

Громовой удар, поразивший во главу предприятие П. В. Киреевского, всполошил и опечалил не только самого его — доблестного собирателя русских песен, но и всех нас, посильных доброжелателей и споспешников! Что теперь делать со стихами? Издавать их в Праге, в Лейпциге или в Карлсруэ? И тут вопрос: позволительно ли нам

[1] О времена! о нравы! (*лат.*)

позволять себе такие выходки? <...> Не знаем, что делать. <...> Жаль, что ваше предстательство у сильных мира сего не смягчило свирепости взгляда их на дело чисто безвинное. Жаль, что власть решать и вязать имеют — скажу словами кн. Курбского — презлые и прелукавые человекоугодники... ласкатели, пагубники отечества своего!

(Н. М. Языков — В. Д. Комовскому. 29.VI.1845. Москва.)

В семейной обстановке Языкова в последние полтора года произошла некоторая перемена, вследствие помещения у него мальчика, племянника — В[ладимира] П[етровича] Бестужева, которого он очень полюбил. <...> Еще за год до отдачи к нему сестрой ее сына она спрашивала у Н. М. советов, куда его отдать, как воспитывать его, начинать ли учить латинскому языку и проч. Мальчика предназначили к поступлению в училище правоведения и хотели везти в Петербург, но Н. М. решительно воспротивился против помещения его в учебном заведении Петербурга, который он тогда называл не иначе, как Вавилоном. С другой стороны, он не советовал рано приступать к обучению латинскому языку и вообще утомлять преждевременной умственной работой. Когда маленький Бестужев был помещен у него, то Языков оказался весьма снисходительным и любящим дядей, но самым плохим педагогом. Правда, он пригласил для приготовления племянника в гимназию известного учителя Коссовича, который и жил у Языкова, но лично сам Языков не мог нисколько способствовать успехам его занятий, хотя бы простым надзором. С обычным чистосердечием он признавался сестре, просившей быть построже с Володей, что это совершенно не в его характере. «Володя,— говорил он,— может учиться хорошо, если за ним смотреть неослабно. Я за это не брался, и это не мое дело. Я и за собой не усматривал: куда же мне смотреть за другим. У Володи нехорошее заведение — в праздничные дни ничего не делать». <...> Случалось Языкову и тяготиться иногда своим питомцем: это было в летнее время, когда наступал дачный период и приходилось думать об отправлении его в Симбирск или переезде с ним на дачу.

(В. Шенрок. 1897.)

«Где ты, милый? Что с тобою?!»

Я давно уже не получал от тебя ни строчки. <...> Я надеюсь, что Гаштейн поправит твои нервы и освежит

все твое бренное тело, и ты снова приободришься духом и пойдешь твердо и весело по той дороге, на которой все мы и все наши сердечно желаем тебя видеть! У нас теперь о тебе слухов мало, и те слабые. А. И. Тургенев видел тебя мельком. <...> Мельгунов сказывает, что у Василия Андреевича уже готовы 12 песен «Одиссеи». Каково действует наш парнасский старейшина? А мы что делаем? О, если бы во всех в нас была хоть десятая часть его славной доблести!

Вышли, одною книжкою, 5 и 6 №№ «Москвитянина». Напрасно восклицал Погодин, что журнал его воскрес: книжка тощая, слабая, еле дышит и говорит много вздору! Погодинскому редакторству сильно вредит нелюбовь к нему молодого поколения московских книжников и литераторов; не знаю, праведна ли эта нелюбовь, но она ясна, как свет божий: все наши юноши решительно отступились от «Москвитянина» с тех пор, как И. Киреевский его оставил. <...> Панов — юноша тебе знакомый, и дельный, и благонадежный, собирает альманах; не знаю, удастся ли и эта попытка дать сборное место жаждущим движения. <...>

Аксаковы переехали в деревню близ Троицкой лавры и занимаются ужением рыбы; у них цветет благоденствие и сладчайшая деревенская жизнь.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. VII. 1845. Москва.)

Желая быть сколь можно более полезным отечеству в моем кругу искусства, я придумал принести в дар Московскому рисовальному классу мои картоны, рисованные мною перед самым отъездом в Италию. Обделать это дело поручаю вам, ибо совсем более никого не имею в Москве. Все затруднение в том, чтобы их перевезти из Петербурга. Нужно подумать, в какое время года удобнее. Хорошо бы склонить кого-нибудь из частных любителей в Москве — заплатить за провоз и укладку. Картоны находятся на квартире моего батюшки в Петербурге; чем скорее их оттуда вынесут, тем лучше.

(А. А. Иванов — Н. М. Языкову. Лето 1845. Рим.)

Ездил с ним <Егором Григорьевичем Солнцевым> отыскивать прекрасные места; сильно поражен был видом Рима на девятой версте в Альбано и занялся сам этим видом, вместе с ним. Я думал, что Солнцев сделает его для Языкова. Вот его описание: древняя дорога Аппия,

имеющая по обеим сторонам развалины гробов римских вельмож; на втором плане — акведук... за ним — древний Рим в развалинах, потом самый Рим, и в средине — купол Петра, царствующий над всеми развалинами, потом — витербские горы за 60 миль, и все это при закате солнца!.. Если б вы видели место в хорошую погоду и при полном освещении, то не знаю, что другое понравилось бы вам после этого.

(А. А. Иванов — Ф. В. Чижову. Лето 1845. Рим.)

Радуюсь, что мое желание: клев вам на рыбу! — исполняется славно: 300 рыб в две недели, т. е. 20 рыб в день — ужение порядочное, а поимка щуки — подвиг геройский, равняющий вас, по крайней мере, с Орлеанскою девой, одолевающей волка, или с каким-нибудь русским генералом, поймавшим турецкого пашу! Странно, что щука клевала на червяка: это счастие; а что она не сорвалась у вас — это уже ваше искусство, сметливость, ловкость, просто — стратегия рыболовная, которую употребили вы блистательно!

Присылайте письмецо к Гоголю: об его здоровье будет у меня справка самая верная: в Гаштейн едет моя свояченица, жена брата П. М.,— я уже писал к ней, чтобы она его осмотрела и расспросила об его болезни и сама (он с нею давно знаком и не чинится) и чтобы отобрала подробнейшее об нем сведение от тамошнего врача.

(Н. М. Языков — С. Т. Аксакову. 4.VII. 1845. Башиловка.)

У меня есть еще две статьи Чижова для «Москвитянина»: об Истрии и о — не помню заглавия, но, если надобно, найдем в моей московской фатере. <...> Я купаюсь в соленой воде и нахожусь все еще в ожидании будущих благ! <...> Симбирский губернатор писал уже к Уварову об откомандировании тебя на объявление памятника Карамзину.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 8.VII. 1845. Башиловка.)

Вот вам конец статьи, любезный мой Николай Михайлович,— если она вам точно нравится — будет с меня этого. Через неделю я еду в Россию, то есть в Малороссию. Много было бы мне говорить с вами, с Хомяковым и Киреевским, которых, как и вас, по вашим рассказам, считаю себе близкими.

(Ф. В. Чижов — Н. М. Языкову. 21.VIII. 1845. Вена.)

Сердечно сострадаю и несчастию, постигшему вашу губернию: оно нимало не удивило меня,— хотя я своею особою и никогда не принадлежал и не принадлежу к несметному числу пружин, движущих ту огромную, тяжелую и скрыпучую махину, которую мы называем русским правительством, но все-таки и я уже довольно пригляделся к ее действиям. <...> Наполеон называл людей кормом для пушек; об нашем народе сказать этого мало; его истребляет целое собрание орудий смерти: и пушки, и кнут, и указы, и распоряжения, и проч. и проч. <...> На днях посылаю тебе подобающее число экземпляров моих новых стихотворений.

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 23.VIII.1845. Башиловка.)

Исполняя завет И. И. Дмитриева, Погодин уже давно занимался сочинением похвального слова Карамзину. Между тем в конце 1844 года разнеслось известие, что памятник Карамзину скоро будет готов. «Мои знакомые,— пишет Погодин,— все знали, что я давно думаю о похвальном слове Карамзину. Н. М. Языков, родом из Симбирска, принимал в этом живейшее участие, несмотря на свою тяжелую болезнь. Ему хотелось издать ко дню открытия альбом в честь Карамзина, за который должен был приняться я». <...> Погодину хотелось получить официальное приглашение от Симбирского дворянства быть его органом при торжестве открытия памятника Карамзину, но тут «встретились препятствия». Потом Погодин «хотел быть откомандированным» в Симбирск от Академии наук или Московского университета. «Не тут-то было,— пишет он.— Министр народного просвещения нашел невозможным, не понимаю, по какой причине... Правительство как будто хотело открыть памятник молча». <...> Когда обо всем этом узнал в Симбирске А. М. Языков, то писал к своему брату в Москву: «Как же решается Михаил Погодин после скаредного отказа Уварова? Министр сей, видно, мало уважает Карамзина. <...> Помешались на Европе, а в России делают все кое-как». <...>

Погодин выехал из Москвы 17 августа. <...> «Симбирск,— писал Погодин М. А. Дмитриеву,— вы знаете, виден издалека. Сердце у меня забилось, как я увидел город, за полями и лугами, на высокой горе... Мысль, что я еду говорить похвальное слово Карамзину, который с детских лет был первым героем моего воображения, которого в юности любил я, могу сказать, со страстью, у которого на-

чал учиться и добру, и языку, и истории... приводила меня в волнение».

(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 8. 1894.)

Московский художественный класс, несомненно, будет вам очень и очень благодарен за прекрасный подарок, который вы ему делаете. О перевезении ваших картонов в Москву и вообще обо всем этом деле я снесусь с Хомяковым, одним из начальников этого класса. Хомяков теперь в деревне. <...> Меня нимало не удивляет самоотвержение ваше в ваших постоянных заботах о произведениях русских художников; я знаю, что его источник — чувство самое прекрасное и высокое: любовь к отечеству, но, ей-ей, мне бы хотелось, чтобы поскорее вы кончили вашу картину — забываемы есмь, да не забывайте и того, чего от вас требуют как от творческого таланта, а не только как от руководителя других, кто бы они и как бы они ни были. <...> Сделайте милость, напишите мне, получили ли вы книгу «Памятники Московской древности»? Я посылал ее вам в подарок еще в июне 1845.

(Н. М. Языков — А. А. Иванову. 21.XI. 1845. Москва.)

Хлопочу о скорейшем напечатании вашего письма о художниках — но хлопоты мои как-то плохо подвигают дело вперед: я, по свойственному мне постоянному сидению дома, не могу иначе действовать на людей, как или письменно или через других людей, столь же беспечных, как и те, кои берутся за дело. <...> Слух, вами мне сообщаемый, что 2 часть «Мертвых душ» не пропущена цензурою, едва ли верен. На днях была в Москве г-жа Смирнова... приятельница Гоголя: она объявила, что он написал какое-то богословское сочинение в 2-х томах, а о «Мертвых душах» у него, дескать, и помину нет.

Честь и слава вам, что вы в Москву устремляетесь: вы приедете в самое лучшее время: зимою все будут на месте — и явятся перед вами на споры и прения многие совопросники всякого рода, и наши, и не наши, и такие, и сякие, и православные, и коммунистические, и чистые, и нечистые, и высокие духом, и от земли глаголющие!

(Н. М. Языков — Ф. В. Чижову. 21.X. 1845. Москва.)

Все ваше люблю и почитаю,— но всего лучше, всего красивее ваша негодующая муза. Ее вдохновения — истинны и сильны.

(А. П. Елагина — Н. М. Языкову. 12.XII. 1845. Москва.)

Новинское ожило. <...> Масляничные балаганы раскрасились вывесками и флагами; музыка загремела на всем пространстве, на целые дни, народ собрался. <...> Тут и кит, и панорама, и восковые фигуры, и фокусники; близ Сухаревой башни — то же; за Елоховым, или Елоховым мостом, как обыкновенно называют его, близ церкви Богоявления, также вертелись качели и стояла ветхая палатка с вывеской: «Физик и механик, ученик Пинетти». <...> В балаганах, содержимых иностранцами, являлись в нынешнем году русские сцены: в одном Петр Великий на Ладожском озере, борющийся с волнами, в другом Мазепа, влекомый конем, к которому он привязан. Столбы катальные прикрыты огромными размалеванными фигурами, изображающими русских рожечников, а между двух качелей устроено нечто вроде корабельного салинга, и там человек пять настоящих, заправских рожечников в рубашках и белорусских шапках, с русским терпением и равнодушием перенося ветер и холод, наигрывают целый день бесконечные русские песни. Этого не бывало прежде! Уж не показывает ли оно, что в нас возрождается потребность родного, русского? Не захотелось ли и нам почерпнуть святой воды из своего источника?

(Погодин М. П. Москвитянин, 1846, № 5.)

В начале 1846 года славянофилы проявили свою деятельность изданием «Московского сборника». <...> Главными вкладчиками «Московского сборника» были славянофилы младшего поколения: Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков, А. Н. Попов, Ф. В. Чижов, И. С. Аксаков, Н. А. Ригельман. Из старшего же поколения славянофилов только Хомяков и Языков поместили в нем свои произведения. <...> Погодин: «Видел «Сборник», который не приносят мне, а приносят Чаадаеву. Бог с ними». Шевырев Погодину: «А «Московский сборник» прекрасная книга». <...> Из рецензии М. П. Погодина на этот сборник: «Начнем со стихов. <...> В Москве дышит еще поэзия, поэзия времен старых, минувших, любезных. Прочтите «Краледворскую рукопись» Берга. Это перевод удивительный, какого не имеет ни один народ <...>. А Языков, наш Языков, который один почти остался нам от славного Пушкинского хора, с своим металлическим стихом, с крепко заключенною в нем мыслью, с точным выражением, с величавой осанкой, если можно так выразиться, всякого стихотворения. Как хорош его «Самсон». <...> И этого-то поэта,

дорогого для всего отечества, осмеливаются поносить, осмеливаются облеплять грязью «Отечественные записки»!

(Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 8. 1894.)

Последнее произведение Хераскова было «Бахариана», повесть в стихах. Каждая глава ее написана особым размером; но стихи не хороши, не гладки, иногда вялы. <...> Я не понимаю, почему любил ее Ник. Михайлович Языков, этот первоклассный мастер Русского стиха. Незадолго до его кончины я подарил ему бывший у меня экземпляр «Бахарианы», который он не мог найти в книжных лавках. Он был очень рад; в нем много было добродушия.

(М. А. Дмитриев. 1869.)

Показалось мне из твоего последнего письма, как будто ты на меня несколько ожесточен; может быть, отчасти и за мое молчание. В судьбе песен я оправдываться не буду; скажу только, что в этом деле много остается и останется темного. <...> Если даст бог жизни и силы, то я дело свое все-таки ж кончу; а между тем всякому другому издателю песен буду рад, и непритворно, потому что это источник неисчерпаемый и другой черпатель мне никогда не помешает.

(П. В. Киреевский — Н. М. Языкову. 7.I.1846. Орел.)

Возня моя с московскою цензурою окончилась в мою пользу: вчера получил я билет на выпуск спорного стихотворения. <...> Воспоминания Фаддея Булгарина сначала было показались мне занимательными, а теперь вижу, что они напичканы историями, давно и всем известными. Любопытно будет видеть, как Фаддей объяснит свой переход под знамена Наполеона! Тут же преглупая и подленькая насмешка над Карамзиным.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 14.I.1846. Москва.)

Строганов не пускает в «Москвитянин» стихи о А. И. Тургеневе, уже напечатанные в «Иллюстрации». Он вообще возбудил сильное против себя негодование здешних литераторов. <...> Сказку Жуковского о Жар-Птице и Сером Волке — я читал в «Современнике»: хороша, и очень; хороша, хотя и не соблюдено в ней уважение к русским сказкам. В нее ввел Жуковский и Бабу-Ягу, и Кащея, и Гусли-Самогуды, и кое-что прибавил своего... Это,

по-моему, не годится в некотором смысле. <...> Морозы пошли Афанасьевские — полегче крещенских.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 19.I. 1846. Москва.)

Приезжай ко мне завтра обедать,— я познакомлю тебя с Ф. В. Чижовым. У меня будет Раич! Начало в 4 часа пополудни.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 23.I. 1846. Москва.)

Вышел 1-й № «Москвитянина» на 1846. Погодин сердит и на Хомякова и на меня: мы-де потворствуем молодому поколению, которое дышит гордостию и нимало не уважает прежних деятелей и ничего потому не дает в журнал его, единственный в Москве! Странный человек, этот Погодин, он даже свои статьи, которые подельнее, помещает не в «Москвитянине», а в Ж[урнале] М[инистерства] Н[ародного] П[росвещения], где за них хорошо платят! <...> Спасибо за черемшанскую стерлядь. <...> И за татарскую пастилу спасибо.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 2.II. 1846. Москва.)

Твои мальки молодцы! Павлик живее, зато Лев глубокомысленнее; развивай их православно, своенародно и крепко, развивай не для жизни побрякушечной, светской, бальной, чужеземной и чужеязычной. На днях были они у меня на блинах и обеде.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 16.II. 1846. Москва.)

Я послал тебе несколько книг: тут все, что вышло у нас нового, хотя сколько-нибудь любопытного; ждут появления нового романа Загоскина и нового же романа Кулиша — и их пришлю, когда выйдут они в свет. <...> Нынешняя зима у нас крайне тиха, чересчур тиха. Елагины в деревне. <...> И. В. Киреевский поздоровел, бодрится и собирается писать. Петр Васильевич продолжает сидеть над собранием русских песен (которому уже 16-й год!), и он тоже в деревне. Хомяковы в Москве. <...> В Питере, по мнению «Отечественных записок», явился новый гений — какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова! Прочти ее и скажи мне твое о ней мнение. <...> Панов написал биографию покойного Валуева, которую он уже послал тебе. <...> Получил ли ты от княгини Зинаиды Волконской книгу «Памятники Московской древности»?

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 18.II. 1846. Москва.)

Вот тебе 15 экз. моего стихотворения «На п[амятник] К[арамзину]», раздай их кому следует.

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 27.II.1846. Москва.)

Жаль мне, что моя посылочка, может быть, пропадет без вести, особенно жаль потому, что альбом, в котором заключаются стихи Пушкина, есть драгоценность, и он должен быть сохранен как памятник того золотого времени, когда у русских девиц были альбомы. Теперь время другое — прозаическое, пошлое и проч. <...>

На твое известие о голоде в Псковской губернии можно ответить словами кн. Курбского: «О проклятые и смердящие власти!»

(Н. М. Языков — А. Н. Вульфу. 22.IV.1846. Москва.)

У меня до вас просьба: помогите Сергею Николаевичу Глинке в его деле о «Русском вестнике»: первый ратник Московского ополчения служит и русской литературе честно и благородно! Чижову хочется перекупить у него его журнал, который грозятся похерить наши просветители.

(Н. М. Языков — П. А. Вяземскому. 22.IV.1846. Москва.)

Смирнова, больная уже, лечится в Москве. Она видает Хомякова и Аксакова, которые объявили ей, что хотя и уважают меня, но не могут дать в «Современник» стихов своих по заклятой их ненависти ко всему, что только напечатано в С.-Петербурге, а не в Москве. Хороши гуси! Языков умнее их.

(П. А. Плетнев — Я. К. Гроту. 24.IV.1846. СПб.)

Недавно был в Москве Чижов: наш журнал, кажется, состоится и пойдет в ход. Но начало ему не прежде 1848 года. Чижову необходимо заготовить, по крайней мере, на год статей для журнала, своих собственных: на московских писателей и сотрудников он мало надеется — и справедливо! С ними того и жди, что на мель сядешь, а наобещают с три короба.

Вышли лекции Шевырева; я скажу ему, чтобы он послал их тебе: эти лекции — подвиг важный и бессмертный: теперь перестанут думать, что наша словесность началась с Кантемира. Также придет время, когда увидят, что и история наша началась не с Лефорта!

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 30.IV.1846. Москва.)

Благодарю за выписку предисловия к немецкому переводу «Мертвых душ». Немец судит довольно здраво. Это лучший взгляд, какой может иметь на эти вещи иностранец.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 5.V.1846. Рим.)

Я рад, что Гоголь поедет к Жуковскому: и самое путешествие укрепит и освежит его — и пребывание с Жуковским приободрит его душу и даст ему перо в руку.

(Н. М. Языков — А. А. Иванову. 17.V.1846. Москва.)

Я писал тебе, помнится, о том, как обласкал государь в бытность свою в Риме, зимой текущего года, нашего художника Иванова. Теперь оказалось, что эта ласка не принесла ему ни на грош пользы. Ему отказали в вспоможении и ему просто нечего есть. <...> Красноречивое свидетельство в пользу Иванова и как живописца, и как человека. Его не любят Брюллов, Бруни, Григорович и проч.; его не любили прежние художники в Риме за то, что он не пьянствовал с ними, а нынешние за то, что он с ними не пьянствует. Ему-то и собирались помочь наши. Я пожертвовал 100 р. серебром: дело патриотическое!

(Н. М. Языков — А. М. Языкову. 25.V.1846. Москва.)

Наконец книги получены: оба сборника — «Новоселье», «Невский альманах», книга Шевырева и «Путешествие к св. местам». <...> Пишу к тебе из Швальбаха, куда заехал на время к Жуковскому. <...> Твой «Сампсон» прекрасен; от него дышит библейским величием.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 21.VII.1846. Швальбах.)

Спасибо тебе за письмо твое к Языкову об «Одиссее». Оно на днях явилось в «Московских ведомостях». Я прочел его с величайшею радостью. Оно освежило меня. С нетерпением жду «Одиссеи». <...> Тебе бы следовало написать предисловие к «Одиссее», когда она выйдет. <...> Языков живет в Сокольниках. Вода его освежила, и он становится молодцом.

(С. П. Шевырев — Н. В. Гоголь. 29.VII.1846. Москва.)

Я приступаю к изданию своих филологических исследований, своих «Ураинских народных песен» и опять «Киевлянина». <...> Несколько книжек в год; как бы я рад был, если бы вы их оглашали музыкою своих стихов, так

торжественно зазвучавшею опять, особливо в «Сампсоне» вашем и «Памятнике Карамзину»... Во имя Киева прошу вас об этом и помолюсь Илье Муромцу, чтоб вдохновил вас.

(М. А. Максимович — Н. М. Языкову. 13.VIII.1846. Киев.)

Я на днях переберусь в Москву, на Тверскую, в дом Обольянинова, где буду ревностно продолжать мое водолечение.

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 23.VIII.1846. Москва, Сокольники.)

Ты прочти внимательно книгу мою, которая будет содержать выбор из разных писем. Там есть кое-что, направленное к тебе, посильнее прежнего, и если бог будет так милостив, что вооружит силою мое слово и направит его как раз на то место, на которое следует ударить, то услышат от тебя другие послания, а в них твою собственную силу со всем своеобразьем твоего таланта. Так я верю и хочу верить. Но до времени это между нами. Книгу печатает в Петербурге Плетнев, и выйдет она не раньше, как через месяц после получения тобою этого письма. В Москве знает только Шевырев.

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 5.X. 1846. Франкфурт.)

Гоголь сильно рассердился на Панова за его желание иметь гоголеву статью в «Московский сборник». Он прислал престранное предисловие ко второму изданию 1-й части «Мертвых душ», которое на днях выйдет. Будь я на месте Шевырева, заведующего этим изданием, я бы не напечатал такого предисловия.

(Н. М. Языков — А. П. Елагиной. 15.X.1846. Москва.)

Аксаковы переехали на зиму в Москву. Бедный Сергей Тимофеевич опять сильно страдает глазами: говорят, что он лишится зрения; жаль почтенного и доблестного старца. Этаких людей мало и очень мало в наше время пошлости и подлости!

(Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 27.X.1846. Москва.)

Гоголь в Неаполе. <...> Благодарю усердно вас за книгу «Древности русские», я, наконец, ее получил от

княгини Зинаиды Волконской. Чижов писал, что вам легче.

(А. А. Иванов — Н. М. Языкову. 4—16.XII.1846. Рим.)

Не можешь ли ты провозгласить в «Москвитянине» и даже в «Московских ведомостях» о Карамзинской библиотеке, открываемой в Симбирске? Провозгласить и пригласить русских писателей жертвовать в нее свои сочинения? Книги, которые ты жертвуешь, благоволи прислать ко мне: брат отправит их в Симбирск с своим обозом. М. А. Дмитриев подарил бюст Карамзина.

(Н. М. Языков — М. П. Погодину. 12.XII.1846. Москва.)

Жду с нетерпеньем твоих замечаний и толков о моей книге и еще раз прибавляю: пожалуйста, без церемоний! Ты — человек несколько деликатный и все как-то боишься говорить правду, как есть; ты всегда стараешься ее немножко присахарить. <...> Все пиши, не скрывай ни заметок ума, ни ощущений внутренних души. <...> А книгу прочти несколько раз от доски до доски, и после всякого прочтения — ко мне письмо, чтобы я знал твои и первые, и вторые, и третьи впечатления; это будет нужно и для тебя, и для меня!

(Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 16.XII.1846. Неаполь.)

Петр Михайлович Языков с прискорбием извещает о кончине брата своего Николая Михайловича Языкова, последовавшей 26-го декабря в 5 часов пополудни. Вынос и отпевание тела имеет быть 30-го декабря в 10 часу утра, а погребение — в Даниловом монастыре.

(XII.1846. Москва.)

В ПАМЯТЬ Н. М. ЯЗЫКОВУ

СКОНЧАВШЕМУСЯ 26 ДЕКАБРЯ 1846 г.

Умолк поэт живых созвучий,
Певец разгульных юных дней!
Из стаи Пушкина певучей
Вспорхнул последний соловей!

А как любил он, голосистый,
Петь нашей родины поля,

Приволжских рощ шатер тенистый
И славу гордую Кремля!

Последней песнью полнозвучной
Воззвал он тень Карамзина,
И птиц ночных сквозь крик докучный
Пробилась звонкая она!

Досаден был вам, дети ночи,
Его и голос и полет!
Вот он умолк, сомкнувши очи!
Довольны ль вы? — он не поет!

Но вы кропите дружбы слезы,
Поэта вечные цветы,
Неувядаемые розы
Певца любви и красоты!

М. А. Дмитриев. 27.XII.1846. Москва.

Милый друг, я должен начать это письмо грустною для тебя вестью. Помолись и укрепись духом. Не стало нашего доброго, милого Языкова. Он скончался 26-го декабря. <...> Кончина его была самая тихая, без страданий. Он уснул, а не умер. Окружавшие его сначала того не заметили. Сам врач, за час до кончины у него бывший, не находил ничего отчаянного в его положении. Но Языков сам, как слег, то уже знал наперед свою кончину. За три дня до нее он сам пожелал исповедаться и причаститься Св. таин. Память его во все время, несмотря на бред горячки, была так свежа, что он сделал даже все распоряжения, в чем его похоронить, и заказал повару все кушанья того обеда, который должен быть у него на квартире после похорон его. За два дня до смерти он утром сзывал всех в доме и спрашивал: «Верите ли вы в воскресение мертвых?» Видно, мысли нашей веры его глубоко занимали. В бреду горячки он пел и как будто читал стихи. Ты уже знаешь, конечно, что летом он предпринял гидропатическое лечение. Лето у нас было жаркое. Леченье шло тогда хорошо. Но в сентябре он простудился. Врачи настаивали продолжать. Он по обыкновению слушался. Нервы его напрягались, напрягались и не вынесли. Последняя болезнь его была нервная горячка. В первый день как спокойно величав лежал он на том столе, где любил угощать трапезой друзей своих. Болезненное отошло, и одно

величие его физиогномии являлось взору. Какой чудный лоб! Болезнь его узила. Какие уста! Ими как будто объяснялся его чудный стих. Сегодня мы отслушали вечером последнюю панихиду на дому, а завтра его похороним на Даниловском кладбище, подле Валуева, его племянника, и Венелина. Сегодня же пришло и твое письмо к нему, которое показывал мне брат его, Петр.

Друзья покойного Николая Михайловича Языкова, желая почтить добрым делом память этого славного нашего поэта и примерного христианина, которого добродетельная жизнь была источником благодеяний для всех, кто прибегал к его помощи, ничего лучшего сделать не могут, как составить такой капитал, из процентов которого можно бы было содержать бедного студента, оказавшего отличные способности в языке русском. Да благословит их бог на доброе, общеполезное дело!

Комитет:
1. Президент: Д. Н. Свербеев.
2. Правитель дел: А. Д. Хрипков.
3. Члены:
а) со стороны родных: А. С. Хомяков.
б) со стороны друзей:
С. П. Шевырев,
В. А. Панов,
К. С. Аксаков,
Н. Ф. Павлов.

(Протокол. 1846.)

И Языкова нашего не стало! <...> Мы знали, что он не жилец на земле, что жестокая, закоренелая болезнь всякую минуту грозит ему опасностью; но все нам не хотелось верить, чтоб он расстался с нами так скоро! Бледный, согбенный, изнеможенный, с тусклыми взорами, со впалыми щеками, с поникшей головою, он все еще, казалось нам, мог прожить дольше. <...> А помните ли вы Языкова в блистательное его время, в тридцатых годах, в Москве, когда он, бывало, среди дружеской беседы... свежий и румяный, в русых кудрях, украшенный цветами, подняв голубые глаза кверху, начинал произносить свои стихи, полные жизни и силы, пламенные, громозвучные; и вся шумная беседа умолкала около восторженного поэта и, притаив дыхание, слушала его вещую песнь; казалось,

это юный Вакх, в лавровом венце, сияющий и радостный, поет, возвращаясь из Индии. <...>

И все прошло, все миновалось! <...>

Одно только чувство оживляло его в тяжкие последние его годы. Это любовь к Отечеству. Отечество, Святую Русь любил он всем сердцем своим, всею душою своею и всею мыслию своею. Всякий труд, в славу его совершенный, всякое открытие, обещавшее какую-нибудь пользу, всякое известие, которое возбуждало надежду того или другого рода, принимал он к сердцу и радовался как ребенок. Характер русского народа уважал он больше всего; русский ум, во всех его проявлениях, русский толк, превосходство пред другими народами в некоторых отношениях — составляли его единственную гордость. Ничем нельзя было принести ему столько удовольствия, даже во время его болезни, как рассказами о наших крестьянах, солдатах, матросах. Он развеселялся, зажмуривал глаза, хохотал и, наконец, махал руками в знак того, чтоб дали ему отдохнуть.

С таким духом ему, разумеется, были противны некоторые новые толки о русской жизни, о русской истории, появившиеся в петербургских журналах и нашедшие несколько отголосков в Москве. Чуть только болезнь ему отпускала несколько, он хватался за свой грозный лук, натягивал тугую тетиву, налагал каленую стрелу и пускал, но не прицеливаясь. Нет — гнев его был отвлеченный, безличный, и напрасно сердились на него некоторые. <...>

Имя Языкова останется навсегда украшением русской словесности.

(Погодин М. П. Воспоминания о Н. М. Языкове. 31.XII. 1846 // Москвитянин, 1846, № 11—12.)

Ужасную новость сообщил мне сию минуту кн. Вяземский: не стало и поэта Языкова! Боже, все лучшее падает, давая простор невежеству и бездарности. Как это известие поразит и Гоголя и Жуковского! Они, после Пушкина, на нем только и отдыхали мыслию. В 1847 году надобно будет праздновать 50-летний юбилей литературной жизни Жуковского — а Языкова-то и не стало! ужасно!

(П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву. 4.I.1847. СПб.)

Языков не оставил богатых материалов для своей биографии. <...> Он не действовал ни на каком поприще

положительно, не служил, не занимал публичных мест, наконец, не был в жизни каким-нибудь искателем приключений. <...> Нет! внешняя жизнь его была очень проста и обыкновенна; деятельность его была на поприще мысли и слова. <...> Можно узнать многое из жизни поэта по стихам его. Это особенно справедливо по отношению к Языкову.

(С. Николаевский. 1851.)

Главное и особенное достоинство поэзии Языкова судьба сама как будто нарочно выразила в его имени. Поэзия русского языка в стихе была открыта ему до высшей степени совершенства. Это достоинство маловажно в глазах тех недальновидных, которые едва ли понимают, что такое язык, этот таинственный образ всего народа, и вместе с ним готовы отвергнуть и самый народ.

(Шевырев С. П. Некролог Н. М. Языкова // Московский городской листок, 9.I.1847.)

Смертью Языкова русская поэзия понесла чувствительный и незабвенный урон. В нем угасла последняя звезда Пушкинского созвездия, с ним навсегда умолкли последние отголоски пушкинской лиры. Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Языков не только современностью, но и поэтическим соотношением, каким-то семейным общим выражением, образуют у нас нераздельное явление.

(Вяземский П. А. Языков и Гоголь // Санкт-Петербургские ведомости. 1847, № 90—91.)

И Языкова уже нет! Небесная родина наша наполняется ежеминутно более и более близкими нашими сердцу и тем как бы становится нам еще желанней и драгоценней. Брат мой прекрасный, отныне мы должны быть еще ближе друг другу и, живя на земле, глядеть так друг на друга, как бы встретившиеся в дому небесного родителя нашего братья.

(Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому. 25.I.1847. Неаполь.)

Без этой мысли о смерти и вечности я бы не перенес и нынешней моей печальной утраты, о которой, вероятно, вы уже слышали. Я лишился наилучшего моего друга, с которым я жил душа в душу, Н. М. Языкова, к которому я питал истинно родственную любовь.

(Н. В. Гоголь — М. И. Гоголь. 25.I.1847. Неаполь.)

Я получил твое письмо с известием, что Языкова уже не стало. Итак, эта небесная, безоблачная душа уже на небесах! Из всех моих друзей у него больше других было тех *некоторых особенностей,* какие были и в моей природе. <...> Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разум и чистота младенчества, каких у меня не было, светились в одно и то же время в его словах. Как он был добр ко мне и как любил меня! О! <...> Еще попрошу тебя об одном одолжении. Доброго моего Языкова уже нет на земле, а поэтому и некому баловать меня присылкою книг, что с такой охотой и радушьем исполнял он, а потому не позабудь, хотя изредка, если узнаешь, что кто-нибудь отправляется за границу, присылать мне.

(Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву. 11.II. 1847. Неаполь.)

День открытия памятника Николаю Михайловичу Языкову и день его ангела. Четвероугольный, гранитный, серого цвета камень, с обыкновенною, наподобье гроба, крышею или вершиною, увенчанный высоким, превосходно вызолоченным крестом, составляет памятник. На лицевой стороне надпись: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»; на боковых — имена Валуева и Языкова. Сошлись друзья, сошлись родные. <...> Лавровый венец венчает не главу поэта, а могильный крест. <...> В этот день обедали все бывшие в монастыре у Александра Михайловича Языкова. Мне было чрезвычайно приятно, что он брал всех своих сыновей в монастырь.

(Е. И. Попова. Дневник. 9.V. 1847. Москва.)

В 1852 году около его могилы были похоронены, один за другим, дорогие его сердцу люди: Е. М. Хомякова и Н. В. Гоголь.

(В. Я. Смирнов. 1900.)

ПОМИНКИ

I. ЯЗЫКОВ

Ты, душой не ослабевший
Под болезненным ярмом,
Ты, сверкавший, ты, гремевший
Огнедышащим стихом.

Складкой русской, краской местной
Ты поэт наш коренной!
Пушкин был отец твой крестный,
А Державин прадед твой.

Грустный узник на чужбине,
Русский дедовских времен,
Ты рвался к родной святыне
Из удушья чуждых стен.

В степь рвался, где Русью веет,
Где шумит сосновый бор,
Где ласкает, душу греет
Кровных братьев разговор.

Там, где виноградник вьется,
Блещет неба синий свод,
Там, где Рейн зеленый льется,
Отражая в лоне вод

Замки древности глубокой.
Гор и стен зубчатых высь,
Вниз по Волге по широкой
Сны и песнь твои неслись.

Хохот твой добросердечный,
Простодушье детских дней,
Ум свободный, нрав беспечный
Были радостью друзей.

Сохранивший до кончины
К песням свежую любовь,
Удаль русской братовщины
И студенческую кровь,

Соблюдавший предков нравы,
Трезвый постник по нужде,
Ты любил пиры, забавы,
Сам же сидя на воде.

И с радушьем старобытным,
Замогильный хлебосол,

Ты друзей к поминкам сытным
Созвал за посмертный стол.

Исполать тебе, дружище,
Не поддался ты судьбе,
И в душах и на кладбище
Память вечная тебе!

П. А. Вяземский. 1853

ПРИМЕЧАНИЕ

Тексты стихотворений и поэм Н. М. Языкова печатаются по Полному собранию стихотворений в издании «Библиотеки поэта» (Большая серия), М.; Л., 1964, подготовленному К. К. Бухмейером, и по Сочинениям, Л., Художественная литература, 1982, подготовленным А. А. Карповым. В примечаниях к стихотворениям использованы разыскания К. К. Бухмейера, А. А. Карпова, а также М. К. Азадовского (по Полному собранию стихотворений Н. М. Языкова в издании «Academia», 1934). Перечень источников к разделу «Жизнь Николая Языкова по документам, воспоминаниям» приводится перед примечаниями к этому разделу.

Стихотворения

ПЕСНЯ КОРОЛЯ РЕГНЕРА (с. 14). Подражание скандинавской легенде о короле *Регнере* Лодброке (XI в.). *Потомок Одина* — воин, викинг (*Один* — верховное божество в скандинавской мифологии).

ЯЗЫКОВУ А. М., ПРИ ПОСВЯЩЕНИИ ЕМУ ТЕТРАДИ СТИХОВ МОИХ (с. 15). *Языков* Александр Михайлович (1799—1874) — старший брат Н. М. Языкова, широко образованный человек, имевший связи в литературном мире. *Гибель греческих полков* — имеются в виду походы русских князей на Византию (Олега, Игоря, Святослава и Владимира). *И первый родины удар* — Куликовская битва.

РОК (с. 16). Написано по случаю кончины Марии Андреевны Мойер, урожденной Протасовой (1793—1823), племянницы В. А. Жуковского, жившей в Дерпте. *Тáртар* — преисподняя, ад.

ЧУЖБИНА (с. 17). Стихотворение посвящено родным волжским краям — Симбирску, селу Языкову. Им противопоставлен Дерпт.

МОЕ УЕДИНЕНИЕ (с. 19). *И ты, кумир поэта!..* — обращение к

Державину. *И ты, любимый сын Фантазии чудесной...* — к Жуковскому.

ПЕСНЬ БАРДА ВО ВРЕМЯ ВЛАДЫЧЕСТВА ТАТАР В РОССИИ (с. 22). *Баяны* — здесь: певцы.

БАЯН К РУССКОМУ ВОИНУ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ, ПРЕЖДЕ ЗНАМЕНИТОГО СРАЖЕНИЯ ПРИ НЕПРЯДВЕ (с. 24). *Воейкова* Александра Андреевна (1795—1829) — супруга литератора А. Ф. Воейкова, преподававшего российскую словесность в Дерптском университете, сестра М. А. Мойер, племянница В. А. Жуковского, женщина замечательной красоты и глубоко образованная. *Лобанов* Михаил Евстафьевич (1787—1846) — поэт, драматург.

Н. Д. КИСЕЛЕВУ (с. 25). *Киселев* Николай Дмитриевич (1800—1869) — дипломат, учился в Дерптском университете.

К ХАЛАТУ (с. 27). *Герострат* — грек, сжегший храм Артемиды (в 356 г. до н. э.) для прославления своего имени,— нарицательное имя человека, желающего прославиться любой ценой. *Занд* Карл (1795—1820) — немецкий студент, убивший кинжалом писателя Августа Коцебу, агента русского самодержавия. *Лувель* Пьер (1783—1820) — французский рабочий, убивший герцога Беррийского (племянника Людовика XVIII).

ЕВПАТИЙ (с. 29). *Евпатий Коловрат* — герой «Повести о разорении Рязани Батыем» (XIV в.). Н. М. Карамзин считал его историческим лицом (в 8-й главе третьего тома «Истории государства Российского»).

КАТЕНЬКЕ МОЙЕР (с. 30). *Катенька Мойер* — Екатерина Ивановна Елагина (урожд. Мойер) (1820—1886).

ГЕНИЙ (с. 33). *Елисей* — один из библейских пророков.

К П. А. ОСИПОВОЙ (с. 35). *Осипова* Прасковья Александровна (1781—1859) — мать А. Н. Вульфа, владелица Тригорского (соседнего с пушкинским Михайловским имения). *Та знаменитая жена* — А. А. Воейкова.

ТРИГОРСКОЕ (с. 37). *Ганза* — союз немецких городов, созданный для торговли с Новгородом и Псковом. *Стефан Баторий* (1533—1586) — польский король, в 1581—1582 годах осаждавший Псков. *Свободный поэт* — Пушкин. *Камены* — то же, что музы. *Эвтерпа* — муза лирической поэзии и музыки.

К НЯНЕ А. С. ПУШКИНА (с. 49). *Родионовна* — Арина Родионовна Яковлева (1758—1828), няня А. С. Пушкина. *Ареевых наук питомец молодой* — Алексей Николаевич Вульф, изучавший в Дерпте военные науки. *Арей,* или *Арес* (греч. миф.),— бог войны.

К П. А. ОСИПОВОЙ (с. 51). *Мельпомена* — муза трагедии. *Ростовцев* Яков Иванович (1803—1860), автор трагедии «Князь Димитрий Пожарский», декабрист, сделавший донос царю на своих

товарищей за два дня до восстания на Сенатской площади. *Княжнин* Яков Борисович (1742—1791), драматург-классицист.

БАРОНУ ДЕЛЬВИГУ (с. 53). *Дельвиг* Антон Антонович (1798—1831) — поэт, журналист, друг А. С. Пушкина.

К. К. ЯНИШ (с. 59). *Яниш* Каролина Карловна, в замужестве Павлова (1807—1893),— известная поэтесса Каролина Павлова.

АУ! (с. 60). *Голубоокая, младая...*— А. А. Воейкова.

Е. А. ТИМАШЕВОЙ (с. 64). *Тимашева* Екатерина Александровна (1798—1881) — поэтесса.

Д. В. ДАВЫДОВУ (с. 66). *Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — поэт, автор очерков о наполеоновских войнах, участником которых он был, известный «поэт-гусар», друг Пушкина, Жуковского и многих поэтов того времени.

А. А. ФУКС (с. 67). *Фукс* Александра Андреевна (1805—1853) — поэтесса, жившая в Казани (ее муж — ректор Казанского университета).

Д. П. ОЗНОБИШИНУ (с. 67). *Ознобишин* Дмитрий Петрович (1804—1877) — поэт, переводчик. *Мой поэт и полиглот* — Ознобишин знал несколько языков, в том числе арабский.

Н. А. ЯЗЫКОВОЙ (с. 71). *Языкова* Наталия Алексеевна — жена А. М. Языкова.

Е. А. БАРАТЫНСКОМУ (с. 72). *Баратынский* Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт.

ЭЛЕГИЯ («Здесь горы с двух сторон...») (с. 73). *Куранты* — музыкальный механизм, шарманка. *Сын Брута или Гракха* — здесь: итальянец, потомок древних римлян.

К РЕЙНУ (с. 78). *Биармия* — в скандинавских легендах страна, расположенная на северо-востоке Европы.

К. К. ПАВЛОВОЙ (с. 80). *У Красных у ворот, в республике, привольной* — в доме Елагиной Авдотьи Петровны (по первому мужу Киреевской, матери братьев Киреевских), племянницы Жуковского, где многие годы был известный московский литературный салон.

Н. В. ГОГОЛЮ (с. 81). *Гальм* (1806—1871) — австрийский драматург, поэт. *Ленау* (1802—1850) — австрийский поэт.

ЭЛЕГИЯ («В тени громад снеговершинных...») (с. 84). *Постников* Иван Петрович (р. ок. 1814 — ?) — доктор, сопровождавший Языкова за границей.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНЬЕ (с. 84). Имеется в виду бывшее в Константинополе землетрясение в царствование Феодосия Младшего (401—450). *Геллеспонт* — греческое название Дарданелл.

А. Д. ХРИПКОВУ (с. 86). *Хрипков* Александр Дмитриевич (1799 — ?) — художник; в 1815—1820 гг. изучал в Дерпте военные науки.

К НЕНАШИМ (с. 88). *Жалкий ли старик* — предположительно Чаадаев. *Сладкоречивый книжник* — вероятно, Грановский. *Поклонник темных книг и слов* — возможно, Герцен.

Послание вызвало нежелательную для автора реакцию не только демократов, но и близких Языкову друзей-славянофилов. Герцен назвал это стихотворение «доносом в стихах».

Я. П. ПОЛОНСКОМУ (с. 90). *Полонский* Яков Петрович (1819—1898) — поэт.

СТИХИ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА ИСТОРИОГРАФУ Н. М. КАРАМЗИНУ (с. 91). *Тургенев* Александр Иванович (1785—1846) — литератор, историк. Первая строка — видоизмененная цитата из стихотворения Державина «Памятник». *Написал для нас он книгу книг* — имеется в виду двенадцатитомная «История государства Российского» Н. М. Карамзина.

Поэмы

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА (с. 96). *Кузень* — Виктор Кузе́н (1792—1867) — французский философ. *Гиббон Эдуард* (1737—1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776—1787). *Нибур* Бартольд (1776—1831) — немецкий историк, автор «Римской истории» (вышла в 1811—1832). *Кернер* Юстинус (1786—1862) — немецкий писатель, врач. *Армидины сады* — волшебные сады со всякими чудесами (*Армида* — персонаж из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим»).

СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ (с. 113). *Корреджио* (1494—1534) — итальянский художник. *Львом Немейским он покрыт* — шкуру льва, опустошавшего Немейскую долину, носил Геракл. *Проперций* (ок. 49 — ок. 14 до н. э.) — римский поэт. *Парни* (1753—1814) — французский поэт.

ЛИПЫ (с. 131). Эпиграф — из предисловия к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

Жизнь Николая Языкова

по документам, воспоминаниям, письмам, статьям и другим материалам

При подборе документов использованы следующие источники (по годам издания): *Булгарин Ф. В.* Сочинения. Т. 3. СПб., 1836; Москвитянин, 1846, № 11—12; Ярославский литературный сборник, 1850. Ярославль, 1851; Русский архив, 1867, № 3; Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии. Сим-

бирск, 1868; Воспоминания бывших питомцев Горного института. СПб., 1873; *Боткин М.* Александр Андреевич Иванов, его жизнь и переписка, 1806—1858. СПб., 1880; Исторический вестник, 1883, декабрь; *Плетнев П. А.* Сочинения и переписка. Т. 2. СПб., 1885; *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2—8. СПб., 1889—1894; *Арнольд Ю.* Воспоминания. Т. 1. М., 1892; *Давыдов Д. В.* Сочинения. Т. 3. СПб., 1893; Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 г.; *Грот Я. К., Плетнев П. А.* Переписка. Т. 1, 2. СПб., 1896; Исторический вестник, 1896, № 12; Русская старина, 1896, № 12; Вестник Европы, 1897, № 11 и 12; Сборник учено-литературного общества при Юрьевском университете. Кн. 2. Юрьев, 1899; Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899; *Смирнов В. Я.* Жизнь и поэзия Н. М. Языкова. Пермь, 1900; *Хомяков А. С.* Сочинения. Т. 8. М., 1900; *Языков Д.* Н. М. Языков. Биографический очерк. М., 1903; Уткинский сборник, 1. М., 1904; *Свербеев Д. Н.* Записки. Т. 1—2. М., 1905; Сборник учено-литературного общества при Юрьевском университете. Кн. 11. Юрьев, 1907; Дневник Елизаветы Ивановны Поповой. СПб., 1911; Старина и новизна. Т. 14. СПб., 1911; *Киреевский И.* Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1911; Языковский архив. Т. 1. СПб., 1913; *Соловьев Н. В.* История одной жизни: *А. А. Воейкова — «Светлана».* Пгр. Т. 1—1915. Т. 2—1916; Русский библиофил, 1916. № 4; Русский библиофил, 1916, № 7; Литературные портфели, I, II. 1923; Историко-литературный сборник, посв. В. И. Срезневскому. Л., 1924; Искусство, 1928, № 1—2; *Вульф А. Н.* Дневники. М., 1929; *Н. М. Языков.* Полное собрание стихотворений. Academia, 1934; Литературное наследство. Т. 16—18. 1934; Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову. М.; Л., 1935; Литературное наследство. Т. 19—21. 1935; *Баратынский Е. А.* Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951; Литературное наследство. Т. 58. 1952; *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений. Т. 11—14. М.; Л., 1952; *Языков Н. М.* Стихотворения, сказки, поэмы, драматические сцены, письма. М.; Л., 1959; *Аксаков С. Т.* История моего знакомства с Гоголем. М., 1960; Ученые записки Тартуского университета: Труды по русской и советской филологии. Т. 6. Вып. 139. Тарту, 1963; Литературное наследство. Т. 79. 1968; *Соймонов А. Д.* П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971; Собрание народных песен П. В. Киреевского (записи Языковых). Т. 1. Л., 1977; Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1976. Л., 1978; *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 7. 1978. Т. 10. 1979; Памятники культуры. 1980. Л., 1981; *Языков Н. М.* Сочинения. Л., 1982; Пушкин: Исследования и материалы. Т. 11. Л., 1983. Архивы: отдела рукописей Всесоюзной государственной библиотеки им. В. И. Ленина (Москва); Центрального государственного архива литературы и искусства (Москва);

отдела рукописей Института русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома; Ленинград).

С. 146. *Воейков* Александр Федорович (1779—1839) — журналист, переводчик и поэт.

С. 146. *Блер Хью* (1718—1800) — философ-эстетик, автор исследования «Поэмы Оссиана». *Борг* Карл Фридрих (1794—1848) — переводчик русской поэзии на немецкий язык, воспитанник Дерптского университета. *Лагарп* Жан Франсуа (1739—1803) — французский драматург и критик, автор «Лицея, или Курса древней и новой литературы» в 16 томах (1799—1803). *Корнель* Пьер (1606—1684) — великий французский драматург. *«Новые образцовые стихотворения»* — это «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (СПб.) — вышло 6 книг в 1821—1822 гг. *«Шильонский» и «Кавказский» пленники* — это две поэмы: «Шильонский узник» Байрона в переводе В. А. Жуковского и «Кавказский пленник» А. С. Пушкина, вышедшие в 1822 г. в Петербурге.

С. 147. *«Радогуна, принцесса парфянская»* (1664) — трагедия Корнеля. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802—1853) — актер-трагик. *«Сын любви»* — драма в 5 действиях Августа Коцебу, впервые изданная в русском переводе в 1795 г. *Катенин* Павел Александрович (1792—1853) — поэт, драматург. Он, а также Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт и переводчик «Илиады» Гомера, учили актеров петербургского театра декламации и поведению на сцене.

С. 147. *Не забудь прислать Озерова* — то есть трагедии Озерова Владислава Александровича (1769—1816). *«Руслана»* — «Руслана и Людмилу» А. С. Пушкина, изданную в 1820 г. *Дельвиг* — см. примеч. на 147. *Скотт Вальтер (1771—1832)* — английский романист. *Небольшая пьеса* — «Песня короля Регнера», сюжет которой Языков взял из «Введения в историю Датскую» Г. Маллета (СПб., 1785). *«Песнь Гаральда Смелого»* К. Н. Батюшкова (1787—1855) написана в 1816 г.

С. 148. *Семенова* Екатерина Семеновна (1786—1849) — русская актриса. *За что запретили Катенина?* — 18 сентября 1822 года, когда по окончании одного из спектаклей в ответ на вызовы зрителей была выслана на авансцену бездарная актриса, протеже генерал-губернатора, Катенин упорно вызывал Каратыгина, за что и был по распоряжению Александра I выслан из Петербурга в свое костромское имение. *«Цид»,* точнее «Сид» — трагедия П. Корнеля, которую перевел Катенин.

С. 148. *Кайданов И. К.* — лицейский профессор, автор «Руководства к познанию всеобщей политической истории» (2-е изд., 1823 г.).

С. 149. *Кёрнер* Теодор (1791—1813) — немецкий поэт. *«Древние русские стихотворения»* — сборник песен и былин, составленный в XVIII в., как предполагается, Киршой Даниловым (Кириллом Даниловичем),— был издан в 1804 г. К. Ф. *Калайдовичем* (1792—1832) и в 1818 г.— Н. А. *Цертелевым* (1790—1869). *Альманах* — «Полярная звезда» на 1823 г. (изданный К. Рылеевым и А. Бестужевым), он поступил в продажу в декабре 1822 г. В нем помещено стихотворение А. С. Пушкина «Мечта воина», которое Языков и называет *«К войне». «Сида» я тоже получил* — трагедию Корнеля в переводе Катенина. *Василий Кириллович* — поэт Тредиаковский (1703—1768), слог которого быстро устарел и в начале XIX в. выглядел до смешного корявым. *Востоков* Александр Христофорович (1781—1864) — поэт и филолог.

С. 150. *Греч* Николай Иванович (1787—1867) — журналист, писатель, филолог.

С. 151. В 1823 г. вышел учебник всеобщей географии В. Г. *Арсеньева* (1789—1865), профессора Петербургского университета.

С. 151. *Певец Пиров* — Евгений Абрамович Баратынский (1800—1844), поэт, у него есть поэма «Пиры». *Ламартин* Альфонс (1790—1869) — французский поэт. *«Дон Карлос»* — трагедия Фридриха Шиллера (1759—1805).

С. 153. *Илличевский* Алексей Дамианович (1798—1837) — лицейский товарищ А. С. Пушкина, поэт. *Сестра Воейковой* — Мария Андреевна Мойер.

С. 155. *Галич* Александр Иванович (1783—1848) — эстетик, философ. *Сестра декабриста* — Елизавета Петровна Ивашева (1805—1848), в замужестве Языкова. *Томас Мур* (1779—1852) — английский поэт, автор сборников стихотворений «Ирландские мелодии» и «Мелодии разных народов».

С. 155. *Паррот* (1767—1852) — профессор физики в Дерптском университете. *Эверс* (1781—1831) — историк, профессор русской истории в Дерптском университете, ректор.

С. 156. *Грей* Томас (1716—1771) — английский поэт. *«Братья-разбойники»* — поэма А. С. Пушкина.

С. 157. *Параша* — Прасковья Михайловна Языкова (1807—1862), сестра Языкова, в замужестве Бестужева.

С. 158. *Езоп* (Эзоп) — древнегреческий баснописец. *Мартынов* Иван Иванович (1771—1833) — переводчик. *Измайлов* Александр Ефимович (1779—1831) — поэт-баснописец, издатель журнала «Благонамеренный» (1818—1826). *«Мнемозина»* издавалась В. К. Кюхельбекером с В. Ф. Одоевским в 1824—1825 гг. *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журналист, писатель. *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт, критик, он предпо-

слал свое предисловие к сборнику стихотворений И. И. Дмитриева, изданному в 1823 г.

С. 159. *«Новости литературы»* — журнал, издававшийся А. Ф. Воейковым в 1822—1826 гг. в Петербурге.

С. 160. *Кальдерон* де ла Барка (1600—1681) — один из величайших испанских драматургов. *Хвостов* Дмитрий Иванович (1757—1835) — поэт-неудачник, объект многочисленных пародий. *Туманский* Василий Иванович (1800—1860) — поэт. *Плетнев* Петр Александрович (1792—1865) — поэт, критик, издатель. *Ливий* Тит (59 до н. э.— 17 н. э.) — автор «Римской истории от основания города».

С. 162. *Слёнин* — книготорговец. *«Бахчисарайский фонтан»* Пушкина вышел в Москве в 1824 г. с *предисловием* П. А. Вяземского («Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» — это предисловие явилось манифестом русских романтиков). *«Путешествие в Тавриду»* — точнее, «Путешествие по Тавриде в 1820 году» И. М. Муравьева-Апостола (СПб., 1823).

С. 163. *«Эмилия Галотти»* — драма Готхольда Эфраима Лессинга (1729—1781). *Энгель* Иоганн (1741—1802) — немецкий писатель и философ.

С. 163. *Наш Бейрон* — здесь А. С. Пушкин. Александра Андреевна — жена Воейкова. *«Шильдгарольд»* (точнее, «Чайльд-Гарольд») и *«Дон Жуан»* — поэмы Байрона.

С. 166. *«Московский телеграф»* — журнал, издававшийся Николаем Алексеевичем Полевым (1796—1846) в Москве в 1825—1834 гг. *«Северный архив»* — журнал истории, статистики и путешествий, издавался Ф. В. Булгариным в Петербурге в 1822—1828 гг.

С. 167. *«Чернец»* — поэма И. И. Козлова.

С. 169. *Министр* — Александр Семенович Шишков (1754—1841), писатель, филолог, бывший одно время министром просвещения.

С. 169. *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — писатель, историк, журналист. *Шлецеров «Нестор»* — пятитомный труд Августа Людвига Шлёцера (1735—1809) — «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А.-Л. Шлецером». Сергей Александрович *Ширинский-Шихматов* (1783—1837) — поэт. *«Петр Великий.* Лирическое песнопение» — вышло в 1810 г. В. К. Кюхельбекер напечатал в журнале «Сын Отечества» (1825, № 15—16) статью: «Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий».

С. 170. *Тибулл* Альбий (ок. 50—19 до н. э.) — римский поэт.

С. 171. *Дюк* — домашнее прозвище А. М. Языкова («герцог»).

Висковатов Степан Иванович (1786—1831) — драматург, переводчик. *Грамматин* Николай Федорович (1786—1827) — поэт, переводчик и комментатор «Слова о полку Игореве».

С. 172. «*Соревнователь* просвещения и благотворения» — журнал (или труды) Вольного общества любителей российской словесности, выходил в СПб. в 1818—1825 гг. *«Аргивяне»* — трагедия В. К. Кюхельбекера (написана в 1822—1823 гг.).

С. 173. *Татаринов* Александр Николаевич (1810—1862) — дерптский студент, земляк Языкова.

С. 174. *«Эда*, финляндская повесть, и *Пиры,* описательная поэма Евгения Баратынского» — две поэмы, изданные в 1826 г. *Аладьин* Егор Васильевич — издатель «Невского альманаха» (1825—1833, затем в 1840-е гг.).

С. 174. *Дашков* Дмитрий Васильевич (1788—1839) — литератор. *Отрывок из «Илиады»* — в переводе Н. И. Гнедича.

С. 178. *Фосс* Иоганн Генрих (1751—1826) — немецкий филолог, поэт, переводчик (прославился переводом поэм Гомера).

С. 179. *Арнольд* Юрий Карлович (1811—1898) — композитор, музыковед, мемуарист; учился в Дерптском университете.

С. 180. *Рады ли вы журналу?* — речь идет о «Московском вестнике», который выходил под редакцией М. П. Погодина в Москве с 1827 по 1830 г.

С. 181. *«Аристофан»* — комедия «Аристофан, или Представление комедии Всадники» Александра Александровича Шаховского (1777—1846). *«Путешествие в стихах...»* — «Станция (Глава из путешествия в стихах; писана 1825 года)» П. А. Вяземского. *«Северная лира»* — альманах, издававшийся Семеном Егоровичем Раичем (1792—1855), поэтом, переводчиком, декабристом. *Дмитриев* Михаил Александрович (1796—1866) — поэт, мемуарист.

С. 182. *«Андромаха»* — оригинальная трагедия П. А. Катенина (создавалась в 1809—1818 гг., напечатана в 1827-м). *Пирр* — персонаж из трагедии Владислава Александровича Озерова (1769—1816) «Поликсена». *«Вестник Европы»* — журнал, выходивший в Москве в 1802—1830 гг. *Каченовский* Михаил Трофимович (1775—1842), историк и литературный критик, был его редактором в 1805—1807, 1809—1810 (совместно с В. А. Жуковским), 1811—1813 и 1815—1830 гг. *Гнедич* Николай Иванович — скончался в 1833 г.

С. 183. *Жаль Веневитинова* — поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов безвременно скончался в 1827 г. (р. в 1805).

С. 186. *Сегюр* Филипп Поль (1780—1873) — французский историк, наполеоновский генерал.

С. 187. *Евгений* — историк, археограф Евгений Болховитинов (Евфимий Алексеевич) (1767—1837), автор исторических книг о

Пскове, Новгороде, Киеве, создатель первого капитального русского словаря писателей.

С. 189. *«Череп»* — стихотворение Е. А. Баратынского. *«Фауст»* — роман немецкого писателя *Клингера* (1752—1831), долгое время служившего в России. *Поэма «Мазепа»* — «Полтава» А. С. Пушкина. *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы.

С. 190. *Комовский* Василий Дмитриевич (1803—1851) — переводчик, археограф.

С. 191. *Петерсон* Александр Петрович (1800—?) — сводный брат А. П. Елагиной. Учился в Дерпте.

С. 192. *Маркевич* Николай Андреевич (1804—1860) — поэт, историк. *Максимович* Михаил Александрович (1804—1873) — писатель, журналист, историк. *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — поэт, философ. *Арапов П. Н.* — издатель альманаха «Радуга». М. А. Максимович издавал альманах «Денница». *4-я песнь «Храброва»* — отрывок из поэмы Василия Львовича Пушкина (1767—1830) «Капитан Храбров».

С. 194. *Пешее путешествие к Троице* — т. е. в подмосковную Троице-Сергиеву лавру.

С. 195. *«История русского народа»* в 6 томах Н. А. Полевого выходила в 1829—1833 гг. *Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель.

С. 196. *Муравьев* Андрей Николаевич (1806—1874) — поэт, автор книги «Путешествие ко святым местам в 1830 году» (издана в 1832-м).

С. 197. *Гульянов* Иван Александрович (1789—1841) — дипломат, египтолог.

С. 197. *Мудров* Матвей Яковлевич (1776—1831) — врач.

С. 200. *Журнал «Молва»* выходил под редакцией Николая Ивановича Надеждина (1804—1856) в 1831—1836 гг. *Тьер* Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, историк.

С. 202. *«Телескоп»* издавался Н. И. Надеждиным в 1831—1836 гг.

С. 203. «*Рославлев,* или Русские в 1812 году» — роман Михаила Николаевича Загоскина (1789—1852). *Трилунный* — псевдоним писателя *Струйского* Дмитрия Юрьевича (1806—1856). *Киреевский* Петр Васильевич (1808—1858) — брат И. В. Киреевского, сын А. П. Елагиной.

С. 204. *Свербеев* Дмитрий Николаевич (1799—1874) — мемуарист. *Мельгунов* Николай Александрович (1804—1867) — писатель, музыкальный критик. *Петруша* — П. В. Киреевский.

С. 205. *«Северная пчела»* — газета Ф. Б. Булгарина, выходившая в 1825—1864 гг. *Гермес* Богдан Андреевич (1759—1839) — директор Межевой канцелярии в Москве.

С. 207. *Бартенева* Прасковья Арсеньевна (1811—1872) — певица.

С. 208. *Ф. Косичкин* — Феофилакт Косичкин, псевдоним, которым А. С. Пушкин подписывался под статьями в «Литературной газете». *А. Орлов* — «лубочный» литератор Александр Анфимович Орлов (1791—1840).

С. 209. *«Ермак»* — трагедия А. С. Хомякова. *Глинка* Сергей Николаевич (1775—1847) — писатель, драматург, журналист (брат поэта и декабриста Ф. Н. Глинки). *Полевой продал роман...* — «Клятва при гробе господнем» Н. А. Полевого. *Ширяев* — книгопродавец. *Орлов* — Александр Анфимович Орлов, развивавший в псевдонародных брошюрах сюжеты Ф. В. Булгарина. *Авдотья Петровна* — Елагина. *Котёл* — домашнее прозвище Екатерины Михайловны Языковой (1817—1852), сестры поэта, в замужестве Хомяковой. *Бартенев* Юрий Никитич (1792—1866) — московский острослов. Речь идет об издании: *«Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елизаветы Петровны.* Соч. Александра Вейдемейера». Ч. 1—2. СПб., 1831 г.

С. 209. *Орлов* — Александр Анфимович.

С. 211. *«Лейтенант Белозор»* — повесть А. А. Бестужева-Марлинского была опубликована в «Сыне Отечества» (1831, № 34—42). *«Петр», «Марфа Посадница»* — трагедии М. П. Погодина.

С. 211. Матвей Васильевич *Крюковской* (1781—1811) — автор классицистской трагедии *«Пожарский»*. *«Стрельцы»* — исторический роман Константина Петровича Масальского (1802—1861).

С. 213. *Менада* — вакханка.

С. 214. *«Церковная история»* — «Начертание библейской истории от древнейших времен до XVIII в.» Иннокентия (в миру Иллариона Смирнова, 1784—1819). *«Минеи»* — жития святых. *Устрялов* Николай Герасимович (1805—1870) — историк, в 1832 г. выпустил «Сказания современников о Димитрии Самозванце», *Евгений* — Болховитинов, «История княжества Псковского» вышла в 1831 г. *Иакинф* — Никита Яковлевич Бичурин (1777—1853), востоковед, синолог.

С. 214. *Сомов* Орест Михайлович (1793—1833), писатель, критик, журналист. *Аксаков* — Сергей Тимофеевич.

С. 215. *Семенов* Степан Михайлович (1789—1852) — декабрист, был выслан в Сибирь.

С. 216. *Цветаев* Лев Александрович (1777—1835) — профессор Московского университета, цензор.

С. 217. *Венелин* Юрий Иванович (1802—1839) — историк, археограф, этнограф, филолог; в 1829 г. издал 1-й том капитальной работы «Древние и нынешние болгаре в политическом, народо-

писном, историческом и религиозном их отношений к россиянам». *Д. Давыдов* — Денис Васильевич Давыдов (1784—1839) — поэт.

С. 218. *Гартлауб, Ганнеман* — немецкие ученые-гомеопаты.

С. 218. *Собрал 14 стихов...* — речь идет о народных «духовных» стихах. *Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — лексикограф, писатель, печатал повести под псевдонимом Казак Луганский. *«Книга Наума о великом божием мире»* М. А. Максимовича вышла в 1833 г. и выдержала много изданий.

С. 219. *Плюшар* — владелец типографии. *Теплова* Надежда Сергеевна (1814—1848) — поэтесса, сборник ее стихотворений вышел в Москве в 1833 г.

С. 221. *Полевой* Ксенофонт Алексеевич (1801—1867) — брат Н. А. Полевого, журналист.

С. 223. *«Торквато Тассо»* — драматическая поэма Нестора Васильевича Кукольника (1809—1868).

С. 229. *Комедия «Чиновник»* — «Ревизор» Н. В. Гоголя.

С. 234. *Все зажгу и в это пламя брошу Роксолану!* — последние строки драмы Н. В. Кукольника «Роксолана» (1835).

С. 237. *Геерен* Арнольд (1760—1842) — немецкий историк. *Павлов* Николай Филиппович (1803—1864) — писатель, муж Каролины Павловой, поэтессы. *Вессель* — домашнее прозвище Н. М. Языкова («бочонок», с англ.).

С. 240. *Катерина Михайловна* — жена Хомякова, сестра Языкова.

С. 242. *Иноземцев* Федор Иванович (1802—1869) — врач, товарищ Языкова по Дерптскому университету.

С. 246. *Тургенев* Александр Иванович (1784—1845).

С. 247. *Киреевская* Мария Васильевна — сестра П. В. и И. В. Киреевских. *Ростопчина* Евдокия Петровна (1811—1858) — поэтесса.

С. 250. *Шафарик* Павел Йозеф (1795—1861) — чешский историк, филолог, поэт.

С. 251. *Алексей Степанович* — Хомяков.

С. 252. *Манзони* — Мандзони Алессандро (1785—1873) — итальянский писатель, автор исторического романа «Обрученные».

С. 255. *Мещерский* Элим Петрович (1808—1844) — поэт, переводчик русской поэзии на французский язык.

С. 256. *Роман Лермонтова* — «Герой нашего времени».

С. 257. *Дмитриев* — М. А. Дмитриев, поэт.

С. 259. *Свербеева* Кат. Ал., жена Д. Н. Свербеева — Екатерина Александровна, урожд. кн. Щербатова (одна из известных московских красавиц).

С. 260. *Сильвестр* — слуга.

С. 271. Федор Васильевич *Чижов* (1811—1878) — римский знакомый Языкова, математик, искусствовед, промышленник (строитель железных дорог).

С. 273. *Г-жа Смирнова* — Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809—1882).

С. 275. *Евдокимов* — каретный мастер.

С. 275. *...две песни «Одиссеи»* — В. А. Жуковский в Германии перевел в 1840-е гг. «Одиссею» Гомера.

С. 276. *Аксаков* Константин Сергеевич (1817—1860) — писатель-славянофил.

С. 279. *Лажечников* Иван Иванович (1792—1869) — писатель.

С. 281. *«Памятники московской древности»* Ив. Снегирева с тремя планами, 23 рисунками академика Солнцева и 18 гравюрами вышли в Москве в 1842—1845 гг.

С. 282. *Шамиссо* Адельберт (1781—1838) — немецкий поэт.

С. 282. *Боборыкин* Николай Николаевич (1812—1888) — поэт. *Аксаков* — К. С. Аксаков. *Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, профессор Московского университета. *Алексей Степанович* — Хомяков. *Гакстгаузен* Август (1792—1866) — ученый-экономист, путешествовавший по России.

С. 293. *Завьялов* Федор Семенович (1810—1856) — художник. *Пименов* Николай Степанович (1812—1864) — скульптор. *Галахов* Алексей Дмитриевич (1807—1892) — критик.

С. 293. *Рославлева* Мария Львовна — первая жена Н. П. Огарева, с которой он расстался в конце 1844 г.

С. 299. *Дм. Ник.* — Дмитрий Николаевич Свербеев.

С. 300. *Полонский* Яков Петрович (1819—1898) — поэт.

С. 300. *Сушков* Николай Васильевич (1796—1871) — поэт, драматург, издатель альманаха «Раут».

С. 301. *Вигель* Филипп Филиппович (1786—1856) — мемуарист. *Коптев* Дмитрий Иванович (1821—1867) — литератор.

С. 306. *Александра Андреевна* — Фукс (ок. 1805—1853), писательница, жившая в Казани.

С. 307. *Амплий Николаевич* — Очкин, цензор.

С. 310. *Мокрицкий* Аполлон Николаевич (1811—1871), художник, товарищ Гоголя по Нежинской гимназии.

С. 311. *«Тарантас»* — повесть В. А. Соллогуба.

С. 312. *Панов* Василий Алексеевич (1819—1849) — писатель, редактор двух «Московских сборников» (1846 и 1847).

С. 314. *Булдаков* — симбирский губернатор. *Василий Дмитриевич* — Комовский. *Карамзина* — Екатерина Андреевна (1780—1851), вдова Н. М. Карамзина.

С. 315. *Где ты, милый? Что с тобою?* — начало баллады Жуковского «Людмила» (1808).

С. 316. *Солнцев* Егор Григорьевич (1818—1884) — художник. Пейзаж для Языкова он исполнил уже в 1847 г., после смерти поэта.

С. 320. *Берг* Николай Васильевич (1823—1884) — поэт, переводчик на русский язык поэзии славянских стран. Он сделал полный перевод с чешского «Краледворской рукописи» (1846).

С. 322. *...Достоевский; повесть его...* — «Бедные люди», помещенные в «Петербургском сборнике», изданном Н. А. Некрасовым.

С. 323. *Курбский* Андрей Михайлович (1528—1583) — князь, политический деятель, вел полемическую переписку с Иваном Грозным.

С. 324. Речь идет об «Одиссее», переведенной В. А. Жуковским.

С. 325. *Ты прочти внимательно книгу мою...* — речь идет о рукописи «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.

С. 326. Могила Языкова не сохранилась.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЯЗЫКОВ

СВОБОДОМЫСЛЯЩАЯ ЛИРА

*Стихотворения, поэмы,
жизнь Н. Языкова
по документам,
воспоминаниям*

Составитель
*ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
АФАНАСЬЕВ*

Заведующая редакцией
Л. Сурова
Редактор
Н. Никишин
Художественный редактор
И. Сайко
Технический редактор
Г. Смирнова
Корректоры
З. Кулемина, Е. Ишаева

ИБ № 3654

Сдано в набор 16.04.87. Подписано к печати 27.07.87. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,59. Усл. кр.-отт. 19,11. Уч.-изд. л. 18,52. Тираж 30 000 экз. Заказ 2793. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

«МОСКОВСКИЙ ПАРНАС» —

серия издательства
«Московский рабочий»,

которая охватывает
трехсотлетний период
истории московской поэзии:
XVII—XX вв.

Сборник
Н. М. Языкова
«СВОБОДОМЫСЛЯЩАЯ ЛИРА» —
очередная книга этой серии.